



ГЕОПОЛИТИКА GEOPOLITICS GEOPOLITIK ГЕОПОЛИ

Генри КИССИНДЖЕР

Дипломатия

Геополитика (АСТ)

Генри Киссинджер

Дипломатия

«Издательство АСТ»

1994

УДК 327
ББК 66.4(0)

Киссинджер Г.

Дипломатия / Г. Киссинджер — «Издательство АСТ»,
1994 — (Геополитика (АСТ))

ISBN 978-5-17-099392-5

В своей книге «Дипломатия» Генри Киссинджер стремится проанализировать историю дипломатических отношений между государствами, начиная с Вестфальского договора 1648 года и до конца XX века. Перед читателем предстает ряд политических деятелей «всех времен и народов» – от Ришелье до наших современников. Но больше внимания автор уделяет тем событиям Новейшего времени, в которых он участвовал сам, рассматривая их как вехи становления так называемого «нового мирового порядка», складывающегося на рубеже XX–XXI веков.

УДК 327
ББК 66.4(0)

ISBN 978-5-17-099392-5

© Киссинджер Г., 1994
© Издательство АСТ, 1994

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	15
Глава 3	38
Глава 4	56
Глава 5	77
Глава 6	106
Глава 7	130
Глава 8	158
Глава 9	172
Конец ознакомительного фрагмента.	178

Генри Киссинджер Дипломатия

Henry Kissinger
DIPLOMACY

Серия «Геополитика»

Печатается с разрешения издательства Simon & Schuster, Inc. и литературного агентства Andrew Nurnberg.

© Henry A. Kissinger, 1994

© Перевод. В. Верченко, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

* * *

*Сотрудникам и сотрудницам дипломатической службы
Соединенных Штатов Америки, чей профессионализм и
самоотверженность служат на благо американской дипломатии.*

Глава 1

Новый мировой порядок

Как будто по какому-то естественному закону развития каждое столетие, как представляется, возникает страна, обладающая мощью, целеустремленностью, интеллектуальными и моральными стимулами, достаточными для того, чтобы формировать международную систему в соответствии со своими собственными ценностями. В XVII веке Франция во времена кардинала Ришелье привнесла в международные отношения новаторский для своего времени подход, в основе которого лежало национальное государство и который был мотивирован национальным интересом, представлявшим конечную цель этого государства. Великобритания в XVIII веке выработала концепцию баланса сил, которая превалировала в европейской дипломатии все последующие 200 лет. В XIX веке Австрия при Меттернихе перестроила «Европейский концерт», а бисмарковская Германия разрушила эту конфигурацию, превратив европейскую дипломатию в хладнокровную игру силовой политики.

В XX веке ни одна страна не оказывала такого решающего и такого двойственного воздействия на международные отношения, как Соединенные Штаты Америки. Ни одно общество не настаивало так твердо на недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств и не утверждало с такой страстью универсальную применимость своих собственных ценностей. Ни одна другая страна не была настолько прагматична в своем повседневном проведении дипломатии или так идеологически настроена в продвижении своего исторически сложившегося морального кредо. И ни одна страна так не осторожничала в вопросе об участии в миссиях за рубежом, даже в ходе создания альянсов и принятия на себя небывалых по своим масштабам обязательств.

Особенности, которые Америка получила благодаря своей истории развития, дали два противоречащих друг другу подхода к внешней политике. Первый состоит в том, что Америка лучше всего проводит свои ценности в мире, совершенствуя демократию в собственной стране, тем самым действуя в качестве путеводной звезды для остального человечества. Второй подход заключается в том, что эти ценности накладывают на Америку обязательство отстаивать их по всему миру. Разрываясь между тоской по непорочному прошлому и устремлением к совершенному будущему, американская философия колебалась между изоляционизмом и своими международными обязательствами, хотя после окончания Второй мировой войны на первый план стало выходить осознание взаимозависимости.

Оба эти течения философской мысли – относительно Америки как путеводной звезды и Америки как некоего борца – рассматривают вполне нормальным такой международный порядок, основанный на демократии, свободной торговле и международном праве. А поскольку подобная система никогда ранее не существовала, ее воплощение в жизнь зачастую представляется в глазах других обществ чем-то утопическим, если не наивным. И тем не менее скептицизм со стороны иностранцев никогда не приводил к ослаблению идеализма Вудро Вильсона, Франклина Рузвельта или Рональда Рейгана или фактически всех других американских президентов XX века. В любом случае он только подкреплял веру Америки в то, что историю можно переломить и что если весь мир действительно захочет добиться мира, то он должен следовать предписаниям Америки.

Оба эти течения были результатом американского опыта. Хотя существовали и другие республики, ни одна не создавалась сознательно для доказательства справедливости идеи свободы. Ни в одной другой стране население не ставило перед собой цель отправиться на другой континент и покорить его дикие пространства во имя свободы и процветания для всех. Оба эти подхода – путь изоляционизма и путь миссионерства, – такие противоречащие друг другу

внешне, отражали лежащую в их основе общую веру в то, что Соединенные Штаты имеют самую лучшую в мире систему правления и что остальное человечество может добиться мира и процветания, отказавшись от традиционной дипломатии и приняв как руководство к действию уважение Америкой международного права и демократии.

История участия Америки в международной политике была историей триумфа веры над опытом. Со времени выхода Америки на авансцену мировой политики в 1917 году ее настолько переполняла мощь и убежденность в правоте своих идеалов, что важнейшие международные договоренности этого столетия стали воплощением в жизнь американских ценностей, начиная с Лиги Наций и пакта Бриана – Келлога и кончая Уставом Организации Объединенных Наций и Хельсинским заключительным актом. Крах советского коммунизма означал интеллектуальное подтверждение превосходства американских идеалов и, как ни странно, поставил Америку лицом к лицу с таким миром, которого она стремилась избегать на протяжении всей своей истории. В условиях создающегося международного порядка национализм обрел новую жизнь. Страны стали все чаще преследовать собственные корыстные интересы, а не следовать возвышенным принципам, и больше конкурировать друг с другом, чем сотрудничать. Существует не так уж много доказательств того, что этот традиционный стереотип поведения изменился или что есть вероятность его изменения в предстоящие десятилетия.

Поистине новым в нарождающемся мировом порядке *является* то, что впервые Соединенным Штатам не удастся ни остаться в стороне от этого мира, ни доминировать в нем. Америка не сумеет изменить то, как она воспринимает свою роль в процессе исторического развития, да ей и не следует к этому стремиться. Когда Америка вышла на международную арену, она была молода, активна и обладала мощью, которая могла бы преобразовать мир согласно ее представлениям о международных отношениях. К концу Второй мировой войны в 1945 году Соединенные Штаты были настолько сильны (в какое-то время на их долю приходилось около 35 процентов всего производства мировой экономики), что казалось, будто предопределено судьбой, чтобы они перedelывали мир так, как они сами предпочтут.

Джон Ф. Кеннеди с полной убежденностью объявил в 1961 году, что Америка сильна до такой степени, что в состоянии «заплатить любую цену и вынести любое бремя» для того, чтобы обеспечить победу свободы. 30 лет спустя Соединенные Штаты уже не настолько сильны, чтобы настаивать на немедленном осуществлении всех своих чаяний. Другие страны выросли до статуса великой державы. Сейчас перед Соединенными Штатами стоит проблема в деле достижения своих целей, каждая из которых представляет собой некий сплав американских ценностей и геополитических потребностей. Одна из таких новых потребностей заключается в том, что мир, состоящий из нескольких государств, имеющих сопоставимую мощь, должен строить свой порядок в соответствии с некоей концепцией баланса сил – идеи, которая никогда особенно не устраивала Соединенные Штаты.

Когда американское мышление по вопросам внешней политики и европейская дипломатия сошлись друг с другом на Парижской мирной конференции в 1919 году, стали весьма заметны различия в их историческом опыте. Европейские руководители старались переделать существующую систему привычными для них методами. А американские миротворцы полагали, что Первую мировую войну вызвали не какие-то неразрешимые геополитические конфликты, а ошибочные действия европейцев. В своих знаменитых «Четырнадцати пунктах» Вудро Вильсон сказал европейцам, что отныне международная система должна основываться не на балансе сил, а на самоопределении наций. Он утверждал, что их безопасность должна зависеть не от военных союзов, а от коллективной безопасности, считая, что их дипломатия больше не должна вестись тайно узкими специалистами, она должна основываться на «открытых соглашениях, к которым приходят в обстановке открытости». Вильсон, несомненно, не столько ставил своей целью обсуждение условий окончания войны или восстановление суще-

ствовавшего международного порядка, сколько намеревался переделать всю систему международных отношений, существовавшую почти три столетия.

Когда американцы обдумывали вопросы внешней политики, они во всех трудностях Европы винили систему баланса сил. И с того времени, когда Европа впервые заинтересовалась американской внешней политикой, ее руководители с неодобрением относились к взятой Америкой по собственной инициативе миссии по проведению глобальной реформы. Каждая из сторон вела себя так, будто другая сторона произвольно выбрала свой стиль дипломатического поведения, и, дескать, могла бы выбрать, будучи мудрее или менее воинственно настроенной, иной и более приемлемый стиль поведения.

На деле же, как американский, так и европейский подходы в отношении внешней политики являлись порождением их собственных уникальных обстоятельств. Американцы поселились на почти незаселенном континенте, защищенном от грабительских держав двумя просторными океанами, а их соседями были слабые страны. А поскольку Америка не сталкивалась ни с одной державой, с которой ей надо было бы соперничать на равных, ей не было необходимости заниматься проблемами баланса сил, даже если бы ее руководителям пришла необычная идея повторить европейские условия с народом, покинувшим Европу.

Мучительная необходимость выбора в деле безопасности, которая преследовала европейские страны, не касалась Америки на протяжении почти 150 лет. Когда же она возникла, то Америка дважды приняла участие в мировых войнах, начатых странами Европы. И в каждом случае к тому времени, когда Америка оказалась вовлеченной, баланс сил не срабатывал. Из-за этого возникал следующий парадокс: тот баланс сил, на который большинство американцев смотрело с презрением, на самом деле обеспечивал американскую безопасность до тех пор, пока он работал так, как и задумывалось. И именно его нарушение приводило к подключению Америки к международной политике.

Европейские страны не выбирали баланс сил как средство улаживания своих отношений из некоей врожденной склонности к ссорам или пристрастия Старого Света к интригам. Если приверженность демократии и международному праву явилась результатом уникального восприятия Америкой своей безопасности, то европейская дипломатия закалялась в тяжелых испытаниях постоянных стычек.

Европа оказалась втянутой в политику баланса сил, когда был разрушен ее первоначальный выбор – средневековая мечта об универсальной империи, и когда из пепла той развеянной по ветру древней мечты появилась масса государств более или менее одинаковой силы. Когда некая группа возникших таким вот образом государств была вынуждена иметь дело друг с другом, только два вероятных исхода могло произойти: либо одно государство становится настолько сильным, что оно начинает доминировать над остальными и создает империю, либо ни одно государство не является достаточно мощным, чтобы достичь этой цели. В случае последнего исхода притязания наиболее агрессивно настроенного члена международного сообщества будут сдерживаться разными сочетаниями общности остальных членов; другими словами, применением политики баланса сил.

Система баланса сил не подразумевает возможность избежать кризисов или даже войн. При нормальной работе она предназначалась для ограничения как возможности государств господствовать над другими, так и масштабов конфликтов. Ее целью был не мир как таковой, но стабильность и сдержанность. Механизм политического равновесия по определению не может удовлетворить всех членов международной системы полностью. Лучше всего он работает, когда сдерживает уровень этой неудовлетворенности ниже того, при котором чувствующая себя обиженной сторона попытается свергнуть существующий международный порядок.

Теоретики в области баланса политических сил зачастую оставляют впечатление, что такое положение является естественной формой международных отношений. А на самом же деле системы баланса сил в истории человечества явление очень редкое. Западное полуша-

рие таковых не видело вообще, да и на территории современного Китая со времен окончания периода Воюющих государств более 2000 лет назад такого тоже не бывало. Для большей части человечества и на протяжении большей части исторического периода типичной формой правления была империя. Империи не испытывали никакого интереса к действиям в рамках некоей международной системы. Они сами стремились *становиться* международной системой. Империям не нужен баланс сил. Именно так вели себя Соединенные Штаты в своей внешней политике в Северной и Южной Америке, и точно так же вел себя Китай на протяжении большей части своей истории в Азии.

На Западе единственными примерами функционирования систем баланса сил были города-государства Древней Греции и Италии эпохи Возрождения, а также система европейских государств, возникшая в результате Вестфальского мира 1648 года. Отличительной чертой этих систем было возведение самого факта жизни – существования группы государств, в основном равных по своей мощи, – в руководящий принцип миропорядка.

Концепция баланса сил с интеллектуальной точки зрения отражала убеждения всех крупных политических мыслителей эпохи Просвещения. По их мнению, вселенная, включая и политическую сферу, функционировала согласно принципам целесообразности, которые уравновешивали друг друга. Внешне кажущиеся не связанными друг с другом действия разумных людей в своей совокупности вели бы к достижению всеобщего блага, хотя доказательства этого предположения носили весьма расплывчатый характер в век почти постоянных конфликтов, последовавших за Тридцатилетней войной.

В своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народа» Адам Смит исходил из того, что некая «невидимая рука рынка» выдает всеобщее экономическое благосостояние из индивидуальных экономических действий ради собственной выгоды. В газете «Федералист» Мэдисон утверждал, что в достаточно большой республике различные политические «фракции», преследующие собственные интересы в эгоистических целях, способны при помощи некоего автоматического механизма создать видимость подходящей внутренней гармонии. Концепции разделения властей и принципа сдержек и противовесов, как их задумывал Монтескье и как они были воплощены в американской Конституции, отражали аналогичную точку зрения. Целью разделения властей было недопущение деспотии, а не достижение гармоничного правления. Каждая из ветвей управленческого комплекса, преследуя свои собственные интересы, сдерживала бы крайности и тем самым служила бы на пользу всего общества. Аналогичные принципы применялись и к международным делам. Предполагалось, что каждое государство, преследуя свои собственные эгоистичные интересы, так или иначе будет служить прогрессу, как будто какая-то невидимая рука гарантировала, что свобода выбора, имеющаяся у каждого государства, обеспечивала бы благополучие для всех.

Казалось, что на протяжении более столетия это ожидание оправдалось. После неурядиц, вызванных Великой французской революцией и Наполеоновскими войнами, руководители Европы восстановили баланс сил во время Венского конгресса 1815 года и смягчили грубую опору на силу в стремлении обуздать международное поведение введением моральных и правовых норм. И тем не менее к концу XIX века европейская система баланса сил вернулась к принципам силовой политики, и обстановка при этом была гораздо более неумолимой. Запугивание противника стало стандартным дипломатическим стилем, что вело к одной демонстрации силы за другой. В итоге в 1914 году возник кризис, от которого никто не смог уклониться. Европа никогда полностью не восстановила своего положения мирового лидера после этой катастрофы Первой мировой войны. В качестве доминирующего игрока вышли Соединенные Штаты, однако Вудро Вильсон вскоре дал ясно понять, что Америка отказывается играть по европейским правилам.

Америка никогда не участвовала в системе баланса сил. Накануне двух мировых войн Америка извлекала пользу от действия баланса сил, не будучи непосредственно вовлеченной в

его перипетии, и при этом позволяя себе роскошь резкой критики этой системы, как ей заблагорассудится. Во времена холодной войны, в мире, состоящем из двух держав, Америка вела идеологическую, политическую и стратегическую борьбу с Советским Союзом, которая осуществлялась в соответствии с принципами, отличавшимися от принципов системы баланса сил. В этом биполярном мире не могло быть и мысли о том, что существовавший конфликт приведет к всеобщему благополучию. Любое достижение одной стороны становилось потерей для другой. Америка в холодной войне фактически добилась победы без войны, победы, которая обязывает ее сейчас столкнуться с выбором, описанным Джорджем Бернардом Шоу: «В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться осуществления самого сокровенного желания. Вторая – добиться».

Американские руководители весьма часто трактовали свои ценности как нечто само собой разумеющееся, они редко осознавали, до какой степени эти ценности могут быть революционными и разрушающими привычный ход вещей для других. Ни одно другое общество не приходило к выводу о том, что принципы этического поведения применимы к международному поведению точно так же, как и к поведению отдельных личностей, – это понятие вступает в противоречие с *raison d'état*, то есть с понятием национальных интересов, авторство которого принадлежит Ришелье. Америка исходила из того, что предотвращение войны является столь же правовой, сколь и дипломатической проблемой, и что оно, это понятие, выступает не против перемен как таковых, а против методов осуществления этих перемен, особенно с применением силы. Какой-нибудь другой Бисмарк или Дизраэли посмеялся бы над предположением о том, что внешняя политика касается скорее методов, чем содержания вопроса, если бы он вообще что-то понял из этого. Ни одна другая страна не предъявляла к себе таких моральных требований, какие предъявляла к себе Америка. И ни одна страна не терзалась по поводу пропасти между своими моральными ценностями, носящими по определению абсолютный характер, и несовершенством, присущим для конкретных ситуаций, для которых они и предназначались.

В период холодной войны уникальный американский подход к внешней политике в значительной степени соответствовал вызову того времени. Имел место глубокий идейный конфликт, и только одна страна, а именно Соединенные Штаты, владела целым комплексом средств – политических, экономических и военных – для организации обороны некоммунистического мира. Страна, имевшая такие возможности, может настаивать на правоте своей точки зрения и зачастую избегать проблемы, стоящей перед государственными деятелями менее благополучных обществ. В этих случаях арсенал имеющихся у них средств обязывал тех добиваться менее честолюбивых целей, чем те, на которые они рассчитывали. При этом обстоятельства, в которых они оказывались, требовали от них лишь поэтапного достижения этих целей.

В мире холодной войны традиционные концепции силы в значительной степени потерпели неудачу. История по большей ее части демонстрировала сочетание военной, политической и экономической сил, которое в общем и целом было симметричным. В период холодной войны разные составные части силы были совершенно очевидны. Бывший Советский Союз был военной сверхдержавой и в то же самое время карликом в экономическом плане. Но вполне возможно, что другая страна могла быть экономическим гигантом, но в военном плане ничего не значить, как это было с Японией.

В мире после окончания холодной войны различные составные части, похоже, обретают все большее сходство и симметрию. Сравнительная военная мощь Соединенных Штатов будет постепенно падать. Отсутствие четко обозначенного противника вызовет давление внутри страны, направленное на переключение ресурсов с обороны на другие приоритеты, – такой процесс уже начался. Когда больше нет никакой общей угрозы и каждая страна рассматривает угрозы себе с точки зрения своих собственных национальных перспектив, то те общества, которые удобно пристроились под американской защитой, будут вынуждены брать на себя больше ответственности за собственную безопасность. Следовательно, действие новой между-

народной системы станет стремиться к новому равновесию даже в военной области, хотя могут понадобиться десятки лет для того, чтобы прийти к такому положению. Такие тенденции будут еще заметнее в экономической области, в которой американское превосходство уже начинает падать и в которой будет менее опасно бросать вызов Соединенным Штатам.

Международная система XXI века будет примечательна неким кажущимся противоречием: с одной стороны, дроблением, а с другой, растущей глобализацией. На уровне взаимоотношений между государствами новый порядок больше будет похож на систему европейских государств XVIII–XIX веков, чем негибкая модель времен холодной войны. В него будут входить по меньшей мере шесть крупных держав, включая Соединенные Штаты, Европу, Китай, Японию, Россию и, возможно, Индию, а также множество средних и малых стран. В то же самое время международные отношения впервые в истории станут носить поистине глобальный характер. Связь становится моментальной; мировая экономика работает на всех континентах одновременно. Возникает целый ряд проблем, которые могут быть урегулированы только всеобщими усилиями, в их числе вопросы ядерного распространения, окружающей среды, демографического взрыва и экономической взаимозависимости.

Примирение разных ценностей и весьма разнообразного исторического опыта среди стран сопоставимой значимости станет новым опытом для Америки и важным отступлением как от изоляционизма XIX века, так и от фактической гегемонии периода холодной войны, способами, которые данная книга как раз и попытается осветить. Точно так же и другие крупные игроки на мировой арене сталкиваются с трудностями в деле встраивания в новый возникающий мировой порядок.

Европа, единственная часть современного мира, которая имеет опыт одновременного существования многих государств, изобрела концепцию национального государства, суверенитета и баланса сил. Эти идеи преобладали в международных делах почти все три столетия подряд. Но ни один из прежних приверженцев в Европе теории превосходства национальных интересов, *raison d'état*, не имеет достаточных сил для того, чтобы действовать в качестве лидеров в нарождающемся миропорядке. Они пытаются компенсировать свою относительную слабость созданием некоей единой Европы, на что направлена основная доля их усилий и энергии. Но даже если им удастся добиться успеха, у них нет никаких готовых руководящих пособий по поведению этой объединенной Европы на мировой арене, поскольку такого политического образования ранее никогда не существовало.

В течение всей своей истории Россия была особым случаем. Она позже вступила на европейскую авансцену – намного позже укрепления Франции и Великобритании, – и казалось, что ни один из традиционных принципов европейской дипломатии не применим к ней. Граница с тремя различными культурными регионами – Европой, Азией и мусульманским миром, – Россия по населению состояла из представителей каждого из них, и, следовательно, никогда не была национальным государством в европейском смысле этого понятия. Постоянно меняя свои размеры в силу того, что ее правители аннексировали сопредельные территории, Россия являлась империей, несопоставимой по своим масштабам ни с одной европейской страной. Более того, с каждым новым завоеванием характер государства менялся, поскольку оно включало в себя иную, совершенно новую и своенравную нерусскую этническую группу. Это было одной из причин того, что Россия считала для себя необходимым содержать огромные армии, чьи размеры никак не соответствовали какой-либо вероятной угрозе ее безопасности извне.

Разрываясь между навязчивым чувством опасности и миссионерским рвением, между запросами Европы и соблазнами Азии, Российская империя всегда играла определенную роль в европейском балансе сил, однако никогда не была духовно близка этой концепции. Требования завоеваний и потребности безопасности сливались в умах российских правителей. После Венского конгресса Российская империя размещала свои вооруженные силы на чужой земле гораздо чаще, чем какая-либо еще крупная держава. Аналитики часто объясняют рус-

ский экспансионизм результатом ощущения собственной незащищенности. Но русские писатели намного чаще оправдывали внешнюю направленность России мессианским призванием. Двигаясь в своем марше, Россия редко демонстрировала чувство меры; в том случае, если ей мешали, она стремилась уйти в угрюмое возмущение. На протяжении большей части своей истории Россия всегда пыталась использовать любую возможность для экспансии.

Посткоммунистическая Россия оказывается в пределах границ, которые не отражают ее исторического развития. Подобно Европе, ей понадобится потратить много энергии на пересмотр своей идентичности. Станет ли она пытаться вернуться к своему историческому ритму и восстановить утраченную империю? Сместит ли она центр тяжести на восток и будет принимать более активное участие в азиатской дипломатии? Какими принципами она будет руководствоваться и какие методы использовать в связи с разными беспорядками вокруг своих границ, особенно на Ближнем Востоке с его часто меняющейся обстановкой? Россия останется важной для мирового порядка и в случае неизбежных потрясений, связанных с ответами на эти вопросы, потенциальной угрозой для него.

Китай также сталкивается с новым для него миропорядком. На протяжении 2000 лет китайская империя объединила свой мир под самодержавной имперской властью. Разумеется, эта власть временами шаталась. Войны случались в Китае не реже, чем они происходили в Европе. Но поскольку они имели место среди претендентов на императорскую власть, то, скорее, имели природу гражданских войн, нежели международных. Они рано или поздно все равно вели к возникновению новой центральной власти.

До наступления XIX века у Китая никогда не было соседа, способного соперничать с ним в превосходстве, и он даже представить себе не мог, что такое государство может возникнуть. Иностранные завоеватели свергали китайские династии, но только для того, чтобы оказаться поглощенными китайской культурой до такой степени, что они сами уже продолжали традиции Среднего государства. Понятие суверенного равенства государств не существовало в Китае. Тех, кто жил за пределами Китая, считали варварами и относили к категории данников. Именно так принимали в XVIII веке в Пекине первого британского посланника. Китай не нисходил до того, чтобы направлять послов за границу, но не считал недостойным использовать дальних варваров для достижения победы над ближними. И тем не менее это была стратегия для чрезвычайных ситуаций, а не повседневная действующая система, подобная европейскому балансу сил. Именно поэтому она не смогла создать некоего постоянного дипломатического механизма, как было в Европе. После превращения Китая в XIX веке в объект унижения европейского колониализма он смог возродиться только совсем недавно – после Второй мировой войны, – войдя в многополюсный мир, который никогда не имел места в его прежней истории.

Япония также обрезала все контакты с внешним миром. В течение 500 лет до своего насильственного открытия коммодором Мэтью Перри в 1854 году Япония даже не снисходила до создания баланса среди варваров и натравливания их друг на друга или, как это сделали китайцы, изобретения отношений суверена и данников. Закрывшись от внешнего мира, Япония гордилась уникальностью своих обычаев, пестовала свои воинские традиции в гражданских войнах и строила свои внутренние структуры на основе убежденности в том, что ее уникальная культура останется невосприимчивой к иностранному влиянию, будет выше него и, в конце концов, скорее победит его, нежели сможет поглотить его.

Во время холодной войны, когда главной угрозой безопасности был Советский Союз, Япония смогла ассоциировать свою внешнюю политику с Америкой, находившейся за тысячи километров от нее. Новый мировой порядок с его многообразием проблем и вызовов со всей неизбежностью заставит страну, так гордящуюся своим прошлым, пересмотреть прежнюю опору на единственного союзника. Япония непременно станет более чувствительной к балансу сил в Азии, чем это будет, по всей вероятности, делать Америка, находящаяся в другом полушарии и смотрящая в трех направлениях – через Атлантический океан, через Тихий океан и в

направлении Южной Америки. Китай, Корея и Юго-Восточная Азия приобретут для Японии совершенно иное значение, чем для Соединенных Штатов, что приведет к более независимой и более ориентированной на собственные интересы японской внешней политике.

Что касается Индии, крупной державы в Южной Азии, то ее внешняя политика по многим параметрам напоминает остатки былой роскоши европейского империализма, растущего на дрожжах традиций древней культуры. До появления на субконтиненте англичан Индия на протяжении целого тысячелетия не управлялась как единое политическое целое. Британская колонизация проводилась малыми военными силами, потому что, во-первых, местное население рассматривало их как замену одного типа завоевателей другим. Но после установления единого правления произошел подрыв Британской империи в силу тех самых ценностей народного самоуправления и культурного национализма, привнесенных в Индию самой империей. И все же Индия новичок как национальное государство. Поглощенная борьбой за то, чтобы накормить свое огромное население, Индия занялась политической работой в Движении неприсоединения в период холодной войны. Но ей еще предстоит взять на себя роль, сопоставимую с ее масштабами на международной политической арене.

Таким образом, ни одна из самых важных стран, которым предстоит создавать новый миропорядок, не имеет никакого опыта взаимного общения в нарождающейся системе существования множества государств. Никогда прежде новый мировой порядок не формировался из стольких отличающихся друг от друга пониманий или в таком глобальном масштабе. И никогда ранее ни одному прежде существовавшему мировому порядку не приходилось объединять в себе признаки исторических систем баланса сил с представлениями о глобальной демократии, а также сделавшими рывок технологиями современного периода.

По-видимому, если бросить ретроспективный взгляд, все международные системы имеют неизменную симметрию. Коль скоро они создаются, трудно представить, как история стала бы развиваться, если бы принимались иные решения, либо действительно их выбор был бы вообще возможен. Когда некий международный порядок впервые становится реальностью, вероятно множество любых других выборов. Но при этом каждое принимаемое решение сокращает совокупность остающихся вариантов. И, поскольку сложность ограничивает гибкость, первый выбор всегда является особенно значимым. Станет ли международный порядок относительно стабильным, подобно тому, который возник после Венского конгресса, или будет подвержен большим колебаниям, как случилось после Вестфальского мира и Версальского договора, зависит от того, в какой степени эти порядки сочетают ощущение безопасности входящих в них обществ с тем, что они считают справедливым.

Две наиболее стабильные международные системы – та, которая была создана после Венского конгресса, и та, в которой доминируют Соединенные Штаты после Второй мировой войны, – имели преимущество в виде одинаковых восприятий сложившейся ситуации. Собранные в Вене политики были аристократами, которые одинаково относились к нематериальной стороне жизни и приходили к взаимопониманию по фундаментальным вопросам. А американские руководители, формировавшие послевоенный мир, вышли из среды, в которой существовала интеллектуальная традиция исключительного взаимодействия и жизненной силы.

Порядок, формирующийся в настоящее время, будет создаваться политиками, представляющими сильно отличающиеся друг от друга культуры. Они возглавляют бюрократический аппарат такой сложности, что зачастую энергия этих деятелей по большей части уходит на обслуживание этого административного аппарата, чем на выдвижение какой-то руководящей цели. Они стали известны, благодаря качествам, не обязательным для управленческих задач и еще меньше подходящим для создания международного порядка. Единственной действующей моделью многонациональной системы стала система, сформированная западными обществами, которую многие ее члены, возможно, отвергают.

Тем не менее подъем и падение прежних миропорядков, в основе которых было участие многих государств – от Вестфальского мира до наших дней, – является, по сути, единственным опытом, который можно извлечь в попытке понять вызовы, стоящие перед современными государственными деятелями. Изучение истории не дает руководства к действию, применяемого сугубо автоматически. История учит на примерах, освещая вероятные последствия сходных ситуаций. Но каждое поколение должно решать для себя само, какие из обстоятельств на деле являются схожими.

Мыслящие люди анализируют работу международных систем; политики их создают. Построение перспективы аналитиком и видение мира политиком намного отличаются друг от друга. Аналитик может выбирать желательную для себя проблему для исследования, в то время как проблемы государственного деятеля встают перед ним не по его воле. Исследователь может потратить столько времени, сколько потребуется для того, чтобы прийти к четкому выводу; главной проблемой государственного деятеля является нехватка времени. Ученый ничем не рискует. Если его выводы окажутся ошибочными, он сможет написать новый научный труд. Политику позволено сделать только одну попытку; его ошибки непоправимы. Ученому специалисту доступны все факты; судить его будут по его умственным способностям. Политик должен вести себя на основе оценок, которые не могут быть подтверждены на момент их выработки. И судить его будет история на основании того, насколько мудрым он был при проведении неизбежных изменений, и, что важнее всего, как хорошо ему удастся сохранять мир. Именно по этой причине изучение того, как государственные деятели решали проблему мирового порядка – что работало, что не срабатывало и почему, – не является итогом понимания современной дипломатии, это скорее начальный этап ее понимания.

Глава 2

Кто предпочтительнее: Теодор Рузвельт или Вудро Вильсон

Вплоть до начала XX века изоляционистские тенденции преобладали в американской внешней политике. А потом два фактора запустили Америку на орбиту международных дел: ее стремительно нарастающая сила и постепенный крах международной системы, центром которой являлась Европа. Правления двух президентов обозначили своеобразный водораздел такого развития дел: Теодора Рузвельта и Вудро Вильсона. Эти деятели держали в своих руках власть, когда мировые дела втягивали в водоворот событий страну, которая всему этому сильно противилась. Они оба признавали, что Америке предстоит сыграть решающую роль в мировых делах, хотя обосновывали отказ от изоляции совершенно противоположными принципами.

Рузвельт был искушенным аналитиком в вопросе о балансе сил. Он настаивал на международной роли для Америки потому, что этого требовали ее национальные интересы, и потому, что глобальный баланс сил, по его мнению, был невыносим без американского участия. Для Вильсона же оправданием международной роли Америки служило мессианство: на Америке была обязанность не просто поддерживать баланс сил, а распространять свои принципы по всему миру. Во время работы администрации Вильсона Америка проявила себя ключевым игроком в мировых делах, провозглашавшим принципы, которые, хотя и проповедовали некие азбучные истины американского образа мышления, но тем не менее обозначали некий революционный отход от устоявшихся канонов для дипломатов Старого Света. Эти принципы утверждали, что мир зависит от хода распространения демократии, что о государствах следует судить по тем же этическим критериям, которые применимы и для отдельных личностей, и что национальные интересы включают в себя соблюдение всеобщей системы права.

Для умудренных ветеранов европейской дипломатии, в основе которой лежал баланс сил, взгляды Вильсона на сугубо моральные стороны внешней политики представлялись чужеродными и даже ханжескими. И тем не менее вильсоновство все это пережило, а история переступила через сдержанную позицию кое-кого из его современников. Вильсон первым смог представить универсальную всемирную организацию, Лигу Наций, которая предпочтет сохранять мир скорее на основе коллективной безопасности, чем путем создания альянсов. Хотя Вильсон не смог убедить свою собственную страну в ее достоинствах, эта идея продолжила свое существование. Главным образом под барабанный бой вильсоновского идеализма, именно с этого президентского водораздела американская внешняя политика шла вперед и продолжает свою поступь вплоть до сегодняшнего дня.

Единичный подход Америки к международным делам проявился не сразу, и он не был следствием вдохновения какой-то одиночки. В начале существования республики американская внешняя политика была фактически лишь сложным отражением американского национального интереса, состоявшим всего лишь в том, чтобы укреплять независимость нового государства. А поскольку ни одна европейская страна не представляла действительной угрозы, так как была вынуждена сама противостоять своим соперникам, отцы-основатели проявляли полную готовность манипулировать презируемым ими балансом сил, если это соответствовало их потребностям. И, действительно, они с большой ловкостью лавировали между Францией и Великобританией не только для того, чтобы сохранять независимость Америки, но и для расширения ее границ. В силу того, что отцы-основатели на самом деле не хотели убедительной победы ни той, ни другой стороны в войнах Великой французской революции, они объявили о своем нейтралитете. Джефферсон назвал наполеоновские войны соперничеством между тира-

ном суши (Франция) и тираном океана (Англия)¹ – другими словами, участники европейской борьбы с моральной точки зрения ничем не отличались друг от друга. Используя начальные формы политики неприсоединения, новое государство открыло для себя преимущества нейтралитета как инструмента получения уступок на переговорах, и это впоследствии делали многие новые государства.

Соединенные Штаты вместе с тем не доводили свои отрицания методов Старого Света до такой степени, чтобы отказываться от территориальной экспансии. Напротив, с самого начала своего существования Соединенные Штаты шли на экспансию в обеих Америках со всей возможной целеустремленностью и напористостью. После 1794 года ряд договоров закрепил границу Флориды с Канадой в пользу Америки, открыл реку Миссисипи для американской торговли и дал старт закреплению американских торговых интересов в Британской Вест-Индии. Этот процесс венчало приобретение Луизианы у Франции в 1803 году, что принесло молодой стране огромные, не закрепленные ни за кем территории к западу от реки Миссури, наряду с притязаниями на испанскую территорию во Флориде и Техасе, – что стало основой превращения в великую державу.

Руководитель Франции, который осуществил эту сделку, Наполеон Бонапарт, выдвинул объяснение в Старом Свете такой односторонней деловой операции: «Эта территориальная уступка навсегда закрепляет мощь Соединенных Штатов, и этим я только что дал Англии соперника на морях, который рано или поздно умерит ее гордыню»². Американским государственным деятелям было все равно, какие оправдания Франция выдвигает при продаже собственных владений. В их глазах осуждение силовой политики Старого Света не выглядело несовместимым с американской территориальной экспансией. Поскольку они видели в продвижении Америки на запад скорее внутреннее дело Америки, чем вопрос внешней политики.

Именно в таком духе Джеймс Мэдисон осудил войну как корень всякого зла – как предвестника новых налогов и создания армий, а также всех прочих «инструментов подчинения многих господству немногих»³. Его преемник Джеймс Монро не видел противоречия в защите экспансии на запад на том основании, что это было необходимо для превращения Америки в великую державу:

«Для всех должно быть очевидно, что чем дальше осуществляется экспансия, при условии, что она остается в пределах справедливости, тем большей станет свобода действий обоих правительств (штата и федерального) и тем более совершенной станет их безопасность; и во всех прочих отношениях тем более благоприятными станут ее результаты для всего американского народа. Размеры территории, в зависимости от того, велики они или малы, в значительной степени характеризуют ту или иную нацию. Они свидетельствуют о масштабах ее ресурсов, численности населения, а также об ее физических силах. Короче говоря, они создают отличие между великой и малой державой»⁴.

И все же, даже временами используя приемы европейской силовой политики, руководители новой нации оставались приверженными принципам, сделавшим их страну исключитель-

¹ Robert W. Tucker and David C. Hendrickson. *Thomas Jefferson and American Foreign Policy*, (Такер Роберт У. и Хендриксон Дэвид С. *Томас Джефферсон и американская внешняя политика*). *Foreign Affairs*, vol. 69, no. 2 (Spring 1990), p. 148. (Здесь и далее – в случае нахождения источника, опубликованного на русском языке, к сноске автора в скобках дополнительно прилагается сноска переводчика. – Прим. перев.)

² Thomas G. Paterson, J. Garry Clifford and Kenneth J. Hagan. *American Foreign Policy. A History* (Паттерсон Томас Г., Клиффорд Дж. Гэрри и Хаган Кеннет Дж. *Американская внешняя политика. История*). (Lexington, Mass.: D. C. Heath, 1977), p. 60.

³ Такер и Хендриксон. *Томас Джефферсон*. p. 140. Цитируется в: *Letters and Other Writings of James Madison*. (Письма и другие работы Джеймса Мэдисона). (Philadelphia: J. B. Lippincott, 1865), vol. IV, p. 491–92.

⁴ Монро Джеймс цитируется в: William A. Williams (eds.). *The Shaping of American Diplomacy* (Формирование американской дипломатии). (Chicago: Rand McNally, 1956), vol. I, p. 122.

ной. Европейские державы вели бесчисленные войны для того, чтобы не допустить подъема потенциально настроенных на доминирование государств. В Америке комбинация ее собственной мощи и удаленности вселяла уверенность в том, что любая проблема может быть преодолена *после* ее проявления. Европейские страны с гораздо меньшим индивидуальным запасом прочности на выживание создавали коалиции в отношении самой *возможности* перемены. Америка была достаточно далеко, чтобы приводить в действие свою политику противостояния *реальности* какой-то перемены.

Такова была геополитическая основа предупреждения Джорджа Вашингтона против «постоянных» союзов, независимо от цели их создания. Было бы неразумно, говорил он, «связывать себя искусственными узами с заурядными превратностями ее (европейской) политики или со столь же заурядными коллизиями ее дружественных либо враждебных отношений. Наше географически отдаленное положение позволяет нам придерживаться иного курса»⁵.

Новая нация не восприняла совет Вашингтона как годный для применения, как геополитическое рассуждение, а отнеслась к нему как к духовному завещанию. Будучи хранилищем для принципа свободы, Америка считала естественным рассматривать безопасность, которую ей даровали два великих океана, как знак божественного провидения и объяснять собственные деяния высшим моральным озарением, а не каким-то запасом прочности в плане безопасности, которого не имеют никакие другие страны.

Суть внешней политики раннего периода республики состояла в убежденности в том, что постоянные войны в Европе это результат циничных методов государственной деятельности. В то время как европейские руководители основывали свою международную систему на убежденности в том, что гармонию можно получить из соперничества эгоистичных интересов, их американские коллеги представляли себе мир, где государства будут действовать как партнеры по совместной работе, а не как не доверяющие друг другу противники. Американские руководители отвергали европейскую идею о том, что принципы поведения государств должны оцениваться иными критериями, чем принципы поведения отдельных индивидуумов. По словам Джефферсона, «существует лишь одна этическая система и для людей, и для государств – быть благодарными, быть верными всем принятым на себя обязательствам при любых обстоятельствах, быть открытыми и великодушными, что в конечном счете и в равной степени послужит интересам и тех, и других»⁶.

Праведность тона голоса Америки – временами так раздражающе действующая на иностранцев – отразила тот реальный факт, что Америка на самом деле восстала не просто против узаконенных связей, которые привязывали ее к родине, а против европейской системы и ее ценностей. Америка приписывала частоту европейских войн преобладанию государственных структур, отрицавших ценности свободы и человеческого достоинства. «Поскольку война и есть система управления старой конструкции, – писал Томас Пейн, – вражда, которую нации испытывают друг к другу, является не чем иным, как порождением политики собственных правительств и следствием их подстрекательства, чтобы сохранить дух системы. ... Человек не является врагом человека, а лишь становится таковым вследствие фальши системы управления»⁷.

⁵ Прощальное послание Джорджа Вашингтона 17 сентября 1796 года, перепечатано как: *Senate Document № 3, 102nd Cong., 1st sess. (Сенатский документ № 3, первая сессия конгресса США 102-го созыва)*. (Washington, D.C.: U. S. Government Printing Office, 1991), p. 24.

⁶ Письмо Джефферсона г-же герцогине Довиль от 2 апреля 1790 года, в: Paul Leicester Ford, ed. *The Writings of Jefferson (Сочинения Джефферсона)*. (New York: G. P. Putnam's Sons, 1892–99), vol. V, p. 153, цитируется в: Такер и Хендриксон. *Томас Джефферсон*. С. 139.

⁷ Thomas Paine. *Rights of Man* (1791) (Пэйн Томас. *Права человека*). (Secaucus, N. J.: Citadel Press, 1974), p. 147.

Идея о том, что мир зависит в первую очередь от распространения демократических институтов, остается основой американской философской мысли до настоящего времени. В Америке принято четко считать, что демократии не воюют друг с другом. Александр Гамильтон, например, ставил под сомнение предпосылку о том, что республики в большинстве своем более миролюбивы, чем другие формы правления:

«Спарта, Афины, Рим и Карфаген – все были республиками; две из них, Афины и Карфаген, – торгового типа. Тем не менее они вели в то время войны как наступательные, так и оборонительные, столь же часто, как соседние с ними монархии. ... В правительстве Великобритании представители народа составляют часть национального парламента. Главным занятием этой страны на протяжении веков была коммерция. Тем не менее немногие другие нации чаще вели войны...»⁸

Гамильтон, однако, представлял крайне небольшое меньшинство. Подавляющее большинство руководителей Америки были так же убеждены тогда, как и сейчас, в том, что на Америке лежит особая ответственность за повсеместное распространение имеющихся у нее ценностей как вклад в дело мира во всем мире. И тогда, и в настоящее время возникали разногласия в отношении этого постулата. Следует ли Америке активно содействовать распространению свободных демократических институтов в качестве главной цели своей внешней политики? Или ей следует только опираться на силу своего примера?

В начальные годы существования республики преобладающим было мнение о том, что нарождающаяся американская нация лучше всего может послужить делу демократии, реализуя свои добродетели у себя дома. По словам Томаса Джефферсона, «справедливое и прочное республиканское правительство» в Америке стало бы «вечным памятником и примером» для всех народов мира⁹. Годом позже Джефферсон вернулся к теме о том, что Америка фактически «работает за все человечество»: «...так как обстоятельства, которых не было у других, но которые были дарованы нам, возложили на нас обязанность доказать, каким должен быть уровень свободы и самоуправления, которыми общество могло бы наделить своих отдельных членов»¹⁰.

Акцент, который американские руководители сделали на моральные основы поведения Америки и на ее значение как символа свободы, привел к отрицанию избитых истин европейской дипломатии. Речь идет о том, что баланс сил выдает конечную гармонию как продукт соперничества эгоистических интересов, а также о том, что соображения безопасности стоят выше принципов гражданского права. Иными словами, цели государства оправдывают средства.

Такого рода беспрецедентные идеи выдвигались страной, процветавшей в течение всего XIX века, обеспечивая отличную работу своих институтов и отстаивая свои ценности. Америка осознавала, что нет противоречий между благородным принципом и потребностями выживания. Со временем призыв к морали как к средству разрешения международных споров стал причиной уникальной по своей природе двойственности и типично американского типа стра-

⁸ Alexander Hamilton. "The Federalist № 6" (Гамильтон Александр. *Федералист*. № 6), в: Edward Mead Earle, ed. *The Federalist*. (New York: Modern Library, 1941), p. 30–31.

⁹ Письмо Джефферсона Джону Дикинсону от 6 марта 1801 года, в: Adrienne Koch and William Peden, eds. *The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson* (*Жизнь и избранные сочинения Томаса Джефферсона*). (New York: Modern Library, 1944), p. 561.

¹⁰ Письмо Джефферсона Джозефу Пристли от 19 июня 1802 года, в: Ford, ed. *Сочинения Джефферсона*, vol. VIII, p. 158–159, цитируется в: Robert W. Tucker and David C. Hendrickson. *Empire of Liberty: The Statecraft of Thomas Jefferson* (Тукер и Хендриксон. *Империя свободы: Государственная деятельность Томаса Джефферсона*). (New York/Oxford: Oxford University Press, 1990), p. 11.

даний. Если американцы должны были вкладывать в свою внешнюю политику тот же объем высокой нравственности, какой они вкладывали в свою личную жизнь, то чем же тогда надо было измерять безопасность? И действительно, если брать по самой высшей мерке, то значит ли все это, что выживание находится в зависимости от нравственного поведения? Или, быть может, приверженность Америки институтам свободы придает автоматически характер нравственного поступка даже самым очевидным эгоистическим действиям? И если это так, то каким образом это отличается от европейской концепции учета национальных интересов государства, согласно которой поступки государства могут быть оценены только по их успехам?

Два профессора, Роберт Такер и Дэвид Хендриксон, дали блестящий анализ этой двойственности американской философии:

«Большая дилемма искусства управления государством Джефферсона состоит в его отказе от признания средств, на которые государства всегда полностью полагались с целью обеспечения своей безопасности и удовлетворения своих амбиций, что, как правило, приводило именно к применению этих средств. Он желал, говоря другими словами, чтобы Америка получала и то, и другое, – чтобы она могла наслаждаться плодами своей мощи, не становясь жертвой обычных последствий ее применения»¹¹.

До сегодняшнего дня эти два разновекторных подхода оставались одной из главных тем американской внешней политики. К 1820 году Соединенные Штаты нашли между этими двумя подходами компромисс, давший им возможность использовать и тот, и другой подходы вплоть до окончания Второй мировой войны. Они продолжали осуждать происходящее за океанами как достойный осуждения результат политики баланса сил, рассматривая свою собственную экспансию по территории Северной Америки как «Манифест судьбы», как некое ее предназначение.

До начала XX века американская внешняя политика в своей основе была совершенно простой: претворять в жизнь предназначение судьбы страны и оставаться не связанными никакими обязательствами за океаном. Америка оказывала помощь демократическим правительствам, где бы то ни было, но не предпринимала действий в подтверждение своих предпочтений. Джон Куинси Адамс, государственный секретарь в то время, так подытожил этот подход в 1821 году:

«Где бы ни были развернуты или будут развернуты в будущем знамена свободы и независимости, с ними будет ее (Америки) сердце, ее благословение и ее молитвы. Но она не пересечет своих границ в поисках монстров, чтобы их уничтожить. Она больше всех желает свободы и независимости. Но она отстаивает и защищает только собственную свободу и независимость»¹².

Оборотной стороной этой политики американского самоограничения стало решение исключить европейскую силовую политику из Западного полушария, при необходимости используя некоторые из методов европейской дипломатии. Доктрина Монро, провозгласившая эту политику, возникла из попытки Священного союза, главными участниками которого были Россия, Пруссия и Австрия, подавить революцию в Испании в 1820-е годы. Выступавшая в принципе против вмешательства во внутренние дела Великобритании точно так же не хотела допускать Священный союз в Западное полушарие.

¹¹ Такер и Хендриксон. *Томас Джефферсон*. С. 141.

¹² Адамс Джон Куинси. Обращение 4 июля 1821 года, в: Walter LaFeber, ed. *John Quincy Adams and American Continental Empire* (Лафйбер Уолтер. *Джон Куинси Адамс и американская континентальная империя*). (Chicago: Times Books, 1965), p. 45.

Британский министр иностранных дел Джордж Каннинг предложил совместные действия Соединенным Штатам, стремясь не допустить, чтобы колонии Испании в обеих Америках попали в руки Священного союза. Он хотел быть уверенным в том, что, независимо от событий в Испании, никакая европейская держава не стала бы контролировать Латинскую Америку. Лишенная колоний Испания перестанет быть желанной добычей, как убеждал Каннинг, а это либо заставит отказаться от интервенции, либо сделает ее бессмысленной.

Джон Куинси Адамс понял британский ход мысли, однако не доверял тому, чем руководствовалась Британия. События происходили слишком скоро после британской оккупации Вашингтона в 1812 году, чтобы Америка стала на сторону бывшей метрополии. В силу этого Адамс настоял, чтобы президент Монро принял одностороннее американское решение о недопущении европейского колониализма на территории обеих Америк.

Провозглашенная в 1823 году доктрина Монро превращала океан, разделяющий Соединенные Штаты и Европу, в труднопреодолимое препятствие. До того времени главным правилом американской внешней политики было положение о том, что Соединенные Штаты не станут никогда втягиваться в европейскую борьбу за власть. Доктрина Монро стала еще одним шагом в том же направлении, так как она объявляла, что Европа не должна вмешиваться в американские дела. А представление Монро об американских делах – а это все Западное полушарие – носило поистине экспансионистский характер.

Более того, доктрина Монро не ограничивалась только провозглашением тех или иных принципов. Она весьма смело предупреждала европейские державы о готовности новой страны воевать для поддержки неприкосновенности Западного полушария. В ней объявлялось о том, что Соединенные Штаты станут рассматривать попытку со стороны Европы распространить свою систему власти «на любую часть этого полушария как представляющую опасность нашему миру и безопасности»¹³.

И, наконец, говоря менее изысканным, но гораздо более понятным языком, чем язык своего государственного секретаря двумя годами ранее, президент Монро клятвенно отрекся от какого-либо вмешательства в европейские противоречия: «Мы никогда не принимали участия в войнах европейских держав, касающихся их самих, такие действия не соответствуют нашей политике»¹⁴.

Америка в одно и то же время отворачивалась от Европы и освобождала руки для экспансии в Западном полушарии. Под прикрытием доктрины Монро Америка могла проводить политику, которая не так уж и отличалась от мечтательных планов любого европейского монарха – расширение своей торговли и сферы влияния, аннексия территории, – короче говоря, превращения в великую державу без необходимости проведения на деле силовой политики. Стремление Америки к экспансионизму и ее вера в то, что она является святее и принципиальнее любой другой страны Европы, никогда не наталкивались на какое-либо противоречие. Поскольку США не рассматривали свою экспансию как дело внешней политики, то могли применять свою силу для осуществления господства – над индейцами, над Мексикой, в Техасе – и делать это без всякого зазрения совести. Одним словом, внешняя политика Соединенных Штатов состояла в том, чтобы не иметь внешней политики.

Как Наполеон по отношению к сделке с Луизианой, так и Каннинг мог по праву хвастаться, что он заявил о существовании Нового Света и перестройке баланса сил в Старом Свете, поскольку Великобритания дала понять, что поддержит доктрину Монро силами королевского военно-морского флота. А Америка, несмотря на это, все же настаивала на переделке европейского баланса сил лишь для того, чтобы иметь возможность не допустить Священный союз в

¹³ Послание президента Монро конгрессу США, 2 декабря 1823 года, в: Ruhl Bartlett, ed. *The Record of American Diplomacy (Архив американской дипломатии)*. (New York: Alfred A. Knopf, 1956), p. 182.

¹⁴ Там же.

Западное полушарие. В остальном европейские державы должны были бы сами поддерживать равновесие, без американского участия.

До конца того столетия главной темой американской внешней политики было расширение сферы применения доктрины Монро. В 1823 году в соответствии с доктриной Монро европейские державы были предупреждены о том, чтобы они не вмешивались в дела Западного полушария. К наступлению 100-летнего юбилея доктрины Монро ее толкование постепенно расширялось с целью оправдания американской гегемонии в Западном полушарии. В 1845 году президент Полк объяснял включение Техаса в состав Соединенных Штатов как необходимость, предпринятую для недопущения превращения независимой республики в «союзника или зависимую территорию некоей иностранной нации, более мощной, чем они сами», и, следовательно, в угрозу американской безопасности¹⁵. Другими словами, доктрина Монро оправдывала американское вмешательство не только в случае существующей угрозы, но и в случае любой вероятности открытого вызова – во многом схоже с действиями по поддержанию европейского баланса сил.

Гражданская война на короткое время прервала занятость Америкой территориальной экспансией. Главной проблемой внешней политики Вашингтона на тот момент было недопущение признания европейскими государствами Конфедерации с тем, чтобы на территории Северной Америки не была создана система существования множества государств, а с этим и политика баланса сил европейской дипломатии. Но уже к 1868 году президент Эндрю Джонсон вернулся на старые позиции оправдания экспансии при помощи доктрины Монро, на этот раз при покупке Аляски:

«Иностранное владение или контроль над теми поселениями до сего времени сдерживали рост и ослабляли влияние Соединенных Штатов. Затяжные революции и анархия были бы столь же вредоносны»¹⁶.

Происходило нечто более существенное, чем просто экспансия по всему американскому континенту, хотя все прошло практически незаметно со стороны так называемых великих держав. В их клуб входил новый член, так как Соединенные Штаты стали самой мощной страной мира. К 1885 году Соединенные Штаты обогнали считавшуюся тогда крупнейшей индустриальной державой мира Великобританию по общему объему обрабатывающей промышленности. К концу столетия они потребляли больше энергии, чем Германия, Франция, Австро-Венгрия, Россия, Япония и Италия, вместе взятые¹⁷. За период между окончанием гражданской войны и наступлением нового столетия добыча угля в Америке выросла на 800 процентов, выпуск стальных рельсов – на 523 процента, длина железнодорожных путей – на 567 процентов, а производство пшеницы – на 256 процентов. Иммиграция привела к удвоению численности американского населения. И темпы роста, похоже, ускорялись.

Еще ни одна страна не испытывала такие темпы роста своей мощи и при этом не пыталась направить ее на увеличение своего глобального влияния. Руководители Америки подверглись такому искушению. Государственный секретарь президента Эндрю Джонсона, Сьюард, видел в своих мечтах империю, включающую Канаду и большую часть Мексики, протянувшуюся в

¹⁵ Инаугурационное обращение президента Джеймса Полка 4 марта 1845 года, в: *The Presidents Speak (Выступления президентов)*, annot. by David Newton Lott. (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969), p. 95.

¹⁶ Цитируется в: Williams, *Shaping of American Diplomacy*, vol. 1, p. 315 (Вильямс. *Формирование американской дипломатии*. Т. I. С. 315).

¹⁷ См.: Paul Kennedy. *The Rise and Fall of Great Powers* (Кеннеди Пол. *Подъем и упадок великих держав*). (New York: Random House, 1987), p. 201 and p. 242ff; также: Fareed Zakaria. *The Rise of a Great Power, National Strength, State Structure, and American Foreign Policy 1865–1908* (unpublished doctoral thesis, Harvard University, 1992), chapter 3, p. 4ff. (Закария Фарид. *Подъем великой державы, национальное могущество, государственная структура и американская внешняя политика*, 1865–1908 годы, Гл. 3. С. 4 и сл.), (неопубликованная докторская диссертация, Гарвардский университет, 1992).

глубь Тихого океана. А администрация Гранта хотела аннексировать Доминиканскую республику и носилась с приобретением Кубы. То были инициативы, которые европейские лидеры того времени Дизраэли и Бисмарк поняли бы и одобрили бы.

Однако американский сенат сохранял нацеленность на внутренние приоритеты и сорвал все экспансионистские проекты. Он держал маленькую армию (25 тысяч человек), а флот слабым. Вплоть до 1890 года американская армия занимала 14-е место в мире после Болгарии, а американский военно-морской флот был меньше итальянского, хотя по промышленной мощи Америка была в 13 раз больше Италии. Америка не участвовала в международных конференциях, и к ней относились как к второразрядной державе. В 1880 году, когда Турция провела сокращение дипломатического персонала, она закрыла свои посольства в Швеции, Бельгии, Нидерландах и в Соединенных Штатах. В то же самое время один немецкий дипломат в Мадриде предложил сократить ему зарплату, только чтобы его не направляли на работу в Вашингтон¹⁸.

Но если страна достигает уровня мощи, равного мощи Америки периода после окончания гражданской войны, она не станет вечно сопротивляться искушению и использует эту мощь, чтобы занять важное положение на международной арене. В конце 1880-х годов Америка приступила к строительству своего военно-морского флота, который в 1880 году был меньше флотов Чили, Бразилии и Аргентины. В 1889 году министр ВМФ Бенджамин Трейси лоббировал строительство броненосцев, чему военно-морской историк того времени Альфред Тайер Мэхэн дал весьма рациональное толкование¹⁹.

Хотя на практике британские королевские военно-морские силы защищали Америку от опустошительных нападений европейских держав, американские руководители не воспринимали Великобританию защитницей своей страны. На протяжении всего XIX века Великобритания рассматривалась как самая большая проблема для американских интересов, а королевские военно-морские силы самой серьезной стратегической угрозой. Не удивительно, что, когда Америка стала демонстрировать свои мускулы, она попыталась избавить Западное полушарие от влияния Великобритании, прибегнув к доктрине Монро, которую Великобритания так поддерживала всеми средствами.

Соединенные Штаты отнюдь не деликатничали, столкнувшись с такой проблемой. В 1895 году государственный секретарь Ричард Олни применил доктрину Монро и предупредил Великобританию, сделав очевидную ссылку на дисбаланс сил. «В настоящее время, – писал он, – Соединенные Штаты являются практически сувереном на Американском континенте, и их воля является законом для всех, на кого они распространяют свое воздействие». Имеющиеся у Америки «неограниченные ресурсы в сочетании с изолированным расположением делают ее хозяином положения и практически неуязвимой для любой или любых других держав»²⁰. Отказ Америки от силовой политики со всей очевидностью не распространялся на Западное полушарие. К 1902 году Великобритания отказалась от своих притязаний на ведущую роль в Центральной Америке.

Добившись превосходства в Западном полушарии, Соединенные Штаты начали выходить на более широкую арену международных дел. Америка превратилась в мировую державу почти вопреки самой себе. Расширяя свои границы на континенте, она установила свое господство по всем своим берегам, хотя и настаивала на том, что не имеет желания вести внешнюю политику, свойственную великой державе. В завершение этого процесса оказалось, что Америка обладает такой силой, которая делает ее главным международным фактором, независимо от ее собственных предпочтений. Руководители Америки могли бы продолжать настаивать на том,

¹⁸ Закария, *там же*. С. 7–8.

¹⁹ *Там же*. С. 71.

²⁰ Американская внешняя политика. С. 189.

что основная цель ее внешней политики состоит в том, чтобы служить в качестве «путеводной звезды» для остального человечества. Но уже нельзя отрицать, что некоторые из них также начинали понимать, что ее мощь дает Америке право на то, чтобы ее выслушивали по всем злободневным вопросам повестки дня, и что ей нет необходимости ожидать, пока все остальное человечество станет демократическим, чтобы стать частью международной системы.

Никто не сформулировал эту аргументацию так язвительно, как Теодор Рузвельт. Он был первым президентом, который настоял на том, что долг Америки в том, чтобы ее влияние ощущалось во всемирном масштабе и чтобы Америка строила свои отношения с внешним миром через призму концепции национального интереса. Как и его предшественники, Рузвельт был убежден в благотворной роли Америки. Однако, в отличие от них, Рузвельт считал, что у Америки есть подлинные внешнеполитические интересы, идущие далеко за пределы ее интереса, заключающегося в том, чтобы оставаться не втянутой в дела, которые ее не касаются. Рузвельт исходил из той предпосылки, что Соединенные Штаты являются державой, как и все другие, а не каким-то уникальным воплощением добродетелей. Если интересы страны вступали в противоречие с интересами других стран, то долгом Америки было использовать всю свою мощь для того, чтобы одержать победу.

Рузвельт предпринял первый шаг, придав доктрине Монро толкование, допускающее вмешательство, ассоциировав ее с империалистическими доктринами того времени. В послании конгрессу, которое он назвал «Поправкой» к доктрине Монро, 6 декабря 1904 года он объявил об исключительном праве на вмешательство со стороны «какой-либо цивилизованной нации», которое в Западном полушарии имеют право осуществлять только Соединенные Штаты. А именно: «... в Западном полушарии следование Соединенными Штатами доктрине Монро может вынудить их, возможно, и против своей воли, в вопиющих случаях таких нарушений законности или проявления бессилия, к выполнению обязанностей международной полицейской державы»²¹.

Практические действия Рузвельта предвещали его наставления. В 1902 году Америка заставила Гаити выплатить свои долги европейским банкам. В 1903 году она раздула беспорядки в Панаме до крупномасштабного восстания. Местное население с американской помощью вырвало независимость у Колумбии, но не ранее, чем Вашингтон взял под суверенитет Соединенных Штатов «зону Панамского канала» по обе стороны от того, что потом должно было стать Панамским каналом. В 1905 году Соединенные Штаты установили финансовый протекторат над Доминиканской республикой. А в 1906 году американские войска оккупировали Кубу.

Силовая дипломатия в Западном полушарии была для Рузвельта частью новой глобальной роли Америки. Два океана больше не были достаточно широки, чтобы изолировать Америку от внешнего мира. Соединенные Штаты стали игроком на международной арене. Об этом он сказал в послании конгрессу за 1902 год: «Все больше растущая взаимозависимость и сложность международных политических и экономических отношений требует от всех цивилизованных и соблюдающих закон и порядок стран настаивать на осуществлении надлежащего надзора за порядком в мире»²².

Рузвельт занимает уникальную позицию в истории формирования внешней политики Америки. Ни один другой президент не определял роль Америки в мире без такого полного учета национального интереса, или не с такой полнотой идентифицировал национальный интерес с балансом сил. Рузвельт разделял мнение своих соотечественников в том, что Америка является главной надеждой всего мира. Однако в отличие от большинства из них, он не считал,

²¹ Ежегодное послание президента Рузвельта конгрессу США 6 декабря 1904 года, в: Bartlett, ed. *The Record of American Diplomacy*, p. 539 (Архив американской дипломатии).

²² Заявление Рузвельта конгрессу США, 1902 год, цит. по: John Morton Blum. *The Republican Roosevelt* (Блум Джон Мортон. *Республиканец Рузвельт*). (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967), p. 127.

что она способна сохранять мир или выполнить свое предназначение просто посредством распространения гражданских добродетелей. В своем восприятии характера мирового порядка он стоял гораздо ближе к Пальмерстону и Дизраэли, чем к Томасу Джефферсону.

Великий президент должен быть просветителем, наводящим мосты между будущим и нынешним существованием своего народа. Рузвельт проповедовал особенно суровую доктрину для народа, воспитанного в вере в то, что мир является нормальным состоянием отношений между государствами, что нет отличий между личной и общественной моралью и что Америка надежно защищена от пертурбаций, сотрясающих остальные страны. Сам же Рузвельт отвергал все эти максимы. Для него международная жизнь означала борьбу, а теория Дарвина о выживании наиболее приспособленных была самым лучшим руководством по истории, чем личная мораль. С точки зрения Рузвельта, кроткие унаследовали бы Землю только в том случае, если бы они были сильными²³. По его мнению, Америка была не вопросом, требующим решения, а великой державой – потенциально самой великой. Он уповал на то, что станет президентом, которому предопределено судьбой повести свою страну на мировую арену, чтобы она смогла определять облик XX века таким же образом, как Великобритания доминировала в XIX веке, – как страна огромнейшей мощи, которая вызвалась со всей сдержанностью и мудростью трудиться на благо стабильности, мира и прогресса.

Рузвельт был нетерпим к множеству извинительных мотивов, господствовавших в американском мышлении по вопросам внешней политики. Он отрицал силу международного права. То, что страна неспособна отстоять своей собственной мощью, не может быть обеспечено международным сообществом. Он отвергал разоружение, которое тогда только проявилось как международная тема:

«Пока еще нет никаких перспектив установления некоей международной силы... которая может эффективно контролировать противоправные деяния. В таких условиях было бы крайне глупо и даже преступно для великой и свободной державы отказываться от своей силы в деле защиты собственных прав, а в исключительных случаях и выступить в защиту прав других. Ничто не может породить большего беззакония... как преднамеренное лишение себя сил, в то время как деспотизм и варварство остаются во всеоружии»²⁴.

Рузвельт был еще более язвителен, когда речь заходила о мировом правительстве:

«Я считаю отвратительным подход Вильсона – Бриана с их доверчивым отношением к нереальным мирным договорам, к возможным обещаниям, ко всем видам листков бумаги, не подкрепленным действенной силой. Было бы намного лучше как для отдельной страны, так и для мира в целом рассматривать внешнюю политику в традициях Фридриха Великого и Бисмарка, а не с позиций постоянного национального подхода Бриана или подхода Бриана – Вильсона. ... Не подкрепленная силой бесхребетная правота до такой же степени зловредна и даже более злонамеренна, чем сила, далекая от справедливости»²⁵.

В регулируемом с помощью силы мире, как считал Рузвельт, естественный порядок вещей отражается в концепции о «сферах влияния». Согласно этой концепции господствующее влияние на обширные регионы оказывали бы те или иные конкретные державы, к примеру, Соединенные Штаты в Западной полушарии или Великобритания на Индийском субконтин-

²³ В Евангелии от Матфея (5:5) сказано: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». (Библия. Новый Завет.) – *Прим. перев.*

²⁴ Там же. С. 137.

²⁵ Письмо Рузвельта Хьюго Манстербергу от 3 октября 1914 года, в: Elting E. Morison, ed. *The Letters of Theodore Roosevelt (Письма Теодора Рузвельта)*. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1954), vol. VIII, p. 824–25.

ненте. В 1908 году Рузвельт неохотно согласился с японской оккупацией Кореи, потому что, согласно его образу мысли, японско-корейские отношения должны были бы регулироваться соотношением сил каждой из этих стран, а не положениями какого-то договора или в соответствии с международным правом:

«Япония стала полновластной «хозяйкой» Кореи. И, конечно, согласно договору было торжественно обговорено, что Корея останется независимой. Но Корея оказалась не в состоянии выполнить этот договор, поэтому совершенно неуместно предполагать, что какая-то другая страна... попытается сделать за корейцев то, что сами совершенно не способны сделать для самих себя»²⁶.

Учитывая, что Рузвельт придерживался таких взглядов европейского толка, было неудивительно, что он относился к глобальному балансу сил с такой тонкостью, какой не демонстрировал ни один другой американский президент, за исключением Ричарда Никсона. Вначале Рузвельт не считал необходимым втягивать Америку в специфические детали европейского баланса сил, потому что полагал его более или менее саморегулирующимся. Однако он почти не сомневался в том, что, если подобное суждение окажется ошибочным, он станет настаивать на том, чтобы Америка подключилась к этой системе с целью восстановления равновесия. Постепенно Рузвельт пришел к пониманию того, что Германия представляет собой угрозу европейскому балансу, и стал связывать национальный интерес Америки с национальным интересом Великобритании и Франции.

Такой подход был продемонстрирован в 1906 году во время Альхесирасской конференции, целью которой было урегулирование будущего Марокко. Германия, настаивавшая на «открытых дверях» для себя, чтобы не допустить французского доминирования, потребовала включения американского представителя, поскольку считала, что Америка имеет там значительные торговые интересы. Так или иначе, американцы были представлены на этом мероприятии в Марокко своим послом в Италии, однако сыгранная им роль не оправдала надежд немцев. Рузвельт поставил торговые интересы Америки в подчиненное положение – они, в любом случае, были не так уж и велики – по сравнению со своими геополитическими представлениями. Последние были отражены Генри Кэботом Лоджем в письме Рузвельту в разгар марокканского кризиса. «Франция, – говорил он, – должна быть с нами и с Англией – в нашей зоне и в нашей группе. Это рациональная договоренность, как в экономическом, так и в политическом плане»²⁷.

В то время как в Европе Рузвельт считал Германию главной угрозой, в Азии его заботили устремления России, в силу чего он оказывал предпочтение Японии, главному противнику России. «В мире больше нет такой страны, которая больше России держала бы в своих руках судьбу грядущих лет», – заявил Рузвельт²⁸. В 1904 году Япония, получившая защиту в союзе с Великобританией, напала на Россию. Хотя Рузвельт объявил об американском нейтралитете, он склонялся на сторону Японии. Победа России, как доказывал он, стала бы «ударом по цивилизации»²⁹. А когда Япония уничтожила русский флот, он радовался: «Я был полностью доволен японской победой, так как Япония играла в нашу игру»³⁰.

²⁶ Блум. *Республиканец Рузвельт*. С. 131.

²⁷ Selections from the Correspondence of Theodore Roosevelt and Henry Cabot Lodge, 1884–1918 (*Избранная переписка Теодора Рузвельта и Генри Кэбота Лоджа, 1884–1918 годы*), ed. by Henry Cabot Lodge and Charles E. Redmond. (New York/London: Charles Scribner's Sons, 1925), vol. II, p. 162.

²⁸ Блум. *Республиканец Рузвельт*. С. 135.

²⁹ Там же. С. 134.

³⁰ Цитируется в: John Milton Cooper, Jr. *Pivotal Decades: The United States, 1900–1920* (Купер-мл. Джон Мильтон. *Поворотные десятилетия. Соединенные Штаты в 1900–1920 годах*, (New York/London: W. W. Norton, 1990), p. 103.

Он скорее хотел ослабления России, чем полного ее вывода из системы баланса сил, – поскольку согласно основополагающим принципам дипломатии баланса сил чрезмерное ослабление России приведет японскую угрозу на смену русской. Рузвельт понимал, что лучше всего служившим интересам Америки исходом представлялся такой, при котором Россию «следовало бы столкнуть лицом к лицу с Японией так, чтобы каждая из них оказывала сдерживающее воздействие на другую»³¹.

Руководствуясь скорее геополитическим реализмом, чем благородным альтруизмом, Рузвельт пригласил обе воюющие стороны направить своих представителей в его резиденцию в Ойстер-Бей для разработки мирного договора, который был заключен в итоге в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир. Договор устанавливал пределы японской победы и сохранял равновесие на Дальнем Востоке. В результате Рузвельт стал первым американцем, удостоенным Нобелевской премии мира за достижение урегулирования на основе таких высших принципов, максимах, как баланс сил и сферы влияния, которые по воле его преемника Вильсона уже окажутся совершенно неамериканскими.

В 1914 году Рузвельт изначально сравнительно беспристрастно отнесся к вторжению Германии в Бельгию и Люксембург, хотя оно шло в вопиющее противоречие с договорами, устанавливавшими нейтралитет этих двух стран:

«Я не становлюсь ни на ту, ни на другую сторону в вопросе о нарушении или неуважении к этим договорам. Когда гиганты вступают в смертельную схватку, как сходятся и расходятся, будто в танце, они вполне могут наступить на кого-то, кто окажется на пути у этих огромных, утомившихся в битве бойцов, *до тех пор пока будет не опасно так поступать*»³².

Через несколько месяцев после начала войны в Европе Рузвельт уже пересмотрел свое изначальное суждение относительно нарушения бельгийского нейтралитета. Хотя, примечательно, беспокоила его не незаконность германского вторжения, а угроза, возникшая для баланса сил: «... разве вы не считаете, что если бы Германия выиграла эту войну, разгромила бы английский флот и разрушила бы Британскую империю, то через год-два она стала бы настаивать на установлении господствующего положения в Южной и Центральной Америке?..»³³

Он настоял на масштабных перевооружениях с тем, чтобы Америка смогла всем своим авторитетом поддержать Антанту. Он рассматривал победу Германии как вполне вероятную, так и весьма опасную для Соединенных Штатов. Победа же блока Центральных держав лишила бы их защиты со стороны британского военно-морского флота, позволив германскому империализму утвердиться в Западном полушарии.

Причиной того, что Рузвельт, должно быть, полагал британский военно-морской контроль над Атлантикой более безопасным, чем гегемонию Германии, были такие нематериальные и не имеющие к балансу сил факторы, как культурное родство и исторический опыт. И действительно, существовали сильные культурные связи между Англией и Америкой, не имевшие аналога в отношениях между США и Германией. Более того, Соединенные Штаты привыкли к тому, что Британия правила морями, и вполне свыклись с этой идеей, более не подозревая Великобританию в экспансионистских намерениях в обеих Америках. Германия, однако, воспринималась с опаской. 3 октября 1914 года Рузвельт писал британскому послу в Вашингтоне (удобно позабыв о своем прежнем суждении относительно неизбежности игнорирования Гер-

³¹ Блум. *Республиканец Рузвельт*. С. 134.

³² Рузвельт в: *Outlook*, vol. 107 (August 22, 1914), p. 1012.

³³ Письмо Рузвельта Манстербергу от 3 октября 1914 года, в: Morison, ed. *Letters of Theodor Roosevelt (Письма Теодора Рузвельта)*, p. 823.

манией нейтралитета Бельгии), что: «Если бы я был Президентом, я бы выступил (против Германии) 13 или 31 июля»³⁴.

В письме Редьярду Кипплингу месяцем позже Рузвельт признался в трудностях, с которыми приходится сталкиваться, чтобы попытаться с американской мощью оказать воздействие на эту европейскую войну, исходя из его личных убеждений. Американский народ не желал следовать задаваемому ходу действий, с такой очевидностью сформулированному в терминах силовой политики:

«Если бы мне надо было отстаивать все то, во что я сам верю, я вряд ли принес пользу нашему народу, потому что народ ни за что не пошел бы за мной. Наш народ недалёковиден и не разбирается в международных вопросах. Ваш народ тоже не видит перспектив, но он не настолько близорук, как наш, в этих вопросах. ... Благодаря ширине океана, наш народ полагает, что ему нечего бояться в нынешнем столкновении и что у него нет никакой ответственности в связи с этим»³⁵.

Если бы американское мышление во внешнеполитических вопросах достигло высшей точки в воззрениях Теодора Рузвельта, то его можно было бы описать как эволюцию приспособления традиционных принципов европейской государственной мудрости к американским условиям. Рузвельта рассматривали бы как президента, который находился у власти, когда Соединенные Штаты, установив господствующее положение в Северной и Южной Америке, стали оказывать свое влияние как мировая держава. Но американское внешнеполитическое мышление не остановилось на Рузвельте, да и не могло на нем остановиться. Руководитель, который соизмеряет свою роль с имеющимся у его народа опытом, обрекает себя на стагнацию; а руководитель, который опережает опыт своего народа, рискует оказаться непонятым. Ни накопленный опыт, ни имевшиеся ценности не подготовили Америку к роли, определенной для нее Рузвельтом.

В одном из парадоксов истории Америка, в конце концов, осуществила руководящую роль, которую Рузвельт предвидел для нее. И случилось это еще при жизни Рузвельта. Однако сделано это было на основе принципов, которые отвергались Рузвельтом, и под руководством президента, которого Рузвельт презирал. Вудро Вильсон был воплощением традиции американской исключительности, он стал автором того, что впоследствии стало господствующей интеллектуальной школой американской внешней политики – школой, предписания которой Рузвельт в лучшем случае посчитал бы ничего не значащими, а в худшем – вредными для долгосрочных интересов Америки.

Если оценивать Рузвельта по меркам устоявшихся принципов государственного ума, то из двух этих величайших президентов Америки он был в более выигрышной позиции. Тем не менее победил именно Вильсон. Через столетие Рузвельта будут помнить за его достижения, но именно Вильсон как раз формировал американское мышление. Рузвельт понял, как международная политика работает среди стран, определявших в то время состояние мировых дел, – ни один американский президент не обладал более острым и проницательным проникновением в суть действия международных систем. И все же именно Вильсон уловил главные движущие силы американских мотивировок и, возможно, самую главную из них, которая состояла в том, что Америка просто не представляла себя похожей на другие страны. Ей недоставало ни теоретической, ни практической базы для дипломатии европейского типа, чтобы постоянно при-

³⁴ Письмо Рузвельта Сесилу Артуру Спринг-Райсу от 3 октября 1914 года. *Там же*. С. 821.

³⁵ Письмо Рузвельта Редьярду Кипплингу от 4 ноября 1914 года, в: Robert Endicott Osgood. *Ideals and Self-Interest in America's Foreign Relations* (Осгуд Роберт Эндикотт. *Идеалы и эгоистические интересы в американских внешних отношениях*). (Chicago: University of Chicago Press, 1953), p. 137.

способливать различные тонкости в плане силы, действуя с позиции морального нейтралитета ради единственной цели сохранения постоянно меняющегося баланса сил. Какими бы ни были реальности и уроки силовой политики, американский народ в основном склонялся к убеждению в том, что его исключительность коренится в практическом применении и распространении свободы.

Американцев можно сподвигнуть на великие дела, только продемонстрировав им нечто, что совпадало бы с их представлениями об исключительности своей страны. Подход Рузвельта, как бы ни был он интеллектуально гармоничен со стилем дипломатии, который фактически осуществляли великие державы, не смог убедить его соотечественников в том, что им следует вступить в Первую мировую войну. С другой стороны, Вильсону удалось ослабить накал страстей своего народа при помощи доводов, которые были как морально возвышенными, так и по большей части непонятными для иностранных руководителей.

Успех Вильсона был потрясающим. Отвергая силовую политику, он знал, какие чувствительные струны следует затронуть у американского народа. Пришедший в политику сравнительно поздно, ученый оказался избранным благодаря расколу в Республиканской партии между Тафтом и Рузвельтом. Вильсон понял, что интуитивный изоляционизм Америки может быть преодолен только при помощи призыва к ее вере в исключительную природу идеалов страны. Шаг за шагом он продвигал настроенную изоляционистски страну к вступлению в войну, а потом продемонстрировал приверженность своей администрации миру страстной защитой нейтралитета. И проделал он это, отрекаясь от каких бы то ни было национальных интересов и утверждая, что Америка не стремится ни к каким иным выгодам, кроме отстаивания своих принципов.

В своем первом обращении «О положении в стране» 2 декабря 1913 года Вильсон заложил ориентиры того, что потом стало известно под термином вильсонизм. По мнению Вильсона, всеобщее право, а отнюдь не равновесие, национальная надежность, а не национальное самоутверждение являлись фундаментом международного порядка. Рекомендую ратифицировать несколько договоров об арбитражном разбирательстве, Вильсон утверждал, что обязательный арбитраж, а не сила должны стать методом урегулирования международных споров:

«Есть только одно возможное мерило, при помощи которого определяются разногласия между Соединенными Штатами и другими странами, и оно состоит из двух составных частей: нашей собственной чести и нашего собственного обязательства по обеспечению мира во всем мире. Составленный на такой основе тест на поверку можно с легкостью применить к регулированию как правил вступления в договорные обязательства, так и толкования ранее принятых»³⁶.

Ничто так не раздражало Рузвельта, как пышные принципы, не подкрепленные ни силой, ни волей, нацеленной на их реализацию. Он написал одному своему другу: «Если мне придется выбирать между силовой и слабОВОЛЬНОЙ политикой... так что же, я выступаю за силовую политику. Так лучше не только для страны, но и в долгосрочном плане для всего мира»³⁷.

По той же причине предложение Рузвельта отреагировать на войну в Европе увеличением расходов на оборону не имело никакого смысла для Вильсона. В своем обращении к конгрессу США «О положении в стране» от 8 декабря 1914 года и после того, как европейская война бушевала уже четыре месяца, Вильсон отказался увеличить затраты на вооружение Америки. По его мнению, это означало бы, что «мы утратили самообладание из-за войны, при-

³⁶ Вильсон Вудро. Ежегодное обращение к конгрессу США «О положении в стране» от 2 декабря 1913 года, в: Arthur S. Link, ed. *The Papers of Woodrow Wilson (Документы Вудро Вильсона)*. (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1966) Vol. 29, p. 4.

³⁷ Письмо Рузвельта другу, декабрь 1914 года, цитируется в: Остуд. *Идеалы и эгоистические интересы*. С. 144.

чины которой нас не касаются, а сама она предоставляет нам возможности для установления дружественных отношений и бескорыстных услуг...»³⁸

Согласно воззрениям Вильсона, влияние Америки зависело от ее бескорыстия. Ей следовало сохранять себя так, чтобы в итоге страна могла выступить заслуживающим доверие арбитром между воюющими сторонами. Рузвельт ранее утверждал, что война в Европе, и особенно победа Германии, в конечном счете угрожала бы американской безопасности. Вильсон же исходил из того, что Америка по своей сути не заинтересованная сторона, а следовательно, должна выступить в качестве посредника. В силу того, что Америка верит в ценности более высокие, чем баланс сил, война в Европе теперь дает ей уникальную возможность привлечь на свою сторону выступающих за новый и лучший подход к международным делам.

Рузвельт высмеивал подобные идеи и обвинил Вильсона в том, что он потворствует изоляционистским настроениям для того, чтобы помочь своему переизбранию в 1916 году. Фактически же упор политики Вильсона имел совершенно противоположный изоляционизму характер. Вильсон проповедовал не отход Америки от внешнего мира, а универсальное применение своих ценностей и со временем обязательство Америки по их распространению. Вильсон подтвердил то, что стало американскими общепризнанными истинами со времен Джефферсона, но поставил их на службу идеологии крестовых походов:

- Особая миссия Америки выходит за пределы повседневной дипломатии и обязывает ее быть светочем свободы для остального человечества.
- Внешняя политика демократических стран в моральном плане гораздо выше, потому что их народы миролюбивы по своей природе.
- Внешняя политика должна отражать те же самые моральные стандарты, что и этика личных отношений.
- Государство не имеет права претендовать на особую мораль для себя.

Вильсон придал универсальный характер этим суждениям об американской моральной исключительности:

«Нам нечего бояться мощи какой-либо другой страны. Мы не завидуем и не соперничаем ни с кем ни в сфере торговли, ни в каком-либо другом мирном достижении. Мы намерены жить сами по себе так, как нам нравится; но мы также не намерены мешать жить другим. Мы действительно являемся настоящими друзьями всех стран мира, потому что мы не угрожаем никому, не возжелаем собственности никого другого и не имеем желания кого-либо ниспровергать»³⁹.

Ни одна другая страна не строила свои притязания на международное лидерство на основе альтруизма. Все другие страны пытались добиться оценки своей деятельности на основе сопоставимости своих национальных интересов с интересами других обществ. И все же, начиная с Вудро Вильсона (и это есть у Джорджа Буша), американские президенты задействовали бескорыстие страны в качестве главного отличительного признака своей руководящей роли. Ни Вильсон, ни его более поздние ученики, вплоть до нынешних, никогда не хотели разбираться в том, что для иностранных руководителей, воспитанных на менее возвышенных принципах, заявка Америки на альтруизм вызывает определенную ауру непредсказуемости. В то время как национальный интерес может быть зафиксирован в материальной форме, альтруизм, или бескорыстие, зависит от собственного понимания его тем, кто это понятие осуществляет.

³⁸ Вильсон Вудро. Ежегодное обращение к конгрессу США «О положении в стране» от 8 декабря 1914 года, в: Link, ed. *The Papers of Woodrow Wilson, (Документы Вудро Вильсона) vol. 31, p. 423.*

³⁹ Там же. С. 422.

Для Вильсона, однако, альтруистическая природа американского общества была подтверждением Божьей милости:

«Случилось так, будто по Божьему Промыслу целый континент оставался необжитым и ожидал мирных людей, любивших свободу и права человека больше всего на свете, чтобы они пришли и установили там альтруистское сообщество»⁴⁰.

Претензия на то, что американские цели были, по сути, ниспосланной Богом особой милостью, подразумевало мировую роль Америки, которая окажется более всеохватывающей, чем та, которую Рузвельт мог предполагать. Он всего лишь хотел отладить систему баланса сил и определить в ней роль Америки с учетом важности и в соответствии с ее растущей мощью. Согласно концепции Рузвельта, Америка должна была бы стать одной страной среди многих – более мощной, чем большинство, и частью группы элиты великих держав, – но по-прежнему подчиняющейся историческим законам равновесия.

Вильсон перевел Америку в совершенно иную, чем эти рассуждения, плоскость. Отрицая баланс сил, он утверждал, что роль Америки заключалась «в том, чтобы не доказывать... наш эгоизм, а наше величие»⁴¹. И если это соответствовало действительности, то у Америки не было права утаивать свои ценности для себя одной. Еще в 1915 году Вильсон выдвинул беспрецедентную доктрину о том, что безопасность Америки неотделима от безопасности *всего* остального человечества. Это подразумевало, что долг Америки отныне заключается в борьбе с агрессией *повсюду*:

«...потому, что мы требуем безопасного развития и беспрепятственного распоряжения собственными жизнями, руководствуясь принципами права и свободы, что мы отвергаем агрессию, откуда она бы ни шла, так как сами мы не занимаемся этим. Мы настаиваем на безопасности для обеспечения следования избранным нами путем национального развития. И мы идем дальше этого. Мы требуем этого и для других. Мы не ограничиваем наш энтузиазм в отношении личных свобод и свободного национального развития лишь какими-то отдельными эпизодами и динамикой дел, оказывающих воздействие только на нас одних. Мы испытываем его всегда, когда живет народ, который старается идти этими трудными путями независимости и справедливости»⁴².

Представление об Америке как о милосердном мировом жандарме было предвестником политики сдерживания, которая станет разворачиваться после Второй мировой войны.

Даже в самых буйных фантазиях Рузвельт не мечтал о таком всеохватном заявлении, ставшим провозвестником мирового интервенционизма. Но потом он ведь был политиком-воином. Вильсон же был пророком-священником. Государственные деятели, даже будучи воителями, сосредоточивают все свое внимание на мире, в котором они живут. Пророки же воспринимают «реальный» мир как мир, который они хотят создать.

Вильсон преобразовал то, что начиналось как утверждение американского нейтралитета, в набор предложений, закладывавших основы для мирового крестового похода. По мнению Вильсона, не было никакой существенной разницы между свободой для Америки и свободой для всего мира. Доказывая, что время, проведенное на факультетских встречах, на которых

⁴⁰ Вильсон Вудро. Обращение к выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте 13 июня 1916 года, в: *Там же*. Т. 37. С. 212 и сл.

⁴¹ Вильсон Вудро. Высказывания на встрече ветеранов-конфедератов в Вашингтоне 5 июня 1917 года, в: *Там же*. Т. 42. С. 453.

⁴² Вильсон Вудро. Ежегодное обращение к конгрессу США «О положении в стране» от 7 декабря 1915 года, в: *Там же*. Т. 35. С. 297.

правят бал пустяковые доводы, было потрачено не напрасно, Вильсон разработал исключительную по своей силе интерпретацию того, что именно имел в виду Джордж Вашингтон, когда предостерегал против ввязывания в чуждые для нас дела. Вильсон дал такое свое определение слову «чуждые», что оно, несомненно, удивило бы первого президента. По словам Вильсона, Вашингтон имел в виду, что Америка должна избегать втягивания в *цели* других. Но, судя по заявлению Вильсона, все, что «касается человечества, не может быть чуждым или безразличным для нас»⁴³. Из этого выходит, что Америка имеет не ограниченное ничем право заниматься всякими делами за границей.

Какое страшное самомнение надо иметь, чтобы получить добро на мировую интервенцию вопреки строжайшему запрету одного из отцов-основателей на вмешательство в чужие дела, а также чтобы выработать некую философию нейтралитета, которая сделала неизбежным подключение к войне! Подталкивая свою страну все ближе к мировой войне, ясно очерчивая свое видение лучшего мира, Вильсон пробуждал жизненные силы и идеализм, которые, как представляется, оправдывали «зимнюю спячку» Америки в течение столетия. И теперь она могла вступить на международную арену со всем динамизмом и невинностью, неведомыми ее более закаленным партнерам. Европейская дипломатия закалялась и ставилась на место в пламенной печи истории. Политики, которые ее проводили, видели события через призму грез, оказавшихся весьма хрупкими, больших надежд, разбитых вдребезги, и идеалов, утраченных из-за слабости человеческого предвидения. У Америки не было таких ограничений, она смело провозглашала если и не конец истории, то уж точно тот факт, что та не имеет никакого значения, и она шла на преобразования ценностей, до поры считавшихся присущими только для одной Америки, в общепризнанные принципы, применимые для всех. Вильсон, таким образом, оказался способен преодолеть, по крайней мере, на время, определенную напряженность в американском мышлении по поводу Америки, находящейся в безопасности, и Америки, имеющей незапятнанную репутацию. Америка могла лишь приблизить вступление в Первую мировую войну как в сражение в защиту народов всего мира, а не только своего собственного, и в роли борца за всеобщие свободы.

Тот факт, что Германия потопила «Луизитанию» и, прежде всего, возобновление ею неограниченной подводной войны, стал непосредственной причиной объявления войны Америкой. Но Вильсон не оправдывал вступление Америки в войну какими-то конкретными обидами. Национальные интересы не играли никакой роли. Нарушение нейтралитета Бельгии и баланса сил не имели никакого отношения к этому. Война, скорее, имела моральные основы, главная цель которых состояла в установлении нового и более справедливого международного порядка. «Это страшная вещь, – размышлял Вильсон в речи, в которой он просил разрешения на объявление войны, – «повести наш великий миролюбивый народ на войну, самую ужасную и разрушительную из всех войн, когда на чаше весов, кажется, находится сама цивилизация. Но правота гораздо ценнее, чем мир, и мы будем сражаться за то, что мы всегда хранили в наших сердцах – за демократию, за право тех, кто сдался под напором силы, иметь свой голос в собственных правительствах, за права и свободы малых стран, за всеобщее торжество справедливости, достигнутых благодаря согласию свободных народов, нацеленному на то, чтобы принести мир и безопасность всем нациям и освободить, наконец, весь мир»⁴⁴.

В войне во имя таких принципов не может быть никаких компромиссов. Полная победа была единственно достойной целью. Рузвельт, несомненно, высказал бы военные цели Америки в политически и стратегически выверенных терминах. Вильсон же, бравлируя американ-

⁴³ Вильсон Вудро. Выступление в театре «Принцесса», город Шайенн, штат Вайоминг, 24 сентября 1919 года, в: *Там же*. Т. 63. С. 474.

⁴⁴ Вильсон Вудро. Обращение на совместном заседании обеих палат конгресса 2 апреля 1917 года, в: *Там же*. Т. 41. С. 526–527.

ской незаинтересованностью, определял военные цели Америки исключительно моральными категориями. С точки зрения Вильсона, война не явилась следствием столкнувшихся национальных интересов, к достижению которых стремятся без каких-либо ограничений, а стала результатом неспровоцированного наступления Германии на существующий международный порядок. Конкретнее говоря, настоящим виновником была не немецкая нация, а лично германский император. Настаивая на объявлении войны, Вильсон утверждал:

«Мы не в ссоре с немецким народом. У нас нет к нему никаких других чувств, кроме симпатии и дружбы. Не по его вине их правительство действовало, вступая в эту войну. Народ ничего об этом не знал и не одобрял. Это была война, решение по которой принималось, как это было принято в старые несчастливые времена, когда народы никто из их правителей не спрашивал, и войны были спровоцированы и велись в интересах династий»⁴⁵.

Хотя Вильгельм II давно уже рассматривался как непредсказуемый человек на европейской сцене, ни один европейский государственный деятель никогда не призывал к его свержению. Никто не расценивал свержение императора или его династии как ключ к миру в Европе. Но коль скоро был поставлен вопрос о внутреннем устройстве Германии, война уже не могла завершиться каким-то компромиссом баланса конфликтующих интересов, которого Рузвельт добился между Японией и Россией десятью годами ранее. 22 января 1917 года накануне вступления Америки в войну Вильсон объявил своей целью достижение «мира без победы»⁴⁶. Однако то, что Вильсон предложил после вступления Америки в войну, оказалось миром, которого можно было достичь только благодаря полной победе.

Высказывания Вильсона вскоре стали общепризнанной мудростью. Даже такой искусственный человек, как Герберт Гувер, начал описывать немецкий правящий класс от природы порочным, питающимся «источником живой силы других народов»⁴⁷. Настроение того времени точно выразил президент Корнеллского университета Джекоб Шурман⁴⁸, представивший эту войну как битву между «Царством Небесным» и «Царством гуннов», являвшимся олицетворением силы и страха»⁴⁹.

И тем не менее свержение какой-то одной династии не могло бы привести к тому, что подразумевала риторика Вильсона. В своем призыве к объявлению войны Вильсон распространил свою моральную «длань» на весь мир. Не только Германия, но и все другие страны стали безопасными для демократии, поскольку миру потребуется «партнерство демократических государств»⁵⁰. В другой своей речи Вильсон зашел еще дальше, сказав, что сила Америки атрофируется, если Соединенные Штаты не будут распространять свободу по всему земному шару:

«Мы создали эту нацию, чтобы люди были свободными, и мы не сводим нашу концепцию и цели только применительно к Америке. Мы теперь сделаем всех свободными. Если бы мы этого не сделали, вся слава Америки пропадет, а вся ее сила будет напрасно растрочена»⁵¹.

⁴⁵ Там же. С. 523.

⁴⁶ Вильсон Вудро. Обращение к сенату США от 22 января 1917 года, в: Там же. Т. 40. С. 536.

⁴⁷ Selig Adler. *The Isolationist Impulse: Its Twentieth-Century Reaction* (London/New York: Abelard Schuman, 1957), (Адлер Селиг. *Изоляционистский импульс: реакция на него в XX веке*). р. 36.

⁴⁸ Джекоб Шурман (1854–1942), американский ученый и дипломат, президентом Корнеллского университета был с 1892 по 1920 год, на дипломатической работе возглавлял посольства США в Греции (1912–1913), в Китае (1921–1925) и в Германии (1925–1929). – Прим. перев.

⁴⁹ Там же.

⁵⁰ Вильсон Вудро. Обращение 2 апреля 1917 года, в: Link, ed. *The Papers of Woodrow Wilson* (Документы Вудро Вильсона) vol. 41, p. 519ff.

⁵¹ Вильсон Вудро. Бостонское обращение 24 февраля 1919 года, в: Там же. Т. 55. С. 242–243.

Вильсон подошел ближе всего к изложению в деталях своих военных целей в «Четырнадцать пунктах», речь о которых пойдет в 9-й главе. Историческое достижение Вильсона заключается в его признании того, что американцы не могут пойти на участие в крупных международных конфликтах, не получивших оправдания в соответствии с их моральными убеждениями. А его провалом стало отношение к трагическим моментам истории как к неким отклонениям от нормального хода, своего рода абберациям, или ошибкам, вызванным недальновидностью и злым умыслом отдельных руководителей. Он также отрицал любые объективные основы мира, за исключением силы общественного мнения и мирового распространения демократических институтов. При всем при этом он подчас просил страны Европы предпринять что-либо, для чего они не были готовы ни с философской точки зрения, ни с исторической. И делал это он сразу после войны, которая выжала из них последние соки.

На протяжении 300 лет европейские государства основывали миропорядок на балансировании национальных интересов, а свою внешнюю политику – на стремлении к безопасности, рассматривая каждую дополнительную выгоду как своего рода премию. Вильсон просил страны Европы основывать их внешнюю политику на моральных убеждениях, а безопасность при этом рассматривалась бы как нечто несущественное, если на нее вообще обращалось внимание. Но у Европы не было концептуального механизма для такой политики незаинтересованности. Время покажет, сможет ли Америка, недавно проявившая себя после столетия изоляции, выдержать постоянную вовлеченность в международные дела, что подразумевали теории Вильсона.

Выход Вильсона на сцену стал переломным моментом для Америки, одним из тех редких примеров руководителя, который коренным образом меняет курс истории своей страны. Если бы в 1912 году победу одержал Рузвельт или его идеи, вопрос о военных целях основывался бы на расследовании природы национального интереса Америки. Рузвельт поставил бы вступление Америки в зависимость от одного предположения, которое он фактически сам и выдвинул. Речь идет о том, что если бы Америка не присоединилась к Антанте, то Центральные державы Тройственного союза выиграли бы войну и рано или поздно стали бы угрозой для американской безопасности.

Если бы американский национальный интерес был определен со временем таким именно образом, то это заставило бы Америку прибегнуть к глобальной политике, сравнимой с политикой Великобритании по отношению к континентальной Европе. На протяжении трех столетий британские руководители действовали, исходя из предпосылки о том, что если бы европейские ресурсы находились в руках единственной доминирующей державы, то эта страна имела бы тогда ресурсы, которые давали бы ей возможность бросить вызов господству Британии на морях и таким образом угрожать ее независимости. С геополитической точки зрения Соединенные Штаты, также представляющие собой некий остров, находящийся недалеко от Евразии, должны были бы, если использовать ту же аргументацию, противодействовать господству в Европе или в Азии любой одной державы и, даже более того, контролю над *обоими* континентами *той же самой* державой. Если так рассуждать, то не моральные грехи, а масштабы геополитической сферы, на которую претендует Германия, становились главным предлогом для войны, тем самым *казус белли*.

Подобного рода подход, характерный для Старого Света, противоречил, однако, кладезу американских эмоций, к которому прибегал Вильсон, – что характерно и сегодня. Даже Рузвельт не смог проводить силовую политику, которую он отстаивал, хотя и умер, будучи убежденным в том, что ему это удалось. Как бы то ни было, но Рузвельт уже не был президентом, а Вильсон дал ясно понять еще до вступления Америки в войну, что станет противостоять любым попыткам строить послевоенный порядок на основе уже устоявшихся принципов международной политики.

Вильсон видел причины войны не только в безнравственности германского руководства, но также и в самой европейской системе баланса сил. 22 января 1917 года он выступил с нападениями на международный порядок, предшествовавший началу войны, как на «организованное соперничество»:

«Вопрос, от которого зависит весь будущий мир и политика в мире, состоит в следующем: Является ли нынешняя война битвой за справедливый и безопасный мир или всего лишь схваткой за новый баланс сил? ... Должен сложиться не баланс сил, а сообщество сил, не организованное соперничество, а организованный всеобщий мир»⁵².

То, что Вильсон подразумевал под «сообществом сил» было совершенно новой концепцией, впоследствии ставшей известной как концепция «коллективной безопасности» (хотя в Великобритании Уильям Гладстон в течение 1880 года выдвигал мертворожденную ее вариацию)⁵³. Будучи убежденным в том, что все страны мира одинаково заинтересованы в мире и в силу этого объединятся, чтобы наказать тех, кто его нарушил, Вильсон предложил отстаивать международный порядок на основе морального консенсуса миролюбивых сил:

«...нынешний век это век... отвергающий стандарты национального эгоизма, который когда-то управлял намерениями стран, и требующий, чтобы они уступили дорогу новому порядку вещей, при котором будут ставиться только вопросы такого рода: «Это правильно?», «Это справедливо?», «Это в интересах человечества?»⁵⁴.

Чтобы узаконить этот консенсус, Вильсон выдвинул идею учреждения Лиги Наций, институт сугубо американского типа. Под эгидой этой всемирной организации сила должна уступить морали, а сила оружия – повелению общественного мнения. Вильсон всегда подчеркивал, что, будь общественность достаточно информирована, война никогда не случилась бы, – игнорируя бурные манифестации радостного ликования и облегчения, которыми приветствовалось во *всех* столицах начало войны, включая и столицы демократических Великобритании и Франции. Если бы, как полагал Вильсон, эта новая теория должна была бы заработать, должны были произойти по меньшей мере два изменения в международном управлении: во-первых, распространение демократических правительств по всему миру и, во-вторых, выработка «новой и более плодотворной дипломатии», основанной на «том же самом высоком кодексе чести, который мы предъявляем индивидуумам»⁵⁵.

В 1918 году Вильсон обозначил в качестве необходимого элемента для достижения мира доселе неслыханную и умопомрачительно честолюбивую цель «уничтожения любой деспотичной державы, действующей произвольно, где бы то ни было в мире. В случае же невозможности ее уничтожения в настоящее время, добиться, по крайней мере, ее обескровливания до полного ее обессиливания»⁵⁶. Выступая на мирной конференции 14 февраля 1919 года, Вильсон сказал, что созданная на такой основе и вдохновленная таким подходом Лига Наций могла бы разрешать кризисы без войн, «...при помощи этого инструмента (Устава Лиги) мы в первую очередь и главным образом ставим себя в зависимость от одной великой силы. И это моральная сила мирового общественного мнения – очищающая и разъясняющая, оказывающая воздействие сила публичности... в силу чего те силы, которые уничтожаются светом, могли бы

⁵² Вильсон Вудро. Обращение 22 января 1917 года, в: *Там же*. Т. 40. С. 536–537.

⁵³ [См. шестую главу.](#)

⁵⁴ Вильсон Вудро. Высказывания на кладбище в Сюрене (пригород Парижа) в День памяти 30 мая 1919 года, в: *Там же*. Т. 59. С. 608–609.

⁵⁵ Вильсон Вудро. Обращение к Лиге содействия сохранению мира 27 мая 1916 года, в: *Там же*. Т. 37. С. 113 и сл.

⁵⁶ Вильсон Вудро. Маунт-Вернонское обращение 4 июля 1918 года, в: *Там же*. Т. 48. С. 516.

быть до конца уничтожены всепроникающим светом всеобщего осуждения во всемирном масштабе»⁵⁷.

Миру больше не нужно было бы добиваться своего обеспечения путем традиционного подсчета уровня сил. Все решалось бы общемировым консенсусом, подкрепленным контрольным механизмом. Всеобщее объединение преимущественно демократических стран выступало бы в качестве «гаранта мира» и заменило бы старую систему баланса сил и альянсов.

Такого рода возвышенные чувства никогда ранее не проявлялись открыто ни в одной стране, не говоря уже о претворении их в жизнь. И тем не менее их стали рассматривать через призму американского идеализма как единую систему оценки национального мышления в отношении внешней политики. Все американские президенты после Вильсона стали выдвигать в разных вариациях эту тему в духе Вильсона. Внутренние дебаты все чаще касались неудач с реализацией идеалов Вильсона (они вскоре стали такими обыденными, что их перестали даже ассоциировать с ним самим). Они менее всего касались вопроса о том, обеспечивали ли они на самом деле адекватное руководство по урегулированию порой жестких вызовов нашего беспокойного мира. В течение трех поколений критики яростно нападали на сделанный Вильсоном анализ и его выводы; и все равно, все это время вильсоновские принципы оставались прочной основой американского внешнеполитического мышления.

И тем не менее переплетение Вильсоном власти и принципа тоже создало благоприятную среду для десятилетий существования двусмысленностей, пока американское сознание пыталось примирить свои принципы со своими потребностями. Основной предпосылкой коллективной безопасности было то, что все страны стали бы рассматривать безопасность единообразно и были бы готовы идти на одинаковые риски в деле противостояния этой угрозе. Но подобного никогда фактически не происходило, ничему подобному и не суждено было произойти за всю историю и Лиги Наций, и Организации Объединенных Наций. Такой консенсус возможен только тогда, когда угроза носит поистине непреодолимый характер и действительно оказывает воздействие на все или на большинство обществ, – как это имело место во время двух мировых войн и, на региональной основе, во время холодной войны. Но в подавляющем большинстве случаев – и почти во всех трудных случаях – страны мира имели тенденцию не соглашаться либо по характеру угрозы, либо по виду жертвы, на которую они были бы готовы пойти, чтобы ей противостоять. Так было и в случае агрессии Италии против Абиссинии в 1935 году, и во время боснийского кризиса в 1992 году. А когда речь шла о достижении прямых целей или исправлении воспринимаемых несправедливостей, как оказывалось, всеобщего консенсуса было гораздо труднее достичь. Как ни странно, в мире после холодной войны, в котором нет непреодолимой идеологической и военной угрозы и в котором гораздо больше лицемерят по поводу демократии, чем в любую предшествовавшую эпоху, такого рода трудности только нарастают.

Вильсоновство также акцентировало внимание на еще одном скрытом расхождении в американском философствовании на темы международных отношений. Были ли у Америки такие интересы в деле безопасности, которые ей нужно было отстаивать, независимо от того, в какой форме этим интересам бросался вызов? Или Америке следовало бы выступать только против таких перемен, которые со всей беспристрастностью могут быть охарактеризованы как противоправные? Что непосредственно касается Америки: сам факт или метод преобразований международного характера? Отвергла ли Америка принципы геополитики в общем и целом? Или им следует дать новое толкование, посмотрев на них через призму американских

⁵⁷ Вильсон Вудро. Обращение на Третьем пленарном заседании Мирной конференции 14 февраля 1919 года, в: *Там же*. Т. 55. С. 175.

ценностей? А если эти подходы вступят в противоречие друг с другом, то какой из них должен возобладать?

Суть вильсонизма состояла в том, что Америка более всего выступает против способов осуществления перемен и что у нее нет стратегических интересов, заслуживающих защиты, если угрожать им будут явно законными методами. Во время войны в Персидском заливе президент Буш настаивал на том, что он не столько защищает жизненно важные нефтяные коммуникации, сколько выступает против принципа допустимости агрессии как таковой. А во время холодной войны разгоравшиеся время от времени в Америке дебаты касались вопроса о том, имеет ли Америка с ее собственными недостатками моральное право организовывать сопротивление угрозе со стороны Москвы.

Теодор Рузвельт, ничуть не колеблясь, ответил бы на все эти вопросы. Предположить, что страны станут воспринимать угрозы совершенно идентично или будут готовы реагировать на них единообразно, означало бы отрицать все то, что он всегда отстаивал. И он не мог бы даже представить себе такую всемирную организацию, в которую входили бы и жертва, и агрессор одновременно и без всяких проблем. В ноябре 1918 года он писал в одном письме:

«Я за такую Лигу, но при условии, что мы не станем требовать от нее слишком многого. ... Я не собираюсь участвовать в спектакле, который еще даже Эзоп высмеял, когда он написал о том, как волки и овцы согласились разоружиться и как, демонстрируя гарантию своей доброй воли, овцы отослали сторожевых собак, и затем были съедены волками»⁵⁸.

В следующем месяце он написал сенатору от штата Пенсильвания Ноксу следующее:

«Лига Наций принесет мало пользы, но чем помпезнее она выглядит и чем больше она претендует что-либо сделать, тем меньше она сможет на самом деле осуществить. Разговор о ней навеивает мрачное предположение о разговоре вековой давности о Священном союзе, который ставил в качестве своей главной цели обеспечение вечного мира. Царь Александр, кстати, возглавивший это движение столетие тому назад, и был президентом Вильсоном»⁵⁹.

По оценкам Рузвельта, только мистики, мечтатели и работники умственного труда придерживались мнения о том, что мир является естественным состоянием человека и что его можно поддерживать при помощи бескорыстного консенсуса. Мир, в его понимании, изначально хрупок и мог бы быть сохранен только благодаря постоянной бдительности, руками сильных и при помощи союзов единомышленников.

Но Рузвельт либо запоздал родиться на целое столетие, либо родился на столетие раньше. Его подход к международным делам умер вместе с ним в 1919 году. С тех пор ни одна из влиятельных школ американской внешнеполитической мысли не занялась возрождением его идей. С другой стороны, несомненным мерилом интеллектуального триумфа Вильсона стал тот факт, что даже Ричард Никсон, внешняя политика которого на самом деле основывалась на многих заветах Рузвельта, считал себя, прежде всего, последователем вильсоновского интернационализма и повесил портрет президента, вовлекшего страну в войну, в своем рабочем кабинете.

Лига Наций не смогла завладеть умами Америки, потому что страна еще не была готова играть столь глобальную роль. Тем не менее интеллектуальная победа Вильсона оказалась более плодотворной, чем мог быть любой политический триумф. Поскольку, когда бы Америка ни сталкивалась с задачей создания нового мирового порядка, она, так или иначе, возвраща-

⁵⁸ Письмо Рузвельта Джеймсу Брайсу от 19 ноября 1918 года, в: *Письма Теодора Рузвельта*. Т. VIII. С. 1400.

⁵⁹ Рузвельт – сенатору Филандеру Чейзу Ноксу (республиканцу от штата Пенсильвания), 6 декабря 1918 года, в: *Там же*. С. 1413–1414.

лась к заветам Вудро Вильсона. В конце Второй мировой войны она помогла создать Организацию Объединенных Наций на тех же принципах, что и Лигу Наций, в надежде на то, что мир будет опираться на согласие между победителями. Когда эта надежда умерла, Америка развязала холодную войну, рассматривая ее не как конфликт между двумя сверхдержавами, а как моральное сражение за демократию. Когда произошел крах коммунизма, идея Вильсона о том, что путь к миру пролегает через коллективную безопасность вкупе с распространением по всему миру демократических институтов, была в равной степени принята администрациями, представляемыми каждой из двух главных американских политических партий.

Вильсоновство воплотило в себе главную драму Америки на мировой арене: американская идеология в некотором смысле была революционной, в то время как сами американцы у себя дома считали себя вполне удовлетворенными существующим статус-кво людьми. Американцы, склонные к превращению внешнеполитических вопросов в борьбу между добром и злом, как правило, чувствуют себя не по себе, когда приходится сталкиваться с компромиссами, точно так же, как они себя ощущают при частичных и неубедительных результатах. Тот факт, что Америка избегает поиска широкомасштабных геополитических трансформаций, часто ассоциирует ее с защитой территориального, а иногда и политического статус-кво. Веря в правопорядок, она с трудом способна примирить веру в мирные перемены и тот исторический факт, что почти все значительные перемены в истории были связаны с насилием и переворотами.

Америка убедилась, что ей предстоит воплотить в жизнь свои идеалы в мире, менее благословенном, чем ее собственный, и во взаимодействии с государствами, обладающими более низким порогом выживания, более ограниченными целями и гораздо меньшей уверенностью в своих силах. И все же Америка выстояла. Послевоенный мир в значительной степени является ее творением, так что в итоге Америка действительно стала играть ту самую роль, которую пророчески предвидел для нее Вильсон, – роль путеводной звезды и достижимой надежды.

Глава 3

От универсальности к равновесию. Ришелье, Вильгельм Оранский и Питт

Характеризуемая нынешними историками как система европейского баланса сил система эта появилась в XVII веке на обломках окончательно рухнувших средневековых стремлений к универсальности – концепции мирового порядка, представляющей смешение традиций Римской империи и католической церкви. Мир осмысливался как зеркальное отражение небес. Точно так, как Господь один управляется на небесах, точно так же один император должен был бы править светским миром и один папа стоять над Вселенской церковью.

Исходя из этого, феодальные государства Германии и Северной Италии были объединены под властью императора Священной Римской империи. В XVII веке эта империя имела все возможности, чтобы властвовать над Европой. Франция, чьи границы лежали далеко к западу от Рейна, и Англия были странами, находившимися на периферии по отношению к ней. Если бы император Священной Римской империи сумел установить централизованный контроль над всеми территориями, формально находящимися под его юрисдикцией, отношения западноевропейских государств к империи напоминали бы отношения соседей Китая к Среднему государству, при этом Франция напоминала бы Вьетнам или Корею, а Великобританию можно было бы сравнивать с Японией.

На протяжении почти всего Средневековья император Священной Римской империи, однако, никогда не достигал такой степени централизованного контроля. Одной из причин являлось отсутствие соответствующих систем транспорта и связи, что затрудняло объединение в единое целое столь обширных территорий. Но наиболее важной причиной было то, что в Священной Римской империи контроль над церковью был отделен от контроля над правительством. В отличие от любого фараона или римского императора, император Священной Римской империи никакими божественными атрибутами не обладал. Повсюду за пределами Западной Европы, даже в регионах, находившихся под властью восточной православной церкви, религия и управление государством были объединены в том смысле, что назначения на ключевые посты и тут, и там были предметом решения центрального правительства. Религиозные власти не обладали ни средствами, ни властью, чтобы утверждать автономию своего положения, которого западное христианство требовало себе как законное право.

В Западной Европе потенциальный, а временами и реальный конфликт между папой и императором обусловил возможный конституционализм и разделение властей, что является основой современной демократии. Это давало возможность различным феодальным правителям укреплять свою автономию, требуя некую долю от обеих соперничающих фракций. А это, в свою очередь, вело к раздробленной Европе – лоскутному одеялу, состоящему из герцогств, графств, городов и епископств. Хотя в теории все феодальные властители присягали на верность императору, на практике они творили все, что им заблагорассудится. На императорскую корону претендовали различные династии, и центральная власть почти исчезла. Императоры придерживались старого взгляда на универсальность правления, не имея возможности реализовать его на практике. На границах Европы Франция, Англия и Испания не признавали власть Священной Римской империи, хотя и оставались частью Вселенской церкви.

И только в XV веке, когда династия Габсбургов стала почти постоянно заявлять претензии на императорскую корону и через браки по расчету обрела испанский престол и огромные ресурсы этой страны, для императора Священной Римской империи стало возможным надеяться превратить свои претензии на универсальность в политическую систему. В первой половине XVI века император Карл V возродил императорскую власть до такой степени, что

возросли перспективы появления некоей центральноевропейской империи, состоящей из того, что сегодня является Германией, Австрией, Северной Италией, Чешской Республикой, Словакией, Венгрией, Восточной Францией, Бельгией и Нидерландами. Такая потенциально могущественная группировка исключала возможность появления чего-то, что напоминало бы европейский баланс сил.

Но в тот самый момент ослабление папской власти под натиском Реформации расстроило планы на появление гегемонистской европейской империи. Будучи сильным, папство было занозой у императора Священной Римской империи и грозным соперником. А в условиях заката мощи в XVI веке папский престол оказался столь же губительным для самой идеи существования империи. Императоры хотели видеть себя «посланцами Божьими», как и хотели, чтобы так о них думали и другие. Но в XVI веке император в протестантских землях, как представляется, меньше всего воспринимался как «посланец Божий», а скорее как венский завоеватель, имеющий связи с отживающим свой век папством. Реформация придала бунтующим князьям новую свободу действий как в религиозной, так и в политической сфере. Их разрыв с Римом был разрывом с религиозным универсализмом; их борьба с императором из династии Габсбургов свидетельствовала о том, что князья больше не воспринимали верность клятве императору своим религиозным долгом.

С крахом концепции единства нарождающиеся государства Европы стали нуждаться в каком-либо принципе, который оправдывал бы их ересь и регулировал бы взаимоотношения между ними. Они нашли его в концепциях национального интереса государства, *raison d'état*, и баланса сил. Одно зависело от другого. Принцип *raison d'état* предполагал, что благополучие государства оправдывает применение любых средств для обеспечения национальных интересов. А национальный интерес подменял средневековое представление об универсальности морали. На смену тоски по универсальной монархии пришел принцип баланса сил, принесший утешение по поводу того, что каждое отдельное государство, преследующее собственные эгоистические интересы, так или иначе внесет свой вклад в дело безопасности и прогресса всех остальных.

Самая ранняя и наиболее подробная формулировка по этому новому подходу была сделана во Франции, одном из первых национальных государств Европы. Франция была страной, которая теряла бы больше всех в случае нового возрождения Священной Римской империи, поскольку могла вполне быть – используя современную терминологию – ею «финляндизирована». По мере ослабления религиозных ограничений Франция стала играть на соперничестве, возникавшем среди ее соседей вследствие Реформации. Французские правители признавали, что продолжающееся ослабление Священной Римской империи (и даже вплоть до ее распада) усилило бы безопасность Франции и, при счастливом стечении обстоятельств, позволило бы ей совершить экспансию на восток.

Главным проводником такого рода французской политики была совершенно невероятная фигура, то был князь Церкви Арман Жан дю Плесси, кардинал Ришелье, первый министр Франции с 1624 по 1642 год. Узнав о смерти кардинала Ришелье, папа Урбан VIII будто бы сказал: «Если Бог есть, кардиналу Ришелье придется за многое ответить. Если нет... ну, что ж, он прожил удачную жизнь»⁶⁰. Эта двусмысленная эпитафия, несомненно, пришлась бы по вкусу государственному деятелю, который достиг огромных успехов, игнорируя набожность, имевшую огромную важность в тот век, и фактически переступая через нее.

Немногие государственные деятели могут претендовать на большую степень воздействия на ход истории. Ришелье был отцом современной государственной системы. Он провозгласил принцип *raison d'état* и безудачно воплощал на практике концепцию отстаивания национальных интересов на благо своей страны. Под его руководством принцип *raison d'état* пришел на

⁶⁰ Louis Auchincloss. *Richelieu* (Ошенкросс Луи. *Ришелье*). (New York: Viking Press, 1972), p. 256.

смену средневековой концепции универсальности моральных ценностей и стал главным руководящим принципом французской политики. Изначально он преследовал цель не допустить господства Габсбургов над Европой, но в конечном счете оставил такое политическое наследие, которое в течение двух последующих столетий вызывало у его преемников искушение установить французское главенство в Европе. Вследствие провала подобных честолюбивых замыслов возник баланс сил, вначале как жизненная реальность, а затем как система организации международных отношений.

Ришелье занял свой пост в 1624 году, когда император Священной Римской империи Фердинанд II Габсбург попытался возродить универсализм католичества, искоренить протестантизм и установить имперский контроль над князьями Центральной Европы. Этот процесс, Контрреформация, привел к тому, что позже стали называть Тридцатилетней войной, разразившейся в Центральной Европе в 1618 году и ставшей одной из наиболее жестоких и разрушительных войн за всю историю человечества.

К 1618 году немецкоговорящая территория Центральной Европы, значительная часть которой входила в Священную Римскую империю, была разделена на два вооруженных лагеря: протестантов и католиков. Вызвавший войну детонатор в том же году сработал в Праге, и вскоре в конфликт была втянута вся Германия. По мере того как Германия постепенно истекла кровью, ее княжества стали легкой добычей иноземных захватчиков. В скором времени датские и шведские армии пересекли Центральную Европу, и, в конце концов, в войну ввязалась французская армия. К моменту окончания войны в 1648 году Центральная Европа была опустошена, при этом Германия потеряла почти треть своего населения. В горниле этого трагического конфликта кардинал Ришелье привил свой принцип *raison d'état* к древу французской внешней политики, принцип, который другие европейские государства приняли лишь в следующем столетии.

Будучи князем Церквы, Ришелье должен был бы приветствовать стремление Фердинанда восстановить католическую ортодоксию. Но Ришелье поставил французский национальный интерес выше каких-либо религиозных целей. Сан кардинала не помешал Ришелье увидеть в попытке Габсбурга восстановить мощь католической религии геополитическую угрозу безопасности Франции. Для него это были не религиозные действия, а политический маневр Австрии, предпринятый с целью достижения господства в Центральной Европе и, следовательно, низведения Франции до уровня второразрядной державы.

Опасения Ришелье были небезосновательны. Один взгляд на карту Европы, и становится ясно, что Франция со всех сторон окружена землями Габсбургов: Испания – на юге, в основном подчиненные Испании североитальянские города-государства – на юго-востоке, также находившееся под испанским контролем «свободное графство» Франш-Конте (сегодня это провинция, расположенная над Лионом и Савоем) – на востоке и испанские Нидерланды – на севере. А немногие приграничные территории, не находившиеся под властью испанских Габсбургов, принадлежали австрийской ветви этой же династии. Герцогство Лотарингское было связано клятвой на верность австрийскому императору Священной Римской империи так же, как и стратегически важные районы вдоль берегов Рейна на территории сегодняшнего Эльзаса. Если бы Северная Германия также подпала под власть Габсбургов, Франция оказалась бы губительно слабой по отношению к Священной Римской империи.

Вовсе не утешением для Ришелье было то, что Испания и Австрия являлись, как и Франция, католическими странами. Как раз наоборот, именно победу Контрреформации Ришелье был полон решимости предотвратить. Для обеспечения того, что мы сегодня назвали бы интересом национальной безопасности, а тогда – впервые в истории – это было обозначено как государственные интересы, т. е. *raison d'état*, Ришелье был готов выступить на стороне протестантских князей и воспользоваться в своих целях расколом Вселенской церкви.

Если бы императоры из династии Габсбургов играли по тем же правилам или понимали смысл нарождавшегося принципа *raison d'état*, они бы увидели, как им повезло в плане приближения к тому, чего Ришелье опасался больше всего, – превосходства Австрии и появления Священной Римской империи в качестве господствующей на континенте державы. Однако на протяжении ряда столетий враги Габсбургов выигрывали от негибкости династии в деле приспособления к требованиям тактической необходимости или понимания будущих тенденций. Правители из Габсбургов были людьми принципиальными. Они никогда не шли на компромисс вопреки собственным убеждениям, разве что в случае поражения. Вследствие этого, с самого начала этой политической одиссеи они были абсолютно беззащитны против безжалостных махинаций кардинала.

Император Фердинанд II, антагонист Ришелье, почти наверняка никогда и не слышал о принципе *raison d'état*. И даже если бы он и услышал, то отверг бы его, как богохульство, поскольку он представлял себе миссию мирского владыки как исполнение воли Божией и всегда в титуле императора Священной Римской империи подчеркивал слово «священный». Он никогда бы не согласился с тем, что столь богоугодные цели могут быть достигнуты не слишком чистыми моральными средствами. И, уж конечно, он даже не помыслил бы заключать договоры с протестантами-шведами или мусульманами-турками, то есть предпринять меры, которые кардинал считал само собой разумеющимися. Советник Фердинанда иезуит Ламормаини так обобщил мировоззрение императора:

«Фальшивую и продажную политику, столь распространенную в нынешние времена, он, по своей мудрости, осудил с самого начала. Он полагал, что с теми, кто следует такой политике, не следует иметь дело, поскольку они проповедуют ложь и злоупотребляют именем Божиим и религией. Было бы величайшим безумием пытаться укрепить государство, дарованное нам самим Господом, средствами, Господу противными»⁶¹.

Любой правитель, будучи приверженцем столь абсолютных ценностей, посчитает невозможным идти на компромисс, не говоря уже о том, чтобы манипулировать своими переговорными позициями. В 1596 году Фердинанд, будучи еще эрцгерцогом, заявил: «Я скорее предпочел бы умереть, чем дать какие бы то ни было уступки сектантам в вопросах веры»⁶². В ущерб своей собственной империи он действительно оставался верен собственным словам. Исходя из того, что благополучие империи его интересовало меньше, чем повиновение воле Божией, он считал своим долгом сокрушить протестантизм, даже если определенная религиозная терпимость была бы в его собственных интересах. Если определить это в современных терминах, то он был фанатиком. Слова Каспара Скопиуса, одного из советников императора, так освещают его убеждения: «Будь проклят тот властитель, который не прислушивается к голосу Господа, велящего убивать еретиков. Войну следует начинать не ради себя самого, но во имя Господа (*Bellum non tuum, sed Dei esse statuas*)»⁶³. Как представлял себе Фердинанд, государство существовало для того, чтобы служить религии, а не наоборот: «В государственных делах, которые столь важны для нашего священного вероисповедания, нельзя все время принимать во внимание человеческие соображения; скорее, следует уповать... на Господа... и верить только в Него»⁶⁴.

Ришелье воспринимал религиозность Фердинанда как стратегический вызов. Религиозный в частной жизни, он воспринимал свои обязанности министра с сугубо мирской точки

⁶¹ В: Quellenbuch zur Osterreichische Geschichte (Австрийские исторические первоисточники), vol. II, edited by Otto Frass. (Vienna: Birken Verlag, 1959), p. 100.

⁶² Там же.

⁶³ Там же.

⁶⁴ Там же.

зрения. Спасение души могло быть его личным устремлением, но для Ришелье как государственного деятеля оно не играло никакой роли. «Человек бессмертен, спасение души ждет его впереди, – сказал он однажды. – Государство же бессмертием не обладает, оно может спастись либо теперь, либо никогда»⁶⁵. Иными словами, государства не получают воздаяния за праведность ни на том, ни на этом свете; они получают воздаяние лишь за то, что достаточно сильны, чтобы совершать все необходимое.

Ришелье никогда не позволил бы себе упустить возможность, представившуюся Фердинанду в 1629 году, на одиннадцатом году войны. Тогда протестантские князья были готовы признать политическое главенство Габсбургов при условии, что они сохраняют право выбора исповедуемой религии и сохраняют за собой церковные земли, отчужденные ими во времена Реформации. Но Фердинанд не пожелал подчинить свои религиозные убеждения требованиям политической целесообразности. Отвергая то, что стало бы всеохватным триумфом и гарантией существования империи, будучи преисполненным решимости искоренить протестантскую ересь, он издал «Реституционный эдикт», требовавший от протестантских правителей вернуть церкви все секуляризированные у нее с 1555 года земли. Это был триумф религиозного рвения над целесообразностью, классический случай, когда вера перевесила расчеты политической заинтересованности. И это привело к тому, что война шла до конца.

Столкнувшись с такой ситуацией, Ришелье был полон решимости продлить войну до тех пор, пока Центральная Европа не окажется полностью обескровленной. В своей внутренней политике он также отставил в сторону мелкие религиозные соображения. На основании Эдикта милости, или Великодушного примирения в Але в 1629 году, он даровал французским протестантам-гугенотам свободу вероисповедания, ту самую свободу, против которой сражался император, отказывая дать ее германским князьям. Защитив свою страну от внутренних потрясений, раздиравших Центральную Европу, Ришелье принялся использовать религиозное рвение Фердинанда на пользу французским национальным целям.

Неспособность императора из Габсбургов понять свои же собственные национальные интересы – а, по существу, его отказ признать обоснованность самой этой концепции – дала первому министру Франции возможность поддержать и субсидировать воюющих против императора Священной Римской империи германских протестантских князей. Роль защитника свобод германских протестантских князей, борющихся против планов создания централизованного государства императора Священной Римской империи, была, казалось, маловероятна для французского прелата и его французского короля-католика Людовика XIII. Тот факт, что князь Церкви субсидирует шведского короля-протестанта Густава II Адольфа, чтобы он вел войну против императора Священной Римской империи, имел столь же глубокие революционные последствия, как и потрясения Великой французской революции, свершившиеся через 150 лет после этого.

В эпоху продолжающегося господства религиозного рвения и идеологического фанатизма бесстрастная и свободная от моральных императивов внешняя политика выделялась как покрытые снежными шапками Альпы в пустыне. Целью Ришелье было покончить с тем, что он рассматривал как окружение Франции, истощить Габсбургов и предотвратить появление крупной державы на границах Франции – особенно на ее немецких границах. Единственным критерием при заключении альянсов было их соответствие французским интересам, и именно этого он добивался в отношениях первоначально с протестантскими государствами, а затем даже с мусульманской Оттоманской империей. Для того чтобы истощить воюющие стороны и продлить войну, Ришелье субсидировал врагов своих врагов, применял подкуп, разжигал

⁶⁵ Joseph Strayer, Hans Gatzke, and E. Harris Harbison. *The Mainstream of Civilization Since 1500* (Стрэйер Джозеф, Гатке Ганс и Харбисон Э. Харрис. *Основное направление развития цивилизации начиная с 1500 года*). (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971), p. 420.

мятежи и пользовался в огромных количествах династическими и юридическими аргументами. Он преуспел настолько, что начавшаяся в 1618 году война тянулась одно десятилетие за другим, пока, наконец, история не наградила ее более подходящим именем из-за ее продолжительности – Тридцатилетняя война.

Франция оставалась в стороне, наблюдая за разорением Германии, вплоть до 1635 года, когда, казалось бы, полнейшее истощение в который раз могло бы положить конец боевым действиям и привести к компромиссному миру. Ришелье, однако, не был заинтересован в компромиссе до той поры, пока французский король не станет таким же мощным, как габсбургский император, а желательно даже еще сильнее его. Для достижения этой цели Ришелье на семнадцатом году войны убедил своего суверена в том, что необходимо вступить в сражение на стороне протестантских князей, не придумав лучшего оправдания этого шага, чем возможность воспользоваться растущим могуществом Франции:

«Если знаком особого благоразумия являлось сдерживание сил, противостоящих Вашему государству на протяжении десяти лет при помощи армий Ваших союзников, чтобы Вы при этом могли держать свою руку в кармане, а не на эфесе меча, то теперь, когда Ваши союзники более не могут существовать без Вас, вступление в открытую схватку представляется знаком смелости и величайшей мудрости. Он показывает, что в деле сбережения мира в Вашем королевстве Вы вели себя как те экономисты, которые, поначалу серьезнейшим образом озаботившись накоплением денег, также знали, как лучше потратить их...»⁶⁶

Успех политики приоритета государственных соображений, *raison d'état*, зависит, прежде всего, от умения правильно оценить соотношение сил. Универсальные ценности определяются в процессе их восприятия и не нуждаются в постоянном переосмыслении; на деле они даже несовместимы с этим. Но определение пределов могущества требует сочетания опыта и провидения, а также умения постоянно приспосабливаться к обстоятельствам. Конечно, в теории баланс сил вполне поддается расчету. На практике же оказывается, чрезвычайно трудно высчитать его на реалистичной основе. А еще сложнее привести в гармонию собственные расчеты с расчетами других государств, что является обязательной предпосылкой действенной системы баланса сил. Консенсус по поводу характера равновесия обычно достигается путем периодических конфликтов.

Ришелье не сомневался в своей способности должным образом ответить на вызов, будучи лично убежденным в том, что можно с почти математической точностью соразмерить цели и средства. «Логика, – пишет он в своем „Политическом завещании“, – требует, чтобы вещь, нуждающаяся в поддержке, и сила этой поддержки находились в геометрической пропорции друг к другу»⁶⁷. Судьба сделала его князем Церкви. Убеждения ввели его в круг интеллектуального сообщества рационалистов типа Декарта и Спинозы, полагавших, что человеческое действие может быть научным путем спланировано. Случай дал ему возможность трансформировать международный порядок на великое благо собственной страны. На этот раз оценка государственным деятелем себя самого оказалась точной. Ришелье имел прозорливое понимание собственных целей, но ни он, ни его идеи не могли бы восторжествовать, если бы он не был способен сопрягать свою тактику с собственной стратегией.

Столь новаторская и хладнокровная доктрина не могла не вызвать противодействия. Какое бы господствующее положение ни заняла концепция баланса сил в последующие годы, она была глубоко оскорбительна для универсалистской традиции, основанной на первичности

⁶⁶ Цитируется по: Carl J. Burchardt. *Richelieu and His Age* (Буркхардт Карл Дж. *Ришелье и его эпоха*), перевод с немецкого Бернарда Хоя (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970), vol. III, "Power Politics and the Cardinal's Death", p. 61.

⁶⁷ Там же. С. 122.

законов морали. Одно из наиболее красноречивых критических высказываний пришло от знаменитого ученого Янсения, нападавшего на политику, лишенную каких бы то ни было моральных тормозов:

«Разве они действительно верят, что светское, недолговечное государство способно оказаться выше религии и церкви? ...Разве не должен наихристианнейший король думать, что при руководстве и управлении своими владениями нет ничего, что обязывало бы его распространять и защищать веру в Господа своего Иисуса Христа? ...Неужели он осмелится заявить Господу: да пропадет и сгинет Твоя власть, и слава, и вера, что учит людей почитать Тебя, если благодаря этому государство мое будет защищено и не подвержено никаким рискам?»⁶⁸

Именно так, разумеется, Ришелье говорил своим современникам и, насколько нам известно, своему Богу. И становится ясен масштаб произведенной им революции того, что его критики считали неким *reductio ad absurdum*⁶⁹ (то есть аргументом столь аморальным и опасным, что он опровергает сам себя), а на самом деле являлось в высшей степени точным обобщением взглядов самого Ришелье. Будучи первым министром короля, он подчинил как религию, так и мораль высшим интересам государства, своей путеводной звездой *raison d'état*.

Демонстрируя, как хорошо они усвоили циничные методы своего господина, защитники Ришелье использовали аргументацию своих критиков против самих этих критиков. Политика отстаивания национального интереса, как утверждали они, представляет собой высший нравственный закон; и тогда не Ришелье, а его критики нарушали этические принципы.

Именно Даниэлю де Приезаку, ученому, близкому к королевским властям, почти наверняка с личного одобрения Ришелье, выпало выступить с официальными возражениями. В классически макиавеллистской манере Приезак высказал возражение по поводу утверждения о том, что Ришелье совершает смертный грех, проводя политику, которая, похоже, способствует распространению ереси. Скорее, как заявлял он, души самих критиков Ришелье на грани риска и требуют спасения. Поскольку Франция была самой чистой и преданной делу веры европейской католической державой, Ришелье, служа интересам Франции, тем самым служил интересам католической религии.

Приезак не пояснял, как именно он пришел к выводу о том, что на Францию была возложена свыше столь уникальная религиозная миссия. Однако это вытекало из его утверждения о том, что укрепление французского государства способствует благополучию католической церкви; а, значит, политика Ришелье высокоморальна. Действительно, пребывание в габсбургском кольце представляло собой столь серьезную угрозу безопасности Франции, что оно должно было быть разорвано, безоговорочно оправдывая тем самым французского короля, независимо от методов, которые он использовал для достижения этой в конечном счете высокоморальной цели.

«Он ищет мира посредством войны, и если в ее ходе что-то происходит вопреки его желаниям, то это вовсе не деяние преступной воли, но необходимость, законы которой наиболее суровы и власть которой наиболее жестока. ...Любая война является справедливой, если заставившее начать ее намерение справедливо. ...Потому главным элементом, который следует принимать во внимание, является воля, а не средства достижения. ...Тот, кто намеревается убить виновного, иногда вынужденно проливает кровь невинного»⁷⁰.

⁶⁸ Jansenius. *Mars Gallicus* (Янсений. *Марс Галльский*), в: William F. Church. *Richelieu and Reason of State* (Черч Уильям Ф. *Ришелье и принцип высших интересов государства*). (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1972), p. 388.

⁶⁹ *Reductio ad absurdum* – доведение до абсурда как способ доказательства, применяемый в адвокатской практике. – *Прим. перев.*

⁷⁰ Daniel de Priezak. *Defence des Droits et Prerogatives des Roys de France* (Приезак Даниэль де. *Защита прав и привилегий*

И если уж говорить напрямик правду, это значит: цель оправдывает средства.

Еще один из критиков Ришелье, Матье де Морг, обвинял кардинала в манипулировании религией, «как научил тебя твой наставник Макиавелли на примере древних римлян, крутя-вертя ее... толкая ее и подгоняя ее сообразно твоим планам»⁷¹.

Критика со стороны де Морга была такой же многозначительной, что и критика Янсения, и столь же неэффективной. Ришелье действительно был именно таким манипулятором и использовал религию точно так, как утверждалось критиками. Он, без сомнения, ответил бы, что просто изучает природу мира, как это делал Макиавелли. Подобно Макиавелли, Ришелье, возможно, предпочел бы мир с более утонченными нравственными устоями, но он убежден, что история рассудит его умение управлять государством в зависимости от того, как хорошо он сумел воспользоваться условиями и факторами, с которыми ему приходилось иметь дело. Действительно, если при оценке государственного деятеля в качестве мерила брать достижение целей, которые он ставит сам для себя, то Ришелье останется в памяти, как одна из фигур, внесших большой вклад в мировую историю. Поскольку он оставил после себя мир, коренным образом отличающийся от того, в который пришел сам, и привел в действие политику, которой Франция станет следовать в течение последующих трех столетий.

Таким образом, Франция стала доминирующей страной в Европе и значительно расширила свою территорию. В течение столетия, последовавшего за Вестфальским миром 1648 года, завершившим Тридцатилетнюю войну, доктрина приоритета интересов государства превратилась в руководящий принцип европейской дипломатии. Кардинала, который начисто был лишен иллюзий даже в отношении самого себя, не удивило бы ни то уважение, с каким государственные деятели последующих веков относятся к Ришелье, ни то забвение, какое стало уделом его оппонента Фердинанда II. «В государственных делах, – написал Ришелье в своем «Политическом завещании», – тот, кто силен, часто прав, а тот, кто слаб, может лишь с трудом избежать признания неправым с точки зрения большинства в мире» – этот принцип редко кем оспаривается, на протяжении прошедших с тех пор столетий⁷².

Воздействие Ришелье на ход истории в Центральной Европе было обратно пропорционально достижениям, которых он добился в интересах Франции. Он опасался объединенной Центральной Европы и не допустил, чтобы такое случилось с ней. По всей видимости, он задержал объединение Германии в единое государство почти на два столетия. Начальная стадия Тридцатилетней войны могла бы рассматриваться как попытка Габсбургов действовать в роли династических объединителей Германии – точно так же, как Англия превратилась в национальное государство, оказавшись под опекой нормандской династии, а через несколько столетий при Капетингах за ней последовали французы. Ришелье помешал Габсбургам, и Священная Римская империя была разделена между более чем 300 суверенами, причем каждый из них был волен проводить независимую внешнюю политику. Германия тогда не сумела стать национальным государством; поглощенная в мелочные династические споры, она занялась внутренними проблемами. В результате Германия не выработала собственной национальной политической культуры и закоснела в своем провинциализме, из которого она так и не высвободилась вплоть до конца XIX века, когда ее объединил Бисмарк. Германия становилась ареной сражений большинства европейских войн, многие из которых были инициированы Францией, и потому не попала в первую волну европейской колонизации заморских территорий. Когда Германия, в конце концов, все же объединилась, у нее был до такой степени малый опыт опреде-

королей Франции), в: Там же. С. 398.

⁷¹ Mathieu de Morgues. *Catholicon francois, treatise of 1636* (Морг Матье де. *Французский католицизм. Трактат 1636 года*), в: Там же. С. 376.

⁷² Albert Sorel. *Europe Under the Old Regime* (Сорель Альбер. *Европа при старом режиме*), перевод: Francis H. Herrick. (Los Angeles: Ward Ritchie Press, 1947), p. 10.

ления собственного национального интереса, что это породило множество страшнейших трагедий нашего века.

Но боги часто карают людей, охотно исполняя их желания с перевыполнением. Анализ кардинала в отношении того, что успех Контрреформации низвел бы Францию до уровня придатка все более централизованной Священной Римской империи, был почти наверняка верным, особенно если учесть, как, должно быть, учитывал и он, что настала эпоха национальных государств. Но если Немезидой возмездия для вильсонского идеализма становится разрыв между его заявлениями и реальностью, то возмездием для концепции приоритета государственных интересов является чрезмерное расширение сферы применения этого принципа – за исключением того случая, когда это отдано на откуп мастеру, но и тогда тоже есть опасность перегиба.

Все дело в том, что концепция Ришелье *raison d'état* не содержит внутренних ограничений. Как далеко можно зайти, чтобы считать интересы государства обеспеченными в достаточной мере? Сколько потребуется войн, чтобы достичь безопасности? Вильсонский идеализм, провозглашающий бескорыстную политику, подспудно несет в себе постоянную опасность пренебрежения интересами государства, а применявшийся Ришелье принцип *raison d'état* грозит саморазрушительными проявлениями большой силы, *tours de force*. Именно это случилось с Францией после того, как взшел на престол Людовик XIV. Ришелье завещал французским королям очень и очень сильное государство, граничащее со слабой и раздробленной Германией и приходящей в упадок Испанией. Но Людовик XIV не мог наслаждаться безопасностью, в ней он видел лишь возможности для завоеваний. В чересчур ревностном следовании принципу приоритета интересов своей державы Людовик XIV напугал всю остальную Европу и тем самым сколотил антифранцузскую коалицию, в итоге сорвавшую его план.

Тем не менее в течение 200 лет после Ришелье Франция была наиболее влиятельной страной в Европе и вплоть до сегодняшнего дня остается крупным фактором международной политики. Немногие государственные деятели любой страны могут претендовать на аналогичное достижение. И все же величайшие успехи Ришелье имели место в те времена, когда он был единственным государственным деятелем, отбросившим моральные и религиозные ограничения периода Средневековья. Преемники Ришелье неминуемо унаследовали задачу управления такой системой, в которой многие государства действовали с его позиций. В силу этого Франция утратила преимущество того, что была один на один с противниками, которых сдерживали моральные соображения, как это было с Фердинандом II во времена Ришелье. Коль скоро все государства действовали по одним и тем же правилам, стало намного труднее добиваться каких-то достижений. Несмотря на всю славу, которую принесла Франции концепция приоритета национальных интересов, она свелась к бегу в закрытом загоне, какой-то бесконечной попытке расширения своих внешних границ. При этом страна выступала в роли арбитра при разрешении конфликтов между германскими государствами и, следовательно, воплощала на практике свою преобладающую роль в Центральной Европе. И это продолжалось до тех пор, пока Франция не лишилась сил от постоянных своих усилий и не стала постепенно терять способность формировать Европу в соответствии с собственными планами и представлениями.

Принцип *raison d'état* давал рациональную основу поведению отдельных стран, но не нес в себе ответа на вызовы мирового порядка. Концепция приоритета государственных соображений могла привести к стремлению к лидерству или к установлению равновесия. Но само равновесие редко возникает вследствие сознательно продуманных планов. Как правило, оно вытекает из процесса противодействия попыткам какой-то конкретной страны доминировать, как, к примеру, европейский баланс сил возник вследствие усилия по сдерживанию Франции.

В мире, открытом Ришелье, государства более не сдерживали себя видимостью соблюдения моральных норм. Если благо государства было наивысшей ценностью, долгом правителя являлось расширение его территории и рост его славы. Более сильный будет стремиться

к доминированию, а более слабый будет сопротивляться, создавая коалиции, чтобы увеличить свою индивидуальную мощь. Если коалиция была достаточно сильна, чтобы сдерживать агрессора, возникал баланс сил; если нет, то какая-то из стран добивалась гегемонии. Последствия этого, однако, вовсе не воспринимались как заранее предопределенные и потому подвергались испытанию многочисленными войнами. На начальной стадии возможным исходом вполне могла бы быть империя – французская или германская – для равновесия. Вот почему понадобилось более 100 лет, чтобы установился европейский порядок, основанный исключительно на балансе сил. Вначале баланс сил был почти случайным явлением жизни, а не целью международной политики.

Довольно любопытно, но философы того времени воспринимали данную ситуацию совсем не таким образом. Сыны эпохи Просвещения, они отражали веру XVIII века в то, что из столкновения соперничающих интересов возникнут гармония и справедливость. Концепция баланса сил просто представлялась продолжением принципа здравого смысла. Ее основным назначением было предотвращение господства одного государства и сохранение международного порядка; она была предназначена не для предотвращения конфликтов, а для их ограничения. Для расчетливых государственных деятелей XVIII века прекращение конфликта (или амбиций, или алчности) представлялось утопией; решение заключалось в том, чтобы обуздать или нейтрализовать врожденные недостатки человеческой природы ради достижения по возможности наилучших долгосрочных результатов.

Философы времен Просвещения воспринимали международную систему как часть Вселенной, работающую подобно большому часовому механизму, который никогда не останавливается, неумолимо ведет к лучшему из миров. В 1751 году Вольтер описывал «христианскую Европу» как «некую огромную республику, разделенную на ряд государств, некоторые монархические, другие смешанные по своему устройству... но все они пребывают в гармоничных отношениях друг с другом... все руководствуются одними и теми же принципами публичного и государственного права, неведомыми в других частях мира». Эти государства «превыше всего... следуют, как один, мудрой политике поддержания друг перед другом, насколько это возможно, равного баланса сил»⁷³.

Монтескье поднимал ту же самую тему. По Монтескье, баланс сил породил единство из многообразия:

«Положение дел в Европе сводится к тому, что все государства зависят друг от друга. ... Европа является единым государством, состоящим из нескольких провинций»⁷⁴.

Когда писались эти строки, XVIII век уже пережил две войны за испанское наследство, одну войну за польское наследство и ряд продолжительных войн за австрийское наследство.

В том же духе юрист Эмерих де Ваттель, занимавшийся вопросами философии и истории, смог написать в 1758 году, втором году Семилетней войны, следующее:

«Ведущиеся непрерывные переговоры превращают современную Европу в нечто вроде республики, все члены которой – будучи по отдельности независимы, связаны воедино общим интересом – объединяются ради поддержания мира и сохранения свободы. Именно это дало толчок возникновению хорошо известного принципа баланса сил, который предназначен для

⁷³ В: F. H. Hinsley. *Power and the Pursuit of Peace* (Хинсли Ф. Х. *Сила и борьба за мир*). (Cambridge: Cambridge University Press, 1963), p. 162–63.

⁷⁴ Там же. С. 162.

того, чтобы дела складывались так, чтобы ни одно государство не оказывалось в положении, дающем ему возможность иметь абсолютную власть и доминировать над другими»⁷⁵.

Философы путали результат с целью. На протяжении всего XVIII века князья в Европе вели бесчисленные войны, и не было при этом даже намека на подтверждение того, что сознательной целью была реализация общего понятия мирового порядка. В тот самый момент, когда международные отношения начинали основываться на силе, возникало такое количество новых факторов, что расчеты становились все более и более неуправляемыми.

Многочисленные династии того времени с тех самых пор все свое внимание направляли на усиление своей безопасности посредством территориальной экспансии. При этом решительно менялась ситуация с соотношением сил нескольких из них. Испания и Швеция постепенно опускались до статуса второразрядных стран. Польша начала скатываться к прекращению существования. Россия (вовсе не участвовавшая в заключении Вестфальского мира) и Пруссия (игравшая незначительную роль) превращались в крупные державы. Баланс сил достаточно трудно проанализировать, даже когда его компоненты находятся в более или менее стабильном состоянии. Задача и вовсе становится безнадежно запутанной, когда относительная мощь государств постоянно меняется.

Вакуум, создавшийся в Центральной Европе благодаря Тридцатилетней войне, побуждал соседние страны заполнить его. Франция продолжала оказывать давление на западе. Россия продвигалась с востока. Пруссия осуществляла экспансию в центре континента. Ни одна из ведущих континентальных стран не ощущала никаких особых обязательств в отношении баланса сил, так расхваливаемого философами. Россия полагала, что находится довольно далеко от центра событий. Пруссия, как самая маленькая из великих держав, была все еще слишком слаба, чтобы повлиять на общее равновесие. Каждый монарх утешал себя тем, что укрепление прочности собственного правления как раз и является величайшим возможным вкладом в дело всеобщего мира, и уповал на вездесущую невидимую руку, чтобы оправдать свои действия, не ограничивая при этом амбиции.

Характер принципа приоритета государственных интересов, как по большому счету анализа риска и потенциальной выгоды, наглядно демонстрируется тем, как Фридрих Великий оправдывал отторжение Силезии от Австрии, несмотря на существовавшие до того дружественные отношения Пруссии с этим государством и несмотря на обязательства по договору уважать территориальную целостность Австрии:

«Превосходство наших войск, быстрота, с которой мы можем привести их в действие, короче говоря, наше явное преимущество над соседями придает нам в этой неожиданной чрезвычайной ситуации безграничное превосходство над всеми прочими державами Европы. ... Англия и Франция наши враги. Если Франция захочет вмешаться в дела империи, Англия не допустит этого, так что я всегда смогу вступить в надежный союз с любой из них. Англия не будет ревниво относиться к приобретению мною Силезии, что не принесет ей ни малейшего вреда, а ей нужны союзники. Голландии будет все равно, тем более если будут гарантированы займы, предоставленные Силезии амстердамским деловым миром. Если же мы не сумеем договориться с Англией и Голландией, то мы, конечно, сможем заключить сделку с Францией, которая не позволит себе разрушить наши планы и будет лишь приветствовать подрыв могущества императорского дома. Только одна Россия могла бы создать нам проблемы. Если императрица будет жить... мы сможем подкупить ее ведущих советников. Если же она умрет, то русские будут заняты до такой степени, что у них не останется времени на иностранные дела...»⁷⁶

⁷⁵ Там же. С. 166.

⁷⁶ Цитируется по: Gordon A. Craig and Alexander L. George, *Force and Statecraft* (Крэйг Гордон Э. и Джордж Александр Л.

Фридрих Великий рассматривал международные дела как игру в шахматы. Он хотел захватить Силезию, чтобы усилить мощь Пруссии. Единственным препятствием своим планам он считал сопротивление со стороны превосходящих по мощи держав, а не мораль и угрызения совести. Его анализ сводился к учету риска и ожидаемой выгоды: если он завоюет Силезию, ответят ли другие государства ударом на удар или потребуют компенсацию?

Фридрих подвел все расчеты так, что они оказались в его пользу. Завоевание им Силезии сделало Пруссию подлинно великой державой, но также привело к серии войн, поскольку другие страны попытались приспособиться к появлению этого нового игрока. Первой была война за австрийское наследство, которая шла с 1740 по 1748 год. В ней на стороне Пруссии выступали Франция, Испания, Бавария и Саксония, перешедшая в 1743 году на другую сторону, в то время как Великобритания поддержала Австрию. В другой войне – Семилетней войне, продолжавшейся с 1756 по 1763 год, – роли поменялись. К Австрии теперь присоединились Россия, Франция, Саксония и Швеция, в то время как Великобритания и Ганновер поддержали Пруссию. Перемена сторон явилась результатом чистейших расчетов сиюминутной выгоды и конкретных компенсаций, а не применения какого-либо доминирующего принципа международного порядка.

И тем не менее некое подобие равновесия стало постепенно проявляться из этой кажущейся анархии и грабительства, в которых каждое государство всеми силами стремилось нарастить собственную мощь. И произошло это не в результате самоограничения, а благодаря тому, что ни одно государство, и даже Франция, не было достаточно сильным, чтобы навязать свою волю всем остальным и таким образом создать империю. Когда какое-то одно государство грозило занять господствующие позиции, его соседи тут же формировали коалицию – но не в целях воплощения в жизнь некоей теории международных отношений, а из сугубо эгоистических соображений, направленных на блокирование честолюбивых устремлений сильнейшего.

Эти постоянные войны не привели к опустошениям, типичным для религиозных войн, по двум причинам. Как ни парадоксально, но абсолютные правители XVIII века были не настолько всемогущими, чтобы мобилизовать все ресурсы для войны, как это было в случае, когда религия, или идеология, или избранное народом правительство могли вызвать огромный эмоциональный подъем. Они были ограничены традициями и, возможно, шаткостью собственного положения, не могли вводить подоходные налоги и многие другие поборы, присущие нынешним временам. Это, следовательно, вело к ограничениям на объем национального богатства, который потенциально мог бы быть предназначен на оборону. Да и технология производства вооружений была еще не очень развитой.

Главное, что баланс сил на континенте был восстановлен и, по существу, поддерживался благодаря появлению державы, чья внешняя политика была откровенно направлена на сохранение этого баланса. Политика Англии основывалась на поддержке, когда это требовалось, наиболее слабой и подвергшейся угрозе стороне для восстановления нарушенного равновесия. Творцом этой политики был английский король Вильгельм III Оранский, суровый и имеющий богатый житейский опыт голландец по происхождению. В своей родной Голландии он пострадал от амбиций французского «короля-солнца» и, когда стал королем Англии, занялся формированием коалиций, чтобы вставлять палки в колеса Людовика XIV при каждом удобном случае. Англия была единственной европейской страной, чьи высшие государственные интересы не требовали экспансии в Европе. Считая, что ее национальный интерес заключается в поддержании европейского баланса, она была единственной страной, которая не искала для себя на континенте ничего больше, кроме как недопущения господства в Европе какой-то одной

державы. Для достижения этой цели она была готова вступать в любую коалицию стран, выступающих против такого рода действий.

Баланс сил постепенно устанавливался путем перетряхивания под руководством Англии коалиций, направленных против французских попыток господствовать в Европе. Этот механизм лежал в основе почти каждой войны, которые велись в XVIII веке, и каждая возглавляемая Англией коалиция против французской гегемонии сражалась во имя тех же самых европейских свобод, которые впервые задействовал Ришелье в Германии в борьбе против Габсбургов. Баланс сил сохранялся потому, что страны, выступавшие против французского господства, были слишком сильны, и их трудно было победить. А также еще и потому, что полутора-вековой экспансионизм постепенно истощил французскую казну.

Роль Великобритании в качестве стабилизатора отражала геополитический факт. Выживание относительно небольшого острова у берегов Европы было бы под угрозой, если бы все ресурсы континента оказались под властью единственного правителя. Поскольку в таком случае Англия (как это имело место до ее объединения с Шотландией в 1707 году) обладала гораздо меньшими ресурсами и числом населения и рано или поздно оказалась бы во власти континентальной империи.

«Славная революция» 1688 года в Англии ввергла ее в немедленную конфронтацию с королем Франции Людовиком XIV. «Славная революция» низложила католического короля Якова II. В поисках протестантской замены на континенте Англия выбрала Вильгельма Оранского, правителя («штатгальтера») Нидерландов, который на законных основаниях являлся претендентом на английский престол, благодаря своей женитьбе на Марии, дочери низложенного короля. Вместе с Вильгельмом Оранским Англия получила идущую войну с Людовиком XIV по поводу территории, которая позднее станет Бельгией, изобиловавшей стратегически важными крепостями и гаванями, находившимися в опасной близости от английского побережья (хотя подобная озабоченность образовалась лишь со временем). Вильгельм знал, что, если Людовику XIV удастся оккупировать эти крепости, Нидерланды потеряют независимость, а перспективы французского господства над Европой возрастут, и это станет прямой угрозой для Англии. Решимость Вильгельма направить английские войска, чтобы вести войну против Франции за сегодняшнюю Бельгию, предвосхитило британское решение воевать за Бельгию в 1914 году, когда туда вторглись немцы.

С того времени Вильгельм возглавил борьбу против Людовика XIV. Низкорослый, сутулый до горбатости и страдающий от астмы, Вильгельм на первый взгляд не производил впечатления человека, кому судьбой было предназначено посрамить «короля-солнце». Но принц Оранский обладал железной волей в сочетании с необыкновенной живостью ума. Он убедил себя – почти наверняка правильно – в том, что, если Людовику XIV, уже ставшему наиболее могущественным монархом в Европе, будет позволено завоевать Испанские Нидерланды (сегодняшнюю Бельгию), Англия сильно рискует. Следовало сколотить коалицию, способную обуздать французского короля, и все это не ради абстрактной теории баланса сил, а во имя независимости как Нидерландов, так и Англии. Вильгельм отдавал себе отчет в том, что замыслы Людовика XIV в отношении Испании и ее владений, если они будут осуществлены, превратят Францию в сверхдержаву, которой не сможет противостоять ни одно государство ни в каком сочетании. Для предотвращения подобной опасности он стал искать себе партнеров и вскоре их обнаружил. Швеция, Испания, Савой, австрийский император, Саксония, Голландская республика, Англия сформировали Великий Альянс – крупнейшую коалицию сил, которые когда-либо были направлены против одной державы, когда-либо существовавшей в истории тогдашней Европы. Почти четверть века (с 1688 по 1713 год) Людовик практически непрерывно вел войны против этой коалиции. В итоге, однако, французская погоня за приоритетом государственных соображений была остановлена в связи с возобладавшими собственными интересами

других государств Европы. Франция оставалась сильнейшим государством Европы, но не стала доминирующей. Это хрестоматийный пример действия системы баланса сил.

Враждебное отношение Вильгельма к Людовику XIV не носило личного характера и не основывалось на каких-либо антифранцузских чувствах; оно отражало трезвую оценку могущества и безграничных амбиций «короля-солнца». Вильгельм как-то поделился мнением со своим помощником о том, что, живи он в 1550-е годы, когда Габсбурги грозились установить господство над Европой, он был бы «до такой же степени французом, до какой сейчас является испанцем»⁷⁷, – заявление, предвосхитившее ответ на заданный Уинстону Черчиллю в 1930-е годы вопрос, почему он является антигерманцем. «Если бы обстоятельства поменялись, мы могли бы в равной степени оказаться прогерманцами и антифранцузами»⁷⁸.

Вильгельм вполне был готов вступить в переговоры с Людовиком, когда ему показалось бы, что именно этим лучше всего было бы достичь баланса сил. Для Вильгельма существовал один простой расчет, который состоял в том, что Англии следует попытаться поддерживать примерное равновесие между Габсбургами и Бурбонами так, чтобы любой более слабый сохранял бы, разумеется, при содействии Англии, это равновесие в Европе. Всегда со времен Ришелье слабейшей страной в Европе была Австрия, и потому Великобритания выступала в одном ряду с Габсбургами против французского экспансионизма.

Идея выступить в роли регулятора равновесия в момент ее первого появления не очень-то понравилась британской общественности. В конце XVII века британское общественное мнение было настроено изоляционистски, что было во многом схоже с американским двумя столетиями спустя. Преобладал довод о том, что всегда будет достаточно времени, чтобы отразить угрозу, если вообще таковая появится. Незачем бороться заранее с предположительными опасностями, источником которых какая-то страна, *возможно*, станет когда-то позже.

Вильгельм сыграл роль, схожую с ролью, сыгранной Теодором Рузвельтом позднее в Америке, и предупредил свой, по сути, настроенный изоляционистски народ о том, что их безопасность зависит от участия в системе баланса сил за рубежом. И его соотечественники согласились с его воззрениями гораздо быстрее, чем американцы встали на точку зрения Рузвельта. Через примерно двадцать лет после смерти Вильгельма газета «Крафтсмен», типичный представитель оппозиции⁷⁹, заявляла, что баланс сил является одним из «оригинальных извечных принципов британской политики». По ее словам, мир на континенте «является до такой степени существенно важным обстоятельством для процветания торгового острова, что... постоянной задачей британского правительства должно быть поддержание его собственными силами и восстановление его, когда он нарушен или потревожен другими»⁸⁰.

Согласие по вопросу о важности баланса сил, однако, не заставило угаснуть споры относительно выбора лучшей стратегии для проведения этой политики. Существовали две философские школы, отражавшие взгляды двух крупнейших политических партий, представленных в парламенте. В значительной степени это очень похоже на расхождения во взглядах в Соединенных Штатах после двух мировых войн. Виги утверждали, что Великобритании следует вмешиваться лишь тогда, когда угроза балансу сил уже налицо и лишь на такой срок, который требуется, чтобы устранить эту угрозу. Тори же, напротив, полагали, что основной обязанностью Великобритании является *формирование*, а не просто защита баланса сил. Виги придерживались того мнения, что всегда будет достаточно времени, чтобы отразить нападение

⁷⁷ G. C. Gibbs. "The Revolution in Foreign Policy" (Гиббс Дж. К. *Революция во внешней политике*), в: Geoffrey Holmes, ed. *Britain after the Glorious Revolution, 1689–1714* (Британия после Славной революции в 1689–1714 годах). (London: Macmillan, 1969), p. 61.

⁷⁸ Winston S. Churchill. *The Gathering Storm, The Second World War* (Черчилль Уинстон С. *Надвигающийся шторм. Вторая мировая война*), vol. 1 (Boston: Houghton Mifflin, 1948), p. 208.

⁷⁹ Газету «Крафтсмен» («Мастер») издавал приверженец тори 1-й виконт Болинбрук. – *Прим. перев.*

⁸⁰ Цитируется по: Гиббс. *Революция*, в: *Британия после Славной революции*. С. 62.

на Нидерланды, после того, как это произошло. Тори доказывали, что политика выжидания может позволить агрессору непоправимо ослабить баланс сил. В силу этого, если Великобритания не желала вести войну в Дувре, она обязана была противостоять агрессии вдоль течения Рейна или в любом другом месте Европы, где баланс сил, как казалось, подвергался угрозе. Виги считали альянсы временными средствами, от которых следует отказываться сразу после того, как победа сделает общие цели спорными, в то время как тори настаивали на британском участии в договоренностях о сотрудничестве долгосрочного характера, чтобы Великобритания имела возможность содействовать направлению событий в нужное русло и сохранять мир.

Лорд Картерет, министр иностранных дел в правительстве тори с 1742 по 1744 год, весьма красноречиво выступил в защиту постоянной вовлеченности Англии в Европе. Он осудил склонность вигов «не принимать во внимание все беды и беспорядки на континенте и не покидать наш собственный остров в поисках врагов, а заниматься торговлей и жить в свое удовольствие, вместо того, чтобы лицом к лицу встречать опасность за рубежом, спать в безопасности, пока нас не разбудит тревожный набат на наших собственных берегах». Великобритания, как сказал он, обязана постоянно, в собственных же интересах поддерживать Габсбургов в противовес Франции, «поскольку, если французский монарх как-нибудь увидит, что у него нет соперников на континенте, будет сидеть преспокойно со своими завоеваниями и сможет потом уменьшить численность гарнизонов, оставит крепости и распустит сухопутное войско. Но то сокровище, которое позволяет ему заполнять равнины солдатами, вскоре даст ему возможность осуществить планы, гораздо более опасные для нашей страны. ...И мы должны, соответственно, милорды... оказывать содействие Австрийскому дому, так как он является единственной силой, которую можно положить на чашу весов, дабы перевесить силу государей из династии Бурбонов»⁸¹.

Различие между стратегией внешней политики у вигов и тори носило практический, а не философский характер, оно было тактическим, а не стратегическим, и оно отражало оценки каждой из партий степени уязвимости Великобритании. Выжидательная политика вигов отражала убежденность в наличии у Великобритании значительного запаса в плане безопасности. Тори же считали положение Великобритании более рискованным. Примерно то же самое отличие разделит американских изоляционистов и американских глобалистов в XX веке. Ни Великобритании в XVIII и XIX веках, ни Америке в XX веке не удалось с легкостью убедить собственных граждан в том, что их безопасность требует постоянного участия в мировых делах, а не изоляции.

Периодически в обеих странах появлялся лидер, поднимавший перед своим народом проблему необходимости постоянной вовлеченности в мировые дела. Вильсон стал инициатором создания Лиги Наций; Картерет носился с идеей постоянной вовлеченности в события на континенте; Каслри, министр иностранных дел с 1812 по 1821 год, выступал в защиту системы европейских конгрессов, а Гладстон, премьер-министр конца XIX века, предложил первую версию системы коллективной безопасности. В итоге их призывы не увенчались успехом, потому что вплоть до конца Второй мировой войны невозможно было убедить ни английский, ни американский народы в том, что они стоят перед смертельной угрозой миру до тех пор, пока она не оказалась непосредственно перед ними.

Таким образом, Великобритания стала регулятором европейского равновесия, вначале как бы по умолчанию, а затем уже в результате сознательно избранной стратегии. Без твердой приверженности Великобритании этой своей роли Франция обязательно добилась бы гегемонии над Европой в XVIII или XIX веке, а Германия сделала бы то же самое в современный

⁸¹ Speech by Secretary of State, Lord John Carteret, Earl of Granville, in the House of Lords, January, 27, 1744 (Речь министра иностранных дел лорда Джона Картерета, графа Грэнвилла, в палате лордов 27 января 1744 года), в: Joel H. Wiener, ed. *Great Britain: Foreign Policy and the Span of Empire, 1689–1971* (Винер. *Великобритания: внешняя политика и масштабы империи. 1689–1971 годы*), vol. 1 (New York/London: Chelsea House in association with McGraw-Hill, 1972), p. 84–86.

период. В этом смысле Черчилль был абсолютно прав, утверждая двумя веками позднее, что Великобритания «сохранила свободы Европы»⁸².

В начале XIX века Великобритания превратила свою специальную защиту системы баланса сил в некоего рода сознательно продуманный план. До этого она шла к своей политике со всей прагматичностью, в соответствии со склонностями британского народа, оказывая сопротивление любой стране, угрожавшей европейскому равновесию, которой в XVIII веке однозначно была Франция. Войны заканчивались компромиссом, обычно незначительно усиливавшим позиции Франции, но не дающим ей возможности завоевать гегемонию, что было ее настоящей целью.

Все вело к тому, что Франция дала такой повод для первого подобного заявления по вопросу о том, что Великобритания конкретно понимает под балансом сил. Стремясь к достижению превосходства на протяжении полутора столетий во имя *raison d'état*, высших интересов государства, Франция после революции вернулась к прежним концепциям универсализма. Франция больше не ссылалась на принцип приоритета государственных соображений для оправдания своего экспансионизма, и уж тем более во славу падших королей. После революции Франция вела войну со всеми странами Европы, чтобы сохранить завоевания революции и распространить республиканские идеалы по всей Европе. В очередной раз обладающая превосходящими силами Франция грозилась доминировать в Европе. Войско, набранное по принципу всеобщей воинской повинности, и идеологический порыв пронесли, как на крыльях, французские армии по Европе во имя всеобщих принципов свободы, равенства и братства. При Наполеоне они очень близко подошли к созданию Европейского содружества наций, центром которого была бы Франция. К 1807 году французские войска создали королевства-сателлиты вдоль Рейна, в Италии и Испании, низвели Пруссию до положения второразрядной державы и существенно ослабили Австрию. Только Россия стояла на пути Наполеона и Франции к господству над всей Европой.

И все же Россия вызывала двойственное к себе отношение: отчасти надежду и отчасти страх, что и явилось ее судьбой вплоть до наших дней. В начале XVIII века русская граница проходила по Днепру; а столетием позднее она уже находилась на Висле, в 800 километрах к западу. В начале XVIII века Россия боролась за свое существование со Швецией под Полтавой, в глубине территории сегодняшней Украины. К середине столетия она уже участвовала в Семилетней войне, и ее войска находились в Берлине. А к концу того же столетия она выступила в роли главного участника раздела Польши.

Еще неопытная физическая сила России приобретала все более и более зловещий характер в силу безжалостной деспотичности ее внутренних институтов. Ее абсолютизм не был смягчен обычаем или уверенной в себе, независимой аристократией, как это было с монархами, правившими в силу божественного права в Западной Европе. В России все зависело от прихоти царя. И русская внешняя политика вполне могла колебаться от либерализма к консерватизму в зависимости от настроения правящего царя – как это и происходило при царствовании Александра I. Дома, однако, не делалось даже попыток проведения либеральных экспериментов.

В 1804 году деятельный Александр I, царь всея Руси, обратился с предложением к британскому премьер-министру Уильяму Питту Младшему, наиболее непримиримому противнику Наполеона. Будучи под сильнейшим влиянием философов эпохи Просвещения, Александр I вообразил себя моральной совестью Европы и находился в последней стадии временного страстного увлечения либеральными институтами. Находясь в таком состоянии духа, он предложил Питту расплывчатую схему достижения всеобщего мира, заключающуюся в призыве ко всем странам пересмотреть свои конституции в целях ликвидации феодализма и введения конституционного правления. После этого реформированные государства откажутся от

⁸² Черчилль. *Надвигающийся шторм*. С. 208.

применения силы и будут передавать споры с другими государствами на рассмотрение арбитража. Таким образом, русский самодержец стал неожиданным предшественником вильсоновской идеи о том, что либеральные институты являются предпосылкой для мира, хотя он никогда не заходил так далеко, чтобы пытаться осуществить эти принципы на практике со своим собственным народом. Через несколько лет он вообще сместится к противоположной, консервативной крайности политического спектра.

Питт оказался во многом в таком же положении по отношению к Александру, в каком оказался Черчилль по отношению к Сталину примерно через 150 лет. Ему отчаянно нужна была русская поддержка в борьбе с Наполеоном, поскольку трудно было себе представить, каким еще способом можно было бы разбить Наполеона. С другой стороны, Питт, не более чем позднее Черчилль, был заинтересован в том, чтобы одна господствующая страна заменила другую, или в том, чтобы поддержать Россию в ее амбициях стать арбитром Европы. Более того, внутренние британские запреты не позволяли никакому премьер-министру строить мир на основе социально-политической реформы Европы. Ни одна из войн, которую вела Великобритания, не ставила перед собой подобной цели, потому что британский народ не видел для себя угрозу в каких бы то ни было социально-политических волнениях на континенте, угроза усматривалась только лишь в нарушении баланса сил.

Ответ Питта Александру I учитывал все эти элементы. Проигнорировав призыв России к политической реформе в Европе, Питт сделал акцент на равновесии, которое следовало бы формировать для сохранения мира. Впервые со времени заключения Вестфальского мира полтора столетия назад рассматривался вопрос о всеобщем урегулировании в Европе. И впервые в истории такого рода урегулирование должно было со всей очевидностью опираться на баланс сил.

Главную причину нестабильности Питт видел в слабости Центральной Европы, что неоднократно заставляло Францию совершать нападения и делать попытки добиваться своего господства. (Он был слишком вежлив и слишком нуждался в русской помощи, чтобы подчеркнуть, что Центральная Европа, обладающая достаточной силой для того, чтобы противостоять французскому давлению, сможет точно так же помешать и русским экспансионистским соблазнам.) Европейское урегулирование следовало начать с того, чтобы лишить Францию всех ее послереволюционных завоеваний и одновременно восстановить независимость Нидерландов, тем самым ловко превратив британскую озабоченность в основу урегулирования⁸³.

Уменьшение французского перевеса было бы, однако, бесполезным, если бы наличие более 300 мелких германских государств продолжало вызывать у Франции искушение давить на них и вторгаться в них. Чтобы свести на нет такие амбиции, Питт посчитал необходимым создать «огромные массы» в центре Европы путем консолидации германских княжеств в более крупные образования. Некоторые из государств, присоединившиеся к Франции или бесславно капитулировавшие перед ней, должны были быть аннексированы Пруссией или Австрией. Другие должны быть преобразованы в более крупные структурные образования.

Питт избегал любых намеков на европейское правительство. Вместо этого он предложил, чтобы Великобритания, Пруссия, Австрия и Россия гарантировали новое территориальное переустройство в Европе путем создания постоянного альянса, направленного против французской агрессии, – точно так же, как Франклин Д. Рузвельт позднее пытался сделать фундаментом международного порядка после Второй мировой войны союз против Германии и Японии. Ни Великобритания в наполеоновские времена, ни Америка в период Второй мировой войны не могли и предположить, что самой большой угрозой миру в будущем может оказаться нынешний союзник, а не разгромленный еще враг. Страхом перед Наполеоном объяснялась

⁸³ План Питта в: Sir Charles Webster, ed. *British Diplomacy 1813–1815* Вебстер Чарльз, сэр. (Британская дипломатия в 1813–1815 годах). (London: G. Bell and Sons, 1921), p. 389ff.

готовность британского премьер-министра согласиться с тем, что до того времени столь решительно отвергалось его страной – необходимость постоянной вовлеченности в дела на континенте, – и согласие Великобритании пойти на ограничение своей тактической гибкости, обосновав свою политику предпосылкой относительно наличия постоянного врага.

Возникновение в XVIII и XIX веках европейского баланса сил в определенных аспектах сопоставимо с переустройством мира в период после окончания холодной войны. В то время, как и сейчас, разрушавшийся мировой порядок породил множество государств, преследующих собственные национальные интересы и не сдерживающих себя никакими высшими принципами. Тогда, как и теперь, государства, формирующие международный порядок, искали какое-то определение своей международной роли. В те времена многие различные государства решили целиком и полностью полагаться на утверждение собственных национальных интересов, уповая на так называемую «невидимую руку». Вопрос заключается в том, сможет ли мир после окончания холодной войны найти какой-либо принцип, ограничивающий утверждение власти и собственных эгоистических интересов. Разумеется, в конечном счете баланс сил всегда складывается де-факто, когда происходит взаимодействие нескольких государств. Вопрос стоит так: сможет ли поддержание системы международных отношений происходить согласно продуманному плану или все сложится в результате серии испытаний на прочность.

К моменту окончания Наполеоновских войн Европа была готова разработать – единственный раз за всю свою историю – международный порядок, базирующийся на принципах баланса сил. В испытаниях периода войн XVIII – начала XIX века пришло осознание того, что баланс сил не может быть всего лишь остаточным явлением от столкновения европейских государств. План Питта намечал территориальное урегулирование в целях исправления слабостей мирового порядка XVIII века. Но союзники Питта на континенте получили дополнительный урок.

Оценивать силу слишком трудно, а готовность оправдать ее носит слишком многообразные формы, чтобы относиться к ней как к надежному проводнику к международному порядку. Равновесие срабатывает лучше всего, если оно подкреплено соглашением относительно общепринятых ценностей. Баланс сил препятствует появлению *возможностей* разрушить международный порядок; договоренность относительно общепринятых ценностей препятствует возникновению *желания* его разрушить. Сила, лишенная легитимности, провоцирует испытания на прочность; легитимность, лишенная силы, провоцирует пустое позерство.

Сочетание обоих элементов было и испытанием на прочность, и успехом Венского конгресса, установившего сохранявшийся целое столетие международный порядок, не нарушавшийся мировой войной.

Глава 4

«Европейский концерт» в составе Великобритании, Австрии и России

Пока Наполеон пребывал в своей первой ссылке на острове Эльба, завершившие Наполеоновские войны победители собрались в сентябре 1814 года в Вене, чтобы выработать планы послевоенного устройства мира. Венский конгресс продолжал работать даже во время бегства Наполеона с Эльбы и его окончательного поражения при Ватерлоо. В силу этого необходимость перестройки мирового порядка стала гораздо более срочной.

Австрию на переговорах представлял князь фон Меттерних, хотя, поскольку конгресс заседал в Вене, австрийский император все время находился за кулисами. Король Пруссии направил князя Гарденберга, а только что вступивший на престол в результате реставрации французский король Людовик XVIII полагался на Талейрана, который вел послужной список своей работы на каждого из правителей Франции, начиная с времен Великой французской революции. Царь Александр I, не желая уступить высокое положение престижного места России никому другому, приехал вести переговоры лично. Великобританию представлял на переговорах английский министр иностранных дел лорд Каслри.

Эти пятеро достигли цели, которую они перед собой поставили. После Венского конгресса Европа пережила самый продолжительный период мира за всю свою историю. В течение 40 лет не было ни одной войны с участием великих держав, а после Крымской войны 1854 года мировых войн не было еще 60 лет. Достигнутое в Вене урегулирование до такой степени точно соответствовало плану Питта, что когда Каслри представил его парламенту, то приложил проект первоначального британского предложения, чтобы продемонстрировать, насколько близко оно к тексту окончательного документа.

Как ни парадоксально, но этот международный порядок, который создавался со всей очевидностью более всего ради баланса сил, чем любой из предыдущих и последующих порядков, менее всего опирался на силу для его поддержания. Это уникальное состояние дел было обусловлено отчасти тем, что равновесие было так хорошо рассчитано, что его можно было разрушить только усилием такой мощи, установить которую было слишком трудно. Но самой важной причиной было то, что страны континента были связаны друг с другом чувством общности ценностей. Речь шла не только о физическом, но и о моральном равновесии. Сила и справедливость гармонично дополняли друг друга. Баланс сил уменьшает возможности применения силы; разделяемое всеми чувство справедливости уменьшает желание применить силу. Международный порядок, не рассматриваемый как справедливый, рано или поздно столкнется с вызовами. Но степень восприятия народом справедливости того или иного мирового порядка настолько же зависит от характера его внутренних институтов, насколько и от его оценки тактических внешнеполитических вопросов. По этой причине совместимость между внутренними институтами является подкреплением для дела мира. Как бы иронично это ни выглядело, но Меттерних оказался предвестником Вильсона. Он также верил, что разделяемая всеми концепция справедливости является предпосылкой создания международного порядка, несмотря на то, что его представление о справедливости было диаметрально противоположно тому, которого придерживался Вильсон и которое он в XX веке пытался конституировать в той или иной форме.

Создание общего баланса сил оказалось сравнительно простым делом. Государственные деятели следовали плану Питта, как по чертежу архитектора. С учетом того, что идея национального самоопределения тогда еще не была изобретена, участники конгресса меньше всего были заинтересованы в выкраивании этнически однородных государств из территорий,

отбитых у Наполеона. Австрия усилила свои позиции в Италии, а Пруссия в Германии. Голландская республика заполучила Австрийские Нидерланды (по большей части нынешнюю Бельгию). Франция вынуждена была отдать все свои завоевания и вернуться к «старым границам», в которых она существовала накануне революции. Россия заполучила центральную часть Польши. (В соответствии с принципом отказа от территориальных приобретений на континенте Великобритания ограничилась приобретением мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки.)

С точки зрения британской концепции мирового порядка проверкой действенности системы баланса сил являлся уровень совершенства исполнения отдельными нациями ролей, отведенных им согласно генеральному плану, – примерно так же Соединенные Штаты стали рассматривать свои союзы в период после Второй мировой войны. Во время претворения в жизнь этого подхода Великобритания, когда речь зашла о странах Европейского континента, столкнулась лицом к лицу с теми же расхождениями во взглядах на будущее, как и Соединенные Штаты стали рассматривать свои союзы во время холодной войны. Поскольку страны просто не воспринимали свои цели всего лишь винтиками системы безопасности. Безопасность делает возможным существование государств, но не является ни единственной, ни даже главной их целью.

Австрия и Пруссия больше не воспринимали себя «огромными массами», как позднее Франция вовсе не воспринимала НАТО с точки зрения инструмента разделения труда. Всеобщий баланс сил очень мало значил для Австрии и Пруссии, если он в то же самое время не был связан с оценкой соответствующим образом их собственных особых и сложных отношений или не принимал во внимание исторические роли этих стран.

После провала попытки Габсбургов добиться гегемонии в Центральной Европе во время Тридцатилетней войны Австрия оставила попытки подчинить себе всю Германию. В 1806 году существовавшая лишь номинально Священная Римская империя была упразднена. Но Австрия все равно видела себя первой среди равных и была преисполнена решимости не дать возможности ни одному из остальных германских государств, особенно Пруссии, перенять историческую роль Австрии.

И у Австрии были все основания быть начеку. С тех самых пор как Фридрих Великий захватил Силезию, претензии Австрии на лидерство в Германии был брошен вызов со стороны Пруссии. Жесткая дипломатия, увлеченность военным искусством и высокоразвитое чувство дисциплины в течение столетия вывели Пруссию из разряда второстепенного княжества на неплодородной Северо-Германской низменности и превратили ее в королевство, которое, даже будучи самым малым из числа великих держав, стало в военном отношении вровень с самыми грозными. Его странным образом оформленные границы простирались через Северную Германию от местами польского востока до в некоторой степени латинизированной Рейнской области (отделенной от основной прусской территории Ганноверским королевством). И это придавало прусскому государству всепоглощающее чувство возложенной на него национальной миссии – пусть даже не ради достижения какой-то высшей цели, а только ради защиты собственных расчлененных на части территорий.

Как отношения между этими двумя крупнейшими германскими государствами, так и их взаимоотношения с другими немецкими государствами являлись ключевыми для европейской стабильности. И действительно, по крайней мере, с момента окончания Тридцатилетней войны внутреннее устройство Германии ставило перед Европой одинаковую дилемму: всякий раз, когда Германия была слабой и раздробленной, она была предметом искушения своих соседей, особенно Франции, и экспансионизма с их стороны. В то же самое время перспектива германского объединения приводила в ужас соседние государства, что продолжается вплоть до нынешнего времени. Страхи Ришелье по поводу того, что объединенная Германия сможет господствовать над Европой и превзойти по могуществу Францию, превзошел один бри-

танский обозреватель, так писавший в 1609 году: «...в том, что касается Германии, то, полностью находясь под властью одного монарха, она наводила бы ужас на всех остальных»⁸⁴. Исторически с точки зрения европейского мира эта страна всегда была либо слишком слаба, либо слишком сильна.

Архитекторы Венского конгресса осознавали, что ради достижения мира и стабильности в Центральной Европе им следует переделать сотворенное Ришелье в 1600-х годах. Ришелье способствовал тому, чтобы Центральная Европа была слабой и раздробленной, что постоянно вызывало у Франции искушение завладеть этими землями и превратить их в самый настоящий плацдарм французской армии. И, таким образом, собравшиеся в Вене государственные деятели занялись укреплением, но не объединением Германии. Австрия и Пруссия были ведущими германскими государствами, затем следовал ряд средних по размеру государств, – среди них Бавария, Вюртемберг и Саксония, – которые были укрупнены и усилены. 300 с лишним государств донаполеоновской поры были объединены примерно в 30 стран и связаны в новую общность, названную Германским союзом с конфедеративными основами устройства⁸⁵. Созданный в целях защиты против общего внешнего агрессора, Германский союз оказался гениальным творением. Он был слишком сильным для нападения на него Франции, но слишком слабым и децентрализованным, чтобы угрожать соседям. Союз уравнивал превосходящую военную силу Пруссии в противовес превосходящему престижу и легитимности Австрии. Целью Союза было предотвратить объединение Германии на национальной основе, сохранить троны различных немецких князей и монархов и предупредить французскую агрессию. И по всем этим пунктам цель была успешно достигнута.

Имея дело с побежденным противником, победители, разрабатывающие мирное урегулирование, обязаны осуществить переход от жизненно важной для победы непримиримости к примирению, необходимому для достижения длительного мира. Карательный мир делает заложником весь международный порядок, поскольку накладывает на победителей, истощенных тяготами войны, задачу сдерживать страну, преисполненную решимости подорвать урегулирование. Любая чувствующая себя обиженной страна уверена, что сможет почти автоматически рассчитывать на поддержку недовольной побежденной стороны. Это станет проклятием Версальского договора.

Победители на Венском конгрессе, как и победители во Второй мировой войне, подобной ошибки не совершили. Нелегко было проявить великодушие к Франции, пытавшейся в продолжение полутора столетий добиваться господства над Европой, армии которой стояли лагерем на территории соседей в течение четверти века. Тем не менее государственные деятели в Вене пришли к выводу, что в Европе станет безопаснее, если Франция будет скорее относительно довольна, чем раздражена или недовольна. Францию лишили завоеванных земель, но пожаловали ей «старые», то есть дореволюционные границы, даже несмотря на то, что их пределы включали в себя значительно большие территории, чем те, которыми управлял Ришелье. Каслри, министр иностранных дел державы, являвшейся наиболее непримиримым врагом Наполеона, так объяснял этот шаг:

«Продолжающиеся эксцессы во Франции, несомненно, могут подтолкнуть Европу... пойти на какие-то формы расчленения... [но] пусть лучше союзники воспользуются нынешним шансом для обеспечения передышки, которая так требуется всем державам Европы... при наличии гарантии того, что если их постигнет разочарование... то они вновь возьмутся

⁸⁴ Sir Thomas Overbury. "Observations on His Travels" (Овербери Томас, сэр. *Наблюдения по поводу его странствий*), в: *Stuart Tracts 1603–1693 (Трактаты о Стюартах, 1603–1693)*, edited by C. H. Firth (London: Constable, 1903), p. 227, цитируется по: Martin Wight. *Power Politics (Уайт Мартин. Силовая политика)*. (New York: Holmes and Meier, 1978), p. 173.

⁸⁵ *Германский союз* (нем. *Deutscher Bund*) – объединение независимых германских государств и вольных городов, созданное после Венского конгресса вместо распущенной Наполеоном в 1806 году Священной Римской империи. – *Прим. перев.*

за оружие, не только обладая выгодными позициями, но и имея в своем распоряжении ту самую моральную силу, которая одна только и сможет удержать воедино подобную конфедерацию...»⁸⁶

К 1818 году Франция уже вошла в созданную конгрессом систему и стала участвовать в периодически собиравшихся европейских конгрессах, которые приблизились за целых полстолетия к подобию правительства Европы.

Будучи убежденной в том, что различные страны уже поняли свои собственные интересы настолько, чтобы защищать их в случае какого-либо вызова, Великобритания вполне могла бы довольствоваться этим и оставить все как есть. Британцы были уверены, что не потребуется никаких формальных гарантий или какого-то особенного дополнения к анализу, сделанному с позиций здравого смысла. Страны Центральной Европы, однако, ставшие жертвами полутора-вековых войн, настаивали на ощутимых гарантиях.

В частности, Австрия стояла перед лицом опасностей, непонятных для Великобритании. Являясь наследием феодальных времен, Австрия представляла собой многоязычную империю, объединившую множество народов бассейна Дуная вокруг исторических владений в Германии и Северной Италии. Зная о росте противоречивых тенденций либерализма и национализма, угрожавших самому ее существованию, Австрия стремилась сплести сеть из моральных запретов для предотвращения испытаний на прочность. Непревзойденное мастерство Меттерниха проявилось в том, что ему удалось побудить ключевые страны подчинить свои разногласия пониманию общности разделяемых ценностей. А Талейран так высказался о важности наличия некоего принципа сдержанности:

«Если... минимум сил сопротивления... равнялся бы максимуму сил агрессии... налицо было бы подлинное равновесие. Но... истинное положение дел допускает только такое равновесие, которое является искусственным и нестабильным и которое может длиться лишь в течение такого срока, пока определенные крупные государства вдохновлены чувством умеренности и справедливости»⁸⁷.

По окончании Венского конгресса соотношение между балансом сил и разделяемыми всеми чувствами легитимности нашло отражение в двух документах: об образовании Четверного союза, состоявшего из Великобритании, Пруссии, Австрии и России, и Священного союза, членство в котором ограничивалось тремя так называемыми «восточными дворами» – Пруссией, Австрией и Россией. В начале XIX века на Францию смотрели с таким же страхом, как на Германию в XX веке, – как на неизменно агрессивную и по своей природе дестабилизирующую силу. В силу этого собравшиеся в Вене государственные деятели создали Четырехсторонний альянс, предназначенный для того, чтобы при помощи преобладающей силы задушить в зародыше любые агрессивные французские тенденции. Если бы заседавшие в Версале победители создали подобный альянс в 1918 году, мир, возможно, так бы и не переживал страдания Второй мировой войны.

Священный союз был совершенно иным; Европа не видела подобных документов с тех пор, как почти два столетия назад Фердинанд II покинул трон Священной Римской империи. Он был предложен русским царем, который никак не мог отказаться от самозванной миссии по перекройке системы международных отношений и изменению состава ее участников. В 1804 году Питт свел на нет предложенный им крестовый поход во имя установления либеральных

⁸⁶ Меморандум лорда Каспри от 12 августа 1815 года, в: Webster, ed. *British Diplomacy 1813–1815 (Британская дипломатия в 1813–1815 годах)*, p. 361–362.

⁸⁷ Талейран, в: Harold Nicolson. *The Congress of Vienna (Никольсон Гарольд. Венский конгресс)*. (New York/San Diego/London: Harcourt Brace Jovanovich, paper ed. 1974), p. 155.

институтов. К 1815 году Александра переполняло чувство победы, чтобы от него так легко можно было отмахнуться, – независимо от того, что его нынешний крестовый поход был точно противоположен тому, что он отстаивал 11 лет назад. Теперь Александр оказался пленен религией и консервативными ценностями. И он уже предлагал не что иное, как полную перестройку международной системы, основанной на той предпосылке, что «курс, ранее принятый державами во взаимных отношениях, должен быть *фундаментально* изменен, и что *срочно* необходимо заменить его порядком вещей, основанным на возвышенных истинах вечной религии нашего Спасителя»⁸⁸.

Австрийский император шутил, что недоумевал, где стоит обсуждать эти идеи: на совете министров или в исповедальне. Но он также знал, что не может ни присоединиться к крестовому походу царя, ни отвергнуть его, дав тем самым Александру повод действовать в одиночку, оставляя Австрию без союзников лицом к лицу с либеральными и национальными течениями того времени. Именно по этой причине Меттерних трансформировал проект царя в то, что стало известно как Священный союз, в котором религиозный фактор трактовался как обязательство поставивших подпись под договором сохранять внутренний статус-кво в Европе. Впервые в современной истории европейские державы взяли на себя общую миссию.

Ни один британский государственный деятель никогда бы не позволил себе ввязаться в дело, устанавливающее общее право – фактически обязательство – вмешиваться во внутренние дела других государств. Каслри назвал Священный союз «произведением возвышенного мистицизма и полной бессмыслицы»⁸⁹. Меттерних, однако, увидел в нем возможность обязать царя опираться на законное правление и, что самое главное, удерживать его от одностороннего бурного миссионерского экспериментирования без каких-либо сдерживающих элементов. Священный союз объединил консервативных монархов в борьбе с революцией, но он также обязал их действовать согласованно и совместно, что реально давало Австрии теоретическое право вето в отношении авантюры готового все удушить русского союзника. Так называемый «Европейский концерт» предполагал, что сопоставимые по своему уровню страны решали бы вопросы, касающиеся всеобщей стабильности, на основе консенсуса.

Священный союз явился наиболее своеобразным аспектом венского урегулирования. Его возвышенное название отвлекало внимание от его реального значения, заключавшегося в приращении некоего элемента нравственного ограничения во взаимоотношения великих держав. Проявленная ими кровная заинтересованность в сохранении своих внутренних институтов заставила континент избегать конфликтов, на которые в предыдущем столетии они бы пошли как на само собой разумеющееся дело.

Было бы большим упрощением, однако, утверждать, что наличие сравнимых внутренних институтов гарантирует само по себе мирный баланс сил. В XVIII веке все правители стран континента управляли в силу божественного права – их внутренние институты были весьма и весьма сопоставимы. И тем не менее эти самые правители руководствовались чувством полной уверенности в своем постоянном существовании и вели бесконечные войны друг с другом как раз именно потому, что считали свои внутренние структуры неприкасаемыми.

Вудро Вильсон был не первым, кто считал, что природа внутренних институтов определяет поведение государства в международном плане. Меттерних полагал то же самое, однако он исходил из абсолютно противоположных по характеру и содержанию доводов. В то время как Вильсон считал демократии миролюбивыми и рациональными в силу самой своей природы, Меттерних называл их опасными и непредсказуемыми. Видя страдания, которые республиканская Франция принесла Европе, Меттерних отождествлял мир с законным правлением.

⁸⁸ Wilhelm Schwarz. *Die Heilige Allianz* (Шварц Вильгельм. *Священный союз*). (Stuttgart, 1935), p. 52ff.

⁸⁹ Цитируется в: Asa Briggs. *The Age of Improvement 1783–1867* (Бриггс Аса. *Эпоха прогрессивных свершений. 1783–1867*). (London: Longmans, 1959), p. 345.

Он ожидал, что коронованные главы древних династий если и не удержат мир, то, по крайней мере, сохранят базовую структуру международных отношений. Таким образом, легитимность становилась цементом, скрепляющим здание международного порядка.

Разница между подходами Вильсона и Меттерниха к вопросам внутренней справедливости и международного порядка играет главную роль в понимании противоположных друг другу воззрений Америки и Европы. Вильсон ратовал за принципы, воспринимаемые им как революционные и новые. Меттерних стремился проводить в жизнь те ценности, которые он считал древними. Вильсон, возглавляя страну, сознательно созданную для того, чтобы сделать человека свободным, был убежден в том, что демократические ценности могут быть законодательно закреплены и реализованы в совершенно новых структурах по всему миру. Меттерних, будучи представителем старой страны, чьи институты развивались постепенно, почти незаметно, сомневался в том, что права могут быть созданы посредством законодательства. «Права», по Меттерниху, просто существовали в природе вещей. Были ли они закреплены законом или конституцией, это сугубо технический вопрос, не имеющий никакого отношения к достижению свободы. Меттерних считал гарантирование прав парадоксом: «Вещи, которые следует воспринимать как само собой разумеющиеся, теряют свою силу, когда они проявляются в форме произвольных заявлений. ... Ошибочное превращение объектов в субъекты законотворчества ведет к ограничению, если не к полному аннулированию того, что пытались сохранить»⁹⁰.

Некоторые из афоризмов Меттерниха представляли собой своекорыстное логическое объяснение сущности установившейся в Австрийской империи практики, которая была не в состоянии приспособиться к рождающемуся новому миру. Но Меттерних также был носителем рационалистского убеждения в том, что законы и права существуют в природе сами по себе, а не в силу какого-либо постановления или распоряжения. Опыт его сформировался во времена Французской революции, которая началась с провозглашения прав человека, а кончилась царством террора. Национальный опыт, породивший Вильсона, носил гораздо более мягкий характер, и за 15 лет до возникновения современного тоталитаризма этот человек не мог даже представить себе, какие aberrации, своего рода отклонения от нормы, в состоянии таить в себе всенародное волеизъявление.

После окончания Венского конгресса Меттерних сыграл решающую роль в управлении международной системой и толковании требований Священного союза. Меттерних был вынужден взять на себя эту роль, поскольку Австрия была в центре всех передраг в Европе, а ее внутренние институты все меньше и меньше соответствовали национальным и либеральным тенденциям века. Пруссия грозила позициям Австрии в Германии, а Россия нависла над славянским населением на Балканах. И все это время существовала Франция, готовая потребовать обратно то, что приобрел Ришелье в Центральной Европе. Меттерних знал, что, если дать возможность этим опасностям перерасти в реальные испытания на прочность, Австрия истощила бы себя, независимо от исхода каждого отдельного конфликта. В силу этого его политика состояла в том, чтобы избегать кризисов путем создания морального консенсуса и уклоняться от тех из них, которых невозможно избежать. При этом оказывать негласную поддержку любой стране, пожелавшей взять на себя основной удар конфронтации, – Великобританию против Франции в Нидерландах, Великобританию и Францию против России на Балканах, более мелкие государства против Пруссии в Германии.

Исключительный дипломатический талант Меттерниха позволил ему транслировать хорошо знакомые дипломатические истины в практические действия внешнеполитического характера. Ему удалось убедить двух ближайших союзников Австрии, каждый из которых

⁹⁰ Klemens Metternich. *Aus Metternich's Nachgelassenen Papieren* (Меттерних Клеменс. *Избранное документальное наследие*). 8 vols., edited by Alfons von Klinkowstroem (Vienna, 1880), vol. VIII, p. 557.

представлял геополитическую угрозу для Австрийской империи, в том, что идеологическая опасность от революции перевешивает их стратегические возможности. Если бы Пруссия попыталась играть на германском национализме, она могла бы бросить вызов австрийскому преобладанию в Германии еще на поколение ранее прихода Бисмарка. Если бы цари Александр I и Николай I учитывали только геополитические возможности России, они бы гораздо решительнее воспользовались развалом Оттоманской империи, подвергая опасности Австрию, – как поступят их преемники позднее в том же столетии. Обе страны воздерживались от использования своих преимуществ, поскольку это противоречило бы главному принципу поддержания *статус-кво*. Австрия, которая, казалось, после ударов Наполеона была на смертном одре, получила новую жизнь в лице системы Меттерниха, что позволило ей просуществовать еще сотню лет.

Человек, спасший эту устаревшую империю и руководивший ее политикой почти 50 лет, впервые посетил Австрию лишь в возрасте 13 лет, а постоянно поселился там только в 17 лет⁹¹. Отец князя Клеменса Меттерниха был генерал-губернатором Рейнской области, являвшейся тогда владением Габсбургов. Будучи космополитом по своему характеру, Меттерних всегда с большей охотой говорил по-французски, чем по-немецки. «Теперь уже в течение длительного времени, – писал он Веллингтону в 1824 году, – роль отчизны (*patrie*) играет для меня Европа»⁹². Его противники из числа современников высмеивали его добродетельные изречения и безукоризненные эпиграммы. Зато Вольтер и Кант поняли бы его взгляды. Продукт рационализма эпохи Просвещения, он оказался заброшенным в самую гущу революционной борьбы, чуждой его темпераменту, и стал главным министром находящегося в осадном положении государства, устройство которого он не мог усовершенствовать.

Трезвость духа и умеренность целей были в стиле Меттерниха: «Будучи мало зависимы от абстрактных идей, мы принимаем вещи такими, какие они есть, и пытаемся изо всех наших сил защитить себя от заблуждений по поводу реальностей жизни»⁹³. А «фразами, которые при ближайшем рассмотрении рассеиваются, как дым, типа защиты цивилизации, нельзя определить что-либо материально ощущаемое»⁹⁴.

Применяя подобный подход, Меттерних стремился не поддаваться сиюминутным эмоциям. Как только Наполеон был разбит в России, и еще до того как русские войска добрались до Центральной Европы, Меттерних уже определил Россию как долгосрочную потенциальную угрозу. И в то время, когда соседи Австрии сосредоточивали все усилия на освобождении от французского правления, он поставил участие Австрии в антинаполеоновской коалиции в зависимость от разработки таких целей войны, которые отвечали бы интересам выживания разваливающейся империи. Подход Меттерниха был полной противоположностью позиции, занятой демократиями во время Второй мировой войны, когда они оказались в аналогичных обстоятельствах, оставшись визави с Советским Союзом. Подобно Каслри и Питту, Меттерних верил, что сильная Центральная Европа является предпосылкой европейской стабильности. Будучи преисполненным решимости избежать по мере возможности пробы силой, Меттерних был озабочен тем, чтобы делать двойное дело: как придерживаться стиля посредничества, так и накапливать изначальную силу:

⁹¹ Материал на этих страницах был в свое время приведен автором в: *A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 1812–1822 (Возрожденный мир: Меттерних, Каслри и проблемы сохранения мира. 1812–1822 годы)*. (Boston: Houghton Mifflin, 1973 Sentry Edition).

⁹² Цитируется в: *Там же*. С. 321.

⁹³ Цитируется в: Wilhelm Oncken. *Osterreich und Preussen im Befreiungskriege* (Онкен Вильгельм. *Австрия и Пруссия во время Освободительной войны*). 2 vols. (Berlin, 1880), vol. II, p. 630ff.

⁹⁴ Меттерних. *Документальное наследие*. Т. VIII. С. 365.

«Подход (европейских) держав отличается друг от друга в зависимости от их географического положения. Франция и Россия имеют всего лишь по одной пограничной линии, и это делает их практически неуязвимыми. Рейн с тройной линией крепостей обеспечивает покой... Франции; жуткий климат... делает Неман не менее безопасной границей для России. Австрия и Пруссия оказываются со всех сторон незащищенными от нападения соседних держав. Находясь под постоянной угрозой господства со стороны этих двух держав, Австрия и Пруссия могут найти спокойствие лишь в мудрой и тщательно продуманной политике и в добрых отношениях друг с другом и со своими соседями...»⁹⁵

Хотя Австрия нуждалась в России как в страховке от Франции, она всегда с опаской относилась к своему импульсивному союзнику, а особенно за склонность царя брать на себя миссию борца за святое дело. Талейран говорил о царе Александре I, что недаром он был сыном безумного царя Павла I. Меттерних описывал Александра, как «странное сочетание мужских достоинств и женских слабостей. Слишком слаб для истинного честолюбия, но слишком силен для чистого тщеславия»⁹⁶.

Для Меттерниха проблема, которую несла Россия, состояла не столько в том, чтобы как-то сдержать ее агрессивность – такая попытка истощила бы Австрию, – сколько в том, как умерить амбиции России. «Александр желает мира всему миру, – докладывал австрийский дипломат, – но не ради мира как такового и всех благ от него, а скорее ради самого себя; и не безоговорочно, но с некими задними мыслями на уме. Он должен оставаться борцом за этот мир; от него должны исходить покой и счастье всего мира, и вся Европа должна признавать, что этот ее покой – дело его рук, что он зависит от его доброй воли и может быть нарушен по его прихоти...»⁹⁷

Каслри и Меттерних по-разному относились к тому, как именно следует сдерживать чересчур деятельную и сующую свой нос в чужие дела Россию. Будучи министром иностранных дел островной державы, удаленной от сцены конфронтации, Каслри был готов к отражению лишь открытых нападков, да и в таком случае эти нападки должны были бы нарушать равновесие. С другой стороны, страна Меттерниха располагалась в самом центре континента и не могла позволить себе идти на риски. И именно потому, что Меттерних не доверял Александру, он делал все, чтобы находиться в максимально тесном контакте с ним, и сосредоточивал все усилия на том, чтобы не допускать даже попытки возникновения угроз со своей стороны. «Если выстрелит хотя бы одна пушка, – писал он, – Александр сбежит от нас во главе своей свиты, и тогда не будет никаких ограничений тому, что он будет считать своими божественно ниспосланными правами»⁹⁸.

Чтобы ослабить рвение Александра, Меттерних осуществил двухвекторную стратегию. Под его руководством Австрия находилась в авангарде борьбы с национализмом, хотя он был непреклонен и не допускал, чтобы Австрия слишком сильно раскрывалась или ввязывалась в односторонние действия. Еще менее он был настроен поощрять самостоятельные действия других, отчасти из опасения того, чтобы миссионерское рвение России не превратилось в экспансионизм. Для Меттерниха умеренность была философской добродетелью и практической необходимостью. В своих инструкциях одному из австрийских послов он как-то писал: «Гораздо важнее свести на нет претензии других, чем настаивать на наших собственных. ... Мы приобретем тем больше, чем меньше мы будем запрашивать»⁹⁹. Как только представля-

⁹⁵ Цитируется в: Онкен. *Австрия и Пруссия*. Т. I. С. 439 и сл.

⁹⁶ Меттерних. *Документальное наследие*. Т. I. С. 316 и сл.

⁹⁷ Цитируется в: Николай Михайлович, великий князь. *Донесения австрийского посланника при русском дворе Лебцельтерна за 1816–1826 годы*. Санкт-Петербург, 1913. С. 37 и сл.

⁹⁸ Цитируется в: Шварц. *Священный союз*. С. 234.

⁹⁹ Цитируется в: Alfred Stern. *Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815 bis zum Frankfurter Frieden von 1871* (Штерн

лась возможность, он пытался умерять крестовые планы царя, вовлекая его в длительные по времени консультации и ограничивая его тем, что было терпимо с точки зрения европейского консенсуса.

Вторым направлением стратегии Меттерниха было консервативное единство. Как только то или иное действие становилось неизбежным, Меттерних принимался за свое манипулирование, которое он когда-то описал следующим образом: «Австрия рассматривает все с точки зрения *существа* дела. России превыше всего нужна *форма*. Британия желает *существа* дела вне всякой формы. ...Перед нами стоит задача сведения воедино *невозможностей* Британии с *образом действий* России»¹⁰⁰. Ловкость Меттерниха позволила Австрии в течение целого поколения осуществлять контроль над ходом событий, превратив Россию, страну, которую он боялся, в партнера на основе единства консервативных интересов, а Великобританию, которой он доверял, в последнее прибежище для противодействия вызовам в отношении баланса сил. Неизбежный исход, однако, был попросту отсрочен. И все-таки сохранение отживающего свой век государства на основе ценностей, несовместимых с господствующими тенденциями, охватившими весь мир вокруг, и продление ему жизни на целое столетие само по себе является немалым достижением.

Дилемма Меттерниха заключалась в том, что чем больше он сближался с царем, тем больше он рисковал своими британскими связями; а чем больше он ими рисковал, тем ближе он *вынужден был* двигаться к царю, чтобы избежать изоляции. Идеальной комбинацией для Меттерниха была бы британская поддержка в деле сохранения территориального баланса и русская поддержка для подавления внутренних волнений, – Четверной союз 1815 года нужен для геополитической безопасности, а Священный союз для внутренней стабильности.

Но по мере того как память о Наполеоне со временем сглаживалась, сохранять такую комбинацию становилось все труднее. Чем больше союзы приобретали форму системы коллективной безопасности и европейского правительства, тем больше Великобритания считала своей обязанностью от них отмежеваться. А чем больше Великобритания отмежевалась, тем более зависимой от России становилась Австрия, и, соответственно, тем рьянее она отстаивала консервативные ценности. Создавался порочный круг, который нельзя было разорвать.

Как бы ни сочувствовал Каслри в связи с проблемами Австрии, он был неспособен заставить Великобританию устранять потенциальные опасности, когда она боролась с реальными. «Когда нарушен территориальный баланс в Европе, – оправдывался Каслри, – она (Британия) может эффективно вмешаться, но ее правительство будет последним в Европе, от которого можно будет ожидать или которое пойдет на риск связать себя по любому вопросу абстрактного характера. ...Мы окажемся на своем месте, когда европейской системе будет угрожать реальная опасность; однако наша страна не может, да и не будет действовать из-за абстрактных и умозрительных принципов предосторожности»...¹⁰¹ И все же нужда заставляла Меттерниха считать практически существующим то, что Великобритания полагала абстрактным и надуманным. Здесь был корень проблемы. Внутренние неурядицы оказались той самой опасностью, с которой Австрия меньше всего была в состоянии справиться.

Для смягчения принципиальных расхождений Каслри предложил проводить периодические встречи, или конгрессы, министров иностранных дел для совместного рассмотрения положения дел в Европе. То, что стало известно как система конгрессов, имело цель сформировать

Альфред. *История Европы от договоров 1815 года до Франкфуртского мира 1871 года*. 10 vols. (Munich – Berlin, 1913–24), vol. I, p. 298.

¹⁰⁰ Цитируется в: Hans Smalz. *Versuche einer Gesamteuropaischen Organisation, 1815–1820* (Шмальц Ханс. *Очерки изучения общеевропейских организаций, 1815–1820*). (Bern, 1940), p. 66.

¹⁰¹ Lord Castlereagh's. Confidential State Paper, May 5, 1820 (Каслри, лорд. Секретный дипломатический документ от 5 мая 1820 года), в: Sir A. W. Ward and G. P. Gooch, eds., *The Cambridge History of British Foreign Policy, 1783–1919* (Кембриджская история британской внешней политики, 1783–1919). (New York: Macmillan, 1923), vol. II (1815–66), p. 632.

ровать консенсус по стоящим перед Европой важнейшим вопросам и проложить путь для их решения на многосторонней основе. Великобритании, однако, не устраивала система европейского правительства, поскольку тут было недалеко и до объединенной Европы, против которой британцы выступали постоянно. Даже если оставить в стороне традиционную британскую политику, ни одно британское правительство не брало на себя постоянное обязательство анализировать события по мере их возникновения, не сталкиваясь ни с какой бы то ни было конкретной угрозой. Участие в европейском правительстве было не более привлекательным для британского общественного мнения, чем участие американцев в Лиге Наций через 100 лет, причем и по преимуществу по одним и тем же причинам.

Британский кабинет поставил совершенно очевидные условия еще перед самой первой из подобных конференций – Ахенским конгрессом¹⁰² 1818 года. Каслри был направлен туда с чрезвычайно сдержанными инструкциями: «Мы одобряем [общую декларацию] по этому случаю и, хотя с большими трудностями, заверяем [второстепенные державы] в том, что... периодические встречи... должны быть посвящены одному... предмету или даже... одной державе, Франции. И никакого участия во вмешательстве в какой бы то ни было форме, в какой международное право не оправдывает вмешательства. ...Наша истинная политика всегда заключалась в том, чтобы не вмешиваться в чужие дела, за исключением чрезвычайных ситуаций и в тех случаях только во главе вооруженных сил»¹⁰³. Великобритания хотела, чтобы за Францией был осуществлен контроль, но, кроме всего прочего, в Лондоне господствовал двойной страх: перед «континентальными завязками» и объединенной Европой.

Имел место всего лишь один случай, когда Великобритания посчитала, что дипломатия конгрессов совпадает с ее целями. Во время Греческой революции 1821 года Англия усмотрела в желании царя защитить христианское население разваливающейся Османской империи первую стадию попытки России завоевать Египет. Когда на карту ставятся британские стратегические интересы, Каслри без колебаний обратился к царю во имя того самого союзнического единства, которое он до того времени хотел ограничить вопросами сдерживания Франции. Характерно, что он выработал критерий разграничения между теоретическими и практическими вопросами: «Вопрос Турции носит совершенно иной характер, и он принадлежит к числу тех, которые у нас в Англии рассматриваются не в теоретическом, а в практическом плане...»¹⁰⁴

Но обращение Каслри к Союзу стало, прежде всего, подтверждением присущей ему непрочности. Союз, в котором один из партнеров трактует собственные стратегические интересы как единственный практически значимый вопрос, не является дополнительным гарантом безопасности для своих членов. Поскольку он не берет на себя никаких обязательств сверх тех, которые бы и так возникли вследствие учета национального интереса. Меттерних, без сомнения, утешался мыслью о том, что лично Каслри, безусловно, относился с симпатией к его целям и вообще к системе конгрессов. Каслри, как говорил один из австрийских дипломатов, был «похож на большого любителя музыки, находящегося в церкви; он хочет зааплодировать, но не смеет это сделать»¹⁰⁵. Но если даже наиболее европейски ориентированный из числа британских государственных деятелей человек не рискует аплодировать тому, во что верит, то роль Великобритании в «Европейском концерте» была predeterminedена как преходящая и неэффективная.

¹⁰² Иногда называют конгресс Экс-ла-Шапель, по французскому названию города Ахен, расположенного в Германии на стыке границ Германии, Бельгии и Нидерландов. – *Прим. перев.*

¹⁰³ Viscount Castlereagh. *Correspondence, Dispatches and Other Papers*, 12 vols., (Каслри, виконт. *Переписка, депеш и прочие документы в 12 т., изданных его братом маркизом Лондондерри*). (London, 1848–52), vol. XII, p. 394.

¹⁰⁴ Цитируется в: Sir Charles Webster. *The Foreign Policy of Castlereagh* (Вебстер Чарльз, сэр. *Внешняя политика Каслри*). 2 vols. (London, 1925 and 1931), vol. II, p. 366.

¹⁰⁵ Цитируется в: Бриггс. *Эпоха прогрессивных свершений*. С. 346.

Примерно так же столетием позднее обстояло дело с Вильсоном и его Лигой Наций. Усилия Каслри, направленные на то, чтобы убедить Великобританию принять участие в системе европейских конгрессов, зашли намного дальше того, что могли выдержать английские представительные институты как с философской, так и со стратегической точек зрения. Каслри был убежден, как был бы и Вильсон, в том, что опасность новой агрессии успешнее всего можно избежать в том случае, если его страна присоединится к какому-нибудь постоянному европейскому форуму, который имел дело с угрозами, прежде чем они превратятся в кризисы. Он понимал Европу лучше многих своих британских современников и знал, что вновь обретенный баланс потребует к себе пристального внимания. Он полагал, что выработал решение, которое Великобритания могла бы поддержать, поскольку оно не шло далее участия в серии дискуссионных встреч министров иностранных дел четырех стран-победительниц и не носило обязательственного характера.

Но даже дискуссионные встречи отдавали слишком сильно идеей европейского правительства на вкус британского кабинета. И получилось, что система конгрессов не взяла даже первого барьера: когда Каслри присутствовал на первой конференции в Ахене в 1818 году, Франция была принята в систему конгрессов, а Англия из нее вышла. Кабинет не дал Каслри разрешения присутствовать на последующих европейских конгрессах, которые соответственно состоялись в 1820 году в Троппау, в 1821 году в Лайбахе и в 1822 году в Вероне. Великобритания отошла в сторону от той самой системы конгрессов, которую задумал ее же собственный министр иностранных дел. Точно так же столетием позднее Соединенные Штаты дистанцируются от Лиги Наций, предложенной их же президентом. В каждом из этих случаев попытка лидера наиболее могущественной страны создать общую систему коллективной безопасности не увенчалась успехом вследствие внутренних предубеждений и исторических традиций.

Как Вильсон, так и Каслри считали, что международный порядок, установленный после катастрофической войны, может быть защищен при активном участии всех ведущих членов международного сообщества и особенно их собственных стран. Для Каслри и Вильсона безопасность была коллективной; если хоть одна нация подвергалась нападению, то в итоге жертвами оказывались бы все. Если безопасность воспринимается, таким образом, всеми как безупречная, то у всех государств появляется общий интерес в том, чтобы давать отпор агрессии, и даже больше того – интерес в том, чтобы не допустить ее. С точки зрения Каслри, Великобритания, независимо от ее взглядов по конкретным вопросам, была по-настоящему заинтересована в сохранении всеобщего мира и в поддержании баланса сил. Как и Вильсон, Каслри полагал, что лучшим способом отстаивания такого интереса является принятие участия в формировании решений, влияющих на международный порядок, и в организации отпора нарушениям мира.

Слабость системы коллективной безопасности заключается в том, что интересы редко бывают одинаковыми, а безопасность редко бывает безупречной. Члены общей системы коллективной безопасности в силу этого скорее согласятся с бездействием, чем договорятся о совместных действиях; их либо будут удерживать вместе красивыми общеполитическими призывами, либо они станут свидетелями отступничества самого мощного из членов, который чувствует себя наиболее защищенным и посему менее всего нуждающимся в этой системе. Ни Вильсон, ни Каслри не смогли вовлечь свои страны в систему коллективной безопасности, потому что соответствующие общества не ощущали предвидимой угрозы и считали, что смогут с ней справиться самостоятельно или, в случае необходимости, найти союзников в последний момент. Для них участие в Лиге Наций или в системе европейских конгрессов представлялось риском, при котором безопасность отнюдь не повышалась.

Однако существует огромное различие между этими двумя англосаксонскими государственными деятелями. Каслри диссонировал не только со своими современниками, но и в целом с главной линией тогдашней британской внешней политики. Он не оставил после себя

никакого наследия; ни один из британских государственных деятелей не использовал Каслри в качестве примера для подражания. Вильсон же не только черпал свои идеи из неистощимого источника американской мотивации, но и поднялся в этом деле на новую и более высокую ступень. Все его преемники были до какой-то степени вильсоньянцами, и вся последующая американская внешняя политика формировалась под влиянием изложенных им принципов.

Лорд Стюарт, британский «наблюдатель», которому было позволено присутствовать на различных европейских конгрессах, сводный брат Каслри, потратил значительную часть своей энергии, определяя пределы участия Великобритании, а не вклад ее в европейский консенсус. В Троппау он представил меморандум, подтверждавший право на самооборону, но настаивавший на том, что Великобритания «не возьмет на себя, как член Союза, моральную ответственность за учреждение общеевропейской полиции»¹⁰⁶. На конгрессе в Лайбахе лорд Стюарт должен был подтвердить, что Великобритания никогда не окажется связанной обязательствами, направленными против «необоснованных» опасностей. Сам Каслри изложил британскую позицию в дипломатическом документе от 5 мая 1820 года. Четверной союз, как утверждал он, был учрежден для «освобождения значительной доли европейского континента от военного господства Франции. ...Его, однако, никогда не предполагали превратить в Союз для создания мирового правительства или ведомство, надзирающее за внутренними делами других государств»¹⁰⁷.

В итоге Каслри оказался в западне между собственными убеждениями и внутривнутриполитическими требованиями. Он не видел выхода из этой неприятной ситуации. «Сир, – заявил Каслри на последней встрече с королем, – необходимо распроститься с Европой; только Вы и я знаем ее и спасли ее; никто, кроме меня, не поймет дел на континенте»¹⁰⁸. Четыре дня спустя он совершил самоубийство.

По мере роста зависимости Австрии от России перед Меттернихом вставал вызывающий крайнее недоумение вопрос о том, как долго его призыв к консервативным принципам царя сможет удержать Россию от использования своих возможностей на Балканах и на периферии Европы. Оказалось, что этот срок составил почти три десятилетия, в течение которых Меттерних занимался революциями в Неаполе, Испании и Греции, при этом эффективно поддерживая европейский консенсус и предотвращая русскую интервенцию на Балканах.

Но Восточный вопрос не исчез сам собой. По существу, он явился результатом борьбы за независимость на Балканах, когда различные народности пытались освободиться от турецкого владычества. Вызов этим самым системе Меттерниха заключался в том, что он вступал в противоречие с обязательством той системы сохранять статус-кво и что движения за независимость, направленные на тот день против Турции, завтра уже будут нацелены на Австрию. Более того, царь, наиболее преданный идее легитимизма, был тоже более всего готов совершить интервенцию, и никто – уж, конечно, ни в Лондоне, ни в Вене – не верил, что он способен сохранить статус-кво после того, как его армии отправятся в поход.

На какое-то время общая заинтересованность смягчить удар от распада Османской империи способствовала продолжению теплых отношений между Великобританией и Австрией. Как бы мало для англичан ни значили конкретные балканские проблемы, продвижение русских к проливам воспринималось как угроза британским интересам на Средиземном море и встречало твердое противодействие. Меттерних никогда лично не участвовал в британских усилиях противостоять русскому экспансионизму, хотя фактически приветствовал их. Его осторожная и, что самое главное, анонимная дипломатия – утверждение единства Европы, лезть по отношению к русским, обхаживание англичан – помогала Австрии сохранить

¹⁰⁶ Цитируется в: Вебстер. *Внешняя политика Каслри*. Т. II. С. 303 и сл.

¹⁰⁷ Каслри. Секретный дипломатический документ от 5 мая 1820 года, в: *Кембриджская история*. Т. II. С. 626–627.

¹⁰⁸ Цитируется в: Киссинджер. *Возрожденный мир*. С. 311.

как вариант союз с русскими, в то время как тяжкое бремя сдерживания русского экспансионизма было возложено на другие государства.

Устранение Меттерниха с политической сцены в 1848 году ознаменовало начало конца рискованных действий балансирования на проволоке, при помощи которых Австрия использовала единство консервативных интересов для сохранения достигнутого в Вене урегулирования. Совершенно очевидно, что легитимность не могла компенсировать до бесконечности неуклонное ухудшение геополитического положения Австрии или растущую несовместимость ее внутреннего государственного устройства и доминирующих национальных тенденций. Но нюанс как раз является сущностью искусства управления государством. Меттерних очень ловко справлялся с Восточным вопросом, однако его преемники, не сумев приспособить внутренние институты Австрии к требованиям времени, попытались, в порядке компенсации, привести австрийскую дипломатию в соответствие с нарождающейся тенденцией силовой политики, не сдерживаемой концепцией легитимности. Это должно было стать крахом существующего международного порядка.

Случилось так, что «Европейский концерт» окончательно раскололся вдребезги на накопавшие Восточного вопроса. В 1854 году впервые со времен Наполеона великие державы участвовали в войне. По иронии судьбы эта война, Крымская война, давно заклеянная историками как бессмысленное мероприятие, которое легко было предотвратить, была развязана не Россией, Великобританией или Австрией – странами, имевшими свой интерес в Восточном вопросе, – но Францией.

В 1852 году французский император Наполеон III, только что пришедший к власти в результате переворота, убедил турецкого султана даровать ему титул «защитника христиан Оттоманской империи», то есть признать за ним ту роль, которую русский царь традиционно считал своей. Николай I был в ярости от того, что Наполеон, которого он считал незаконным выскочкой, осмелился занять место России в качестве защитника балканских славян, и потребовал равного статуса с Францией. Когда султан наотрез отказал русскому эмиссару, Россия разорвала с Турцией дипломатические отношения. Лорд Пальмерстон, формировавший британскую внешнюю политику середины XIX века, болезненно подозрительно относился к России и настоял на отправке Королевского военно-морского флота в бухту Бесика у выхода из Дарданелл. Царь же продолжал действовать в духе системы Меттерниха. «Вы четверо, – заявил он, обращаясь к великим державам, – могли бы диктовать мне, но такого никогда не случится. Я могу рассчитывать на Берлин и Вену»¹⁰⁹. Чтобы показать полнейшее пренебрежение, Николай распорядился оккупировать княжества Молдавию и Валахию (современную Румынию).

Австрия, которая теряла больше всех в этой войне, предложила вполне очевидное решение: Франция и Россия выступают союзниками оттоманских христиан. Пальмерстона не устраивал никакой вариант. В целях усиления переговорных позиций Великобритании он направил Королевский военно-морской флот к самому входу в Черное море. Это подтолкнуло Турцию на объявление войны России. Великобритания и Франция поддержали Турцию.

Настоящие причины войны, однако, лежали гораздо глубже. Религиозные претензии были на самом деле предлогом для осуществления замыслов политического и стратегического характера. Николай добивался воплощения в жизнь давней русской мечты заполучить Константинополь и проливы. Наполеон III увидел перед собой возможность покончить с изоляцией Франции и разрушить Священный союз путем ослабления России. Пальмерстон искал какой-то предлог, чтобы прекратить раз и навсегда продвижение России к проливам. Как только началась война, британские боевые корабли вошли в Черное море и стали уничтожать русский

¹⁰⁹ Цитируется в: А. J. P. Taylor, *The Struggle for Mastery in Europe 1848–1918* (Тэйлор Э. Дж. П. *Борьба за главенство в Европе: 1848–1918*). (Oxford: Oxford University Press, 1955), p. 54.

Черноморский флот. Англо-французские войска высадились в Крыму, чтобы захватить русскую военно-морскую базу Севастополь.

Эти события для австрийских руководителей означали только одни сложности. Они придавали значение традиционной дружбе с Россией, опасаясь при этом того, что продвижение русских на Балканы может вызвать беспокойство среди славянского населения Австрии. Но их пугало и то, что выступление на стороне своего старого друга России в Крыму даст Франции предлог напасть на итальянские территории Австрии.

Вначале Австрия объявила нейтралитет, что было разумным шагом. Однако новый министр иностранных дел Австрии граф Буоль решил, что бездействие только действует на нервы, а французская угроза австрийским владениям в Италии выбивает из колеи. В то время как британская и французская армии осаждали Севастополь, Австрия предъявила царю ультиматум с требованием ухода России из Молдавии и Валахии. Это и стало решающим фактором окончания Крымской войны – по крайней мере, так с того времени посчитали правители России.

Австрия отвергла Николая I и непоколебимую дружбу с Россией, восходившую к временам Наполеоновских войн. Граничащая с паникой безответственность заставила преемников Меттерниха отбросить наследие консервативного единения, которое собиралось по крупицам так тщательно, а временами так болезненно на протяжении жизни целого поколения. На этот раз Австрия отказалась от пут общих ценностей, а это также позволило России вести свою собственную политику, исходя исключительно из геополитических выгод. Следуя подобным курсом, Россия была обязана столкнуться с Австрией по поводу будущего Балкан и со временем попытаться подорвать Австрийскую империю.

Причина, по которой венское урегулирование работало в течение 50 лет, заключалась в том, что три восточные державы – Пруссия, Россия и Австрия – в своем единстве видели существенную преграду революционному хаосу и французскому господству в Европе. Но во время Крымской войны Австрия («палата пэров Европы», как назвал ее Талейран) своими маневрами вовлекла себя в неудобный союз с Наполеоном III, жаждущим подорвать позиции Австрии в Италии, и Великобританией, не желавшей ввязываться в европейские дела. Тем самым Австрия дала России и Пруссии, своим корыстолюбивым в прошлом партнерам по Священному союзу, свободу преследования в чистом виде собственных национальных интересов. Пруссия заплатила свою цену, вынудив Австрию убраться из Германии, в то время как растущая враждебность России на Балканах превратилась в один из спусковых крючков Первой мировой войны и привела к окончательному развалу Австрии.

Оказавшись лицом к лицу с реалиями силовой политики, Австрия не смогла осознать, что ее спасение лежит в общеевропейской приверженности легитимизму. Концепция единства консервативных интересов уже перешагнула национальные границы и в силу этого получила тенденцию смягчить столкновения силовой политики. Национализм производил противоположный эффект, ставя на первое место национальный интерес, усиливая соперничество и увеличивая риски для всех. Австрия вовлекла себя в соперничество, в котором, с учетом всех ее уязвимых мест, она никак не могла одержать верх.

Через пять лет после окончания Крымской войны итальянский националистический лидер Камилло Кавур начал процесс изгнания Австрии из Италии, спровоцировав войну с Австрией. Он опирался на союз с Францией и молчаливое согласие России, причем и то, и другое прежде казалось бы невероятным. Пройдет еще пять лет, и Бисмарк разобьет Австрию в войне за господство в Германии. И вновь Россия стояла в сторонке, а Франция сделала то же самое, хотя и нехотя. Во времена Меттерниха «Европейский концерт» провел бы консультации по вопросу и проконтролировал бы все эти волнения. Теперь же дипломатия стала полагаться больше на неприкрытую силу, чем на общность ценностей. Мир сохранялся еще 50 лет. Но с каждым десятилетием напряженность нарастала и увеличивалась гонка вооружений.

Великобритания действовала совершенно по-иному в рамках международной системы, основанной на силовой политике. С одной стороны, она никогда не полагалась в отношении собственной безопасности на систему конгрессов; для Великобритании новый характер международных отношений больше представлял собой обычное дело. На протяжении XIX века Великобритания стала ведущей страной Европы. Совершенно очевидно, что она была достаточно сильна, чтобы держаться в одиночку, и имела преимущество в виде географической изоляции и отгороженности от внутренних беспорядков на континенте. Но у нее также было преимущество в стабильных руководителях, демонстрировавших без каких-либо сантиментов приверженность национальному интересу.

Преемники Каслри не понимали континент так хорошо, как он. Но они яснее ухватывали сущность британского национального интереса и добивались его воплощения в жизнь с исключительным мастерством и настойчивостью. Джордж Каннинг, непосредственный преемник Каслри, поторопился оборвать последние немногочисленные нити, посредством которых Каслри осуществлял свое влияние, пусть даже слабаватое, на систему европейских конгрессов. В 1821 году, за год до того, как занять место Каслри, Каннинг потребовал проведения политики «нейтралитета словом и делом»¹¹⁰. «Давайте, – заявлял он, – предположим в безрассудном духе романтизма, что только мы одни способны возродить Европу»¹¹¹. Впоследствии, став министром иностранных дел, он не оставил ни малейших сомнений в том, что его ведущим принципом является осуществление национального интереса, который, по его же мнению, был несовместим с постоянной вовлеченностью в дела в Европе: «...при той тесной связи, какая у нас существует с системой в Европе, вовсе не вытекает, что мы теперь призваны с безустанной активностью и по любому поводу вмешиваться в дела и заботы окружающих нас стран»¹¹².

Иными словами, Великобритания оставляла за собой право следовать своим собственным курсом в соответствии с характером каждого конкретного случая и руководствовалась только собственным национальным интересом. А это и есть фактически политика, при которой союзники являются либо пешками, либо вовсе несущественным элементом.

Пальмерстон в 1856 году так пояснил сущность британского национального интереса: «Когда меня спрашивают... что такое политика, ответ один, и он состоит в том, что мы намерены делать то, что нам кажется самым лучшим в каждой конкретной ситуации по мере ее возникновения. Интересы нашей страны должны при этом быть руководящим принципом любого человека»¹¹³. Через полвека официальное описание сути британской внешней политики не получило никаких больших уточнений, что отразилось в нижеследующем объяснении сэра Эдварда Грея, министра иностранных дел: «Британские министры иностранных дел руководствуются тем, что представляется им как непосредственный интерес нашей страны без каких-либо сложных калькуляций на будущее»¹¹⁴.

В большинстве других стран подобные заявления были бы высмеяны как тавтология: мы, дескать, делаем то, что является лучшим, потому что мы считаем это лучшим. В Великобритании они были сочтены проливающими свет; там не так уж часто требовалось определить смысл клише «национальный интерес». «У нас нет вечных союзников и постоянных противников», – говорил Пальмерстон. Великобритании не требовалось официальной стратегии,

¹¹⁰ Каннинг, цитируется в: R. W. Seton-Watson, *Britain in Europe, 1789–1914* (Сетон-Уотсон Р. В. *Британия в Европе, 1789–1914 годы*). (Cambridge: Cambridge University Press, 1955), p. 74.

¹¹¹ Там же.

¹¹² Плимутская речь Каннинга 28 октября 1823 года. Там же. С. 119.

¹¹³ Из письма Пальмерстона Кларендону от 20 июля 1856 года, цитируется в: Harold Temperley and Lillian M. Penson, *Foundations of British Foreign Policy from Pitt (1792) to Salisbury (1902)* (Темперли Гарольд и Пенсон Лилиан М. *Основы британской внешней политики от Питта (1792 год) до Солсбери (1902 год)*). (Cambridge: Cambridge University Press, 1938), p. 88.

¹¹⁴ Грей Эдвард, сэр, в: Сетон-Уотсон. *Британия в Европе*. С. 1.

поскольку ее руководители понимали так здорово, будто чувствовали «нутром» британский интерес, что могли действовать непринужденно по мере возникновения определенной ситуации, будучи уверены в том, что общественность непременно пойдет за ними. Как сказал Пальмерстон: «Наши интересы вечны, и наш долг этим интересам следовать»¹¹⁵.

По всей вероятности, британские руководители со всей определенностью более всего давали понять, что именно они *не* готовы защищать, чем заранее определять некий *казус белли*. С еще большей сдержанностью они относились к заявлениям о наличии целей, возможно, в силу того, что их вполне устраивал статус-кво. Будучи убежденными в том, что всегда смогут распознать британский национальный интерес, когда они увидят его, британские руководители не видели потребности в их предварительной проработке. Они предпочитали ждать конкретных случаев – положение, невозможное для континентальных стран, поскольку они сами и были теми конкретными случаями.

Британский взгляд на безопасность был весьма сходным с взглядами американских изоляционистов, в этом плане Великобритания считала себя застрахованной от всего, за исключением пертурбаций катастрофического характера. Но Америка и Великобритания по-разному воспринимали взаимосвязь между миром и внутренним устройством. Британские руководители никоим образом не рассматривали распространение представительных институтов в качестве ключа к миру так, как это обычно делали их американские партнеры, и их вовсе не беспокоило существование институтов, отличающихся от их собственных.

Именно таким образом в 1841 году Пальмерстон разъяснял британскому послу в Санкт-Петербурге, чему Великобритания будет противодействовать силой оружия и почему она не будет противодействовать переменам сугубо внутреннего характера:

«Один из основных принципов, которому Правительство Ее Величества желает следовать в качестве руководящего в организации своих дел в сфере отношений между Англией и другими государствами, состоит в том, что любые перемены во внутренней конституции и форме правления, которые иностранные страны предпочтут предпринять, должны рассматриваться как дела, по которым у Великобритании нет причин вмешиваться силой оружия...»

Однако попытка одной страны захватить и присвоить себе территорию, принадлежащую другой стране, является совершенно иным делом, поскольку подобная попытка ведет к нарушению существующего баланса сил. А нарушение относительной мощи государств может быть чревато созданием опасности для других держав, и потому Британское правительство считает себя совершенно свободным подобной попытке противостоять...»¹¹⁶

Все британские министры без исключения были превыше всего озабочены сохранением свободы действий для своей страны. В 1841 году Пальмерстон вновь подчеркнул отвращение Великобритании к абстрактным случаям: «...это непривычно для Англии принимать на себя обязательства по отношению к случаям, которых на самом деле не возникало или их возникновение не прогнозируется в ближайшей перспективе...»¹¹⁷

Почти через 30 лет после этого Гладстон выдвинул тот же самый принцип в письме королеве Виктории:

¹¹⁵ Пальмерстон, в: Бриггс. *Эпоха прогрессивных свершений*. С. 352.

¹¹⁶ Дешеша № 6 Пальмерстона маркизу Кланрикарду (послу в Санкт-Петербурге) от 11 января 1841 года, в: Темперли и Пенсон. *Основы внешней политики*. С. 136.

¹¹⁷ Там же. С. 137.

«Англии следует держать полностью в собственных руках средства оценки своих обязательств, вытекающих из различных фактических состояний. Ей не следует ограничивать и сужать свободу выбора посредством деклараций, сделанных другим державам по поводу их реальных или предполагаемых интересов, в отношении которых они будут утверждать, что по меньшей мере являются-де членами общего пула толкователей...»¹¹⁸

Настаивая на свободе действий, британские государственные деятели, как правило, отвергали все вариации на тему коллективной безопасности. То, что потом стали называть политикой «блестящей изоляции», отражало убежденность Англии в том, что она больше потеряет, чем приобретет от вступления в союзы. Столь надменный подход могла себе позволить только страна, достаточно сильная, чтобы выступать самостоятельно, страна, не видящая для себя опасностей, для преодоления которых требуются союзники, страна, уверенная в том, что любая угрожающая ей крайность представляла бы собой еще большую угрозу для потенциальных союзников. Роль Великобритании как нации, поддерживающей европейское равновесие, давала ей все те преимущества, которые ее руководство желало бы иметь или в которых оно нуждалось. Эта политика имела все основания на проведение в жизнь потому, что она не предусматривала никаких территориальных приобретений в Европе. Англия могла тщательно отбирать европейские конфликты для своего вмешательства, поскольку ее единственным европейским интересом было равновесие (какими бы прожорливыми ни были британские аппетиты по отношению к заморским колониальным приобретениям).

Тем не менее политика «блестящей изоляции» Великобритании не препятствовала ее вступлению во временные группировки совместно с другими странами для разруливания особых ситуаций. Будучи морской державой, которая не обладала крупной постоянной армией, Великобритания время от времени вынуждена была кооперироваться с каким-нибудь континентальным союзником, которого она предпочитала выбирать только тогда, когда возникала конкретная необходимость. В таких случаях британские руководители могли показать себя на удивление невосприимчивыми к прошлым враждебным отношениям. В ходе отделения Бельгии от Голландии в 1830 году Пальмерстон сначала пригрозил Франции войной, если та попытается установить господство над новым государством, а потом, через несколько лет, предложил ей же союз, чтобы гарантировать независимость Бельгии: «Англия в одиночестве не в состоянии отстоять свои позиции на континенте; она должна иметь союзников в качестве инструментов для работы»¹¹⁹.

Разные «случайные» союзники Великобритании, разумеется, преследовали собственные цели, как правило, заключавшиеся в расширении сфер влияния или территориальных приобретениях в Европе. Когда они переходили за грань того, что Англия считала приемлемым, Англия переходила на другую сторону или организовывала новую коалицию против прежних союзников ради сохранения равновесия. Великобритания в силу своей лишенной всяких сантиментов настойчивости и эгоцентричной решимости заработала себе эпитет «Коварный Альбион». Дипломатия подобного рода, возможно, и не отражала особо возвышенного подхода к делам, но она сохраняла мир в Европе, особенно тогда, когда созданная Меттернихом система стала трещать по швам.

XIX век знаменовал апогей британского влияния. Великобритания была уверена в себе и имела на то полное право. Она являлась ведущей промышленной державой, а Королевский военно-морской флот господствовал на морях. В век внутренних потрясений британская внутренняя политика была на редкость спокойной. Когда дело доходило до крупных проблем

¹¹⁸ Письмо Гладстона королеве Виктории, 17 апреля 1869 года, в: Harold Nicolson. *Diplomacy* (Николсон Гарольд. *Дипломатия*). (London: Oxford University Press, 1963), p. 137.

¹¹⁹ Пальмерстон, в: Бриггс. *Эпоха прогрессивных свершений*. С. 357.

XIX века – интервенция или неучастие в интервенции, сохранение статус-кво или сотрудничество ради перемен, – британские руководители отказывались сковывать себя догмами. В войне за греческую независимость 1820-х годов Великобритания с симпатией относилась к стремлению Греции к независимости и освобождению из-под турецкого правления, пока это не угрожало ее собственным стратегическим позициям в Средиземном море из-за усиления русского влияния. Но к 1840 году Великобритания вмешалась непосредственно, чтобы сдержать Россию, и, следовательно, поддержала статус-кво Османской империи. Во время венгерской революции 1848 года Великобритания, формально занявшая позицию невмешательства, на деле приветствовала восстановление Россией статус-кво. Когда Италия в 1850-е годы восстала против правления Габсбургов, Великобритания проявила сочувствие, но сама ни во что не вмешивалась. Для защиты баланса сил Великобритания никогда не была ни решительно интервенционистской страной, ни категорическим противником интервенции, ни бастионом венского порядка, ни державой, требующей его пересмотра. Стил ее действий был непреклонно прагматичен, а британский народ гордился тем, что страна способна справиться с любой ситуацией.

И тем не менее любая прагматическая политика – поистине прагматическая политика – должна быть основана на каком-то определенном принципе с тем, чтобы тактическое искусство не тратилось на беспорядочные телодвижения. И таким заранее определенным принципом британской внешней политики была, независимо от того, признавала ли Великобритания это открыто или нет, ее роль защитника баланса сил, которая в целом означала поддержку более слабого против более сильного. Во времена Пальмерстона баланс сил превратился в такой непреложный принцип британской внешней политики, что ему не нужна была теоретическая защита. Какая бы политическая линия ни проводилась в любой данный момент, она обязательно формулировалась с учетом необходимости отстаивания баланса сил. Исключительная гибкость сочеталась с рядом заданных целей практического характера. К примеру, решимость оберегать Нидерланды от попадания в руки какой-либо крупной державы неизменно сохранялась со времен Вильгельма III и вплоть до начала Первой мировой войны. В 1870 году Дизраэли следующим образом подтвердил вновь этот принцип:

«Правительство нашей страны всегда считало, что в интересах Англии, чтобы страны на европейском побережье, начиная от Дюнкерка и Остенде до островов Северного моря, находились под властью свободных и процветающих сообществ, проводили политику мира, пользовались правами и свободами и занимались торговлей, направляя свою деятельность на повышение культурного уровня человека. И они не должны находиться во власти какой-либо крупной воинственной державы...»¹²⁰

До какой степени были изолированы германские руководители свидетельствует тот факт, что они были неподдельно удивлены, когда в 1914 году Великобритания ответила объявлением войны на германское вторжение в Бельгию.

На протяжении значительной части XIX века сохранение Австрии считалось важной британской целью. В XVIII веке Мальборо, Картерет и Питт несколько раз вступали в войну, чтобы не позволить Франции ослабить Австрию. Хотя Австрии в меньшей степени следовало бояться французской агрессии в XIX веке, британцы все еще рассматривали Австрию как полезный противовес русской экспансии в направлении черноморских проливов. Когда революция 1848 года угрожала привести к развалу Австрии, Пальмерстон заявил:

¹²⁰ Обращение Дизраэли к палате общин 1 августа 1870 года, в: *Parliamentary Debates (Парламентские дебаты)*. (Hansard), 3rd ser., vol. cciii (London: Cornelius Buck, 1870), col. 1289.

«Австрия находится в центре Европы как барьер против проникновения, с одной стороны, и вторжения – с другой. Политическая независимость и свободы Европы связаны, по моему мнению, с поддержанием и целостностью Австрии как великой европейской державы. В силу этого все, что имеет целью прямо, или даже косвенно, ослабить и расчленивать Австрию, тем более лишить ее положения первостепенной великой державы и свести ее к второразрядному статусу, должно рассматриваться как величайшая катастрофа для Европы, с которой ни один англичанин не сможет смириться и постарается не допустить»¹²¹.

После революции 1848 года Австрия становилась все слабее, а ее политика все более непостоянной, что снижало ее былую полезность в качестве ключевого элемента британской политики в восточном Средиземноморье.

В центре политики Англии стояла задача не допустить оккупации Россией Дарданелл. Австро-русское соперничество было в основном сопряжено с русскими планами относительно славянских провинций Австрии, что всерьез Великобританию не волновало, а контроль над Дарданеллами не принадлежал к числу жизненно важных интересов для Австрии. Поэтому Великобритания пришла к выводу, что Австрия стала неравноценным противовесом России. Вот почему Великобритания осталась в стороне, когда Австрия потерпела поражение от Пьемонта в Италии и была разгромлена Пруссией в ходе соперничества за преобладание в Германии, – проявив безразличие, которое было бы невыносимо всего одно поколение назад. С начала наступления нового века страх перед Германией будет господствовать в британской политике, а Австрия, союзник Германии, впервые будет фигурировать как противник в расчетах Великобритании.

В XIX веке никто бы и не подумал, что настанет день и Великобритания окажется в союзе с Россией. По мнению Пальмерстона, Россия «придерживалась системы всесторонней агрессии по всем направлениям, частично в силу личных качеств императора (Николая), и отчасти в силу неизменной системы правления»¹²². Через 25 лет после этого подобное же мнение повторил лорд Кларендон, который утверждал, что Крымская война была «битвой цивилизации против варварства»¹²³. Большую часть столетия Великобритания потратила, пытаясь сдерживать русскую экспансию в Персии и на подступах к Константинополю и к Индии. Понадобятся десятилетия германской воинственности и бесчувственности, чтобы перенести главную озабоченность Великобритании по вопросам безопасности на Германию, и это в итоге случилось только после наступления нового столетия.

Британские правительства сменялись чаще, чем правительства так называемых Восточных держав; ни один из крупнейших британских политических деятелей – Пальмерстон, Гладстон, Дизраэли – не находился на своем посту в течение всего срока пребывания на своей должности, как это было с Меттернихом, Николаем I и Бисмарком. И тем не менее Великобритания сохраняла исключительную преемственность в своих целях. Встав однажды на определенный курс, она следовала ему с неослабевающей настойчивостью и твердым упорством, что позволяло Великобритании оказывать решающее влияние в плане сохранения спокойствия в Европе.

Одной из причин такой целенаправленности в поведении Великобритании во времена кризисов был представительный характер ее политических институтов. С 1700 года общественное мнение играло важную роль в британской внешней политике. Ни в одной стране Европы в XVIII веке не существовало «оппозиционной» точки зрения в том, что касалось внешней политики; в Великобритании оппозиция была неотъемлемой частью системы. В XVIII веке

¹²¹ Обращение Пальмерстона к палате общин 21 июля 1849 года, в: Темперли и Пенсон. *Основы внешней политики*. С. 173.

¹²² Пальмерстон, в: Бриггс. *Эпоха прогрессивных свершений*. С. 353.

¹²³ Обращение Кларендона к палате лордов 31 марта 1854 года, цитируется в: Сетон-Уотсон. *Британия в Европе*. С. 327.

тори, как правило, представляли внешнюю политику короля, которая склонялась к вмешательству в споры на континенте; виги же, подобно сэру Роберту Уолполу, предпочитали сохранять определенную дистанцию по отношению к ссорам на континенте и делали гораздо больший упор на заморскую экспансию. К началу XIX века роли переменялись. Виги, подобно Пальмерстону, представляли активную экспансионистскую политику, базой которой являлась растущая экономика, в то время как тори, подобно Дерби или Солсбери, настороженно относились к иностранным связям. Радикалы типа Ричарда Кобдена солидаризировались с консерваторами, пропагандируя невмешательство в британской позиции.

В силу того, что внешняя политика Великобритании выростала из открытых дебатов, британский народ проявлял исключительную сплоченность во время войны. С другой стороны, столь открыто пристрастная внешняя политика делала возможными – хотя и в высшей степени необычными – крутые перемены во внешней политике при смене премьер-министра. К примеру, поддержка Великобританией Турции, оказываемая в 1870-е годы, резко прекратилась, когда Гладстон, считавший, что турки заслуживают морального осуждения, победил Дизраэли на выборах 1880 года.

Во все времена Великобритания относилась к своим представительным учреждениям как к уникальным самим по себе. Ее политика на континенте всегда оправдывалась британским национальным интересом, но не идеологией. В любых случаях, когда Великобритания выражала сочувствие какой-либо революции, как, например, в отношении Италии в 1848 году, она поступала так сугубо из практических соображений. Отсюда Пальмерстон с одобрением цитировал прагматическое изречение Каннинга: «Те, кто сдерживал прогресс, поскольку он представлял собой новаторство, вынуждены будут в один прекрасный день принять новаторство, которое уже более не будет прогрессом»¹²⁴. Но это был совет, базирующийся на опыте, а не призыв к распространению британских ценностей или институтов. В продолжение всего XIX века Великобритания оценивала другие страны по проводимой ими внешней политике и, за исключением краткого перерыва гладстоновского правления, оставалась безразлична к их внутреннему устройству.

Хотя Великобритания и Америка с одинаковым равнодушием относились к повседневной вовлеченности в международные дела, Великобритания оправдывала свою собственную версию изоляционизма, которая основывалась на совершенно ином фундаменте. Америка провозглашала свои демократические институты примером для всего остального мира; Великобритания трактовала свои парламентские институты как не имеющие ничего общего с иными обществами. Америка пришла к пониманию того, что распространение демократии обеспечит-де мир; в действительности дело, дескать, обстоит так, что надежный мир не может быть достигнут каким-то иным путем. Великобритания могла бы предпочесть для себя какое-то конкретное внутреннее устройство, но идти на риск ради этого она не собиралась.

В 1848 году Пальмерстон уладил исторические опасения Великобритании в связи со свержением во Франции монархии и появлением нового Бонапарта тем, что задействовал нижеследующее практическое правило британского государственного управления: «Неизменным принципом, на основании которого действует Англия, является признание законным органом каждой страны того органа, который каждая страна сознательно предпочтет для себя»¹²⁵.

Пальмерстон в течение почти 13 лет был главным архитектором внешней политики Великобритании. В 1841 году Меттерних с циничным восхищением анализировал его прагматический стиль: «...что же тогда хочет лорд Пальмерстон? Он хочет, чтобы Франция ощутила мощь Англии, доказывая ей, что египетское дело завершится только так, как того пожелает он, и у Франции не будет ни малейшего права вмешиваться в это дело. Он хочет доказать обеим

¹²⁴ Обращение Пальмерстона к палате общин 21 июля 1849 года, в: Темперли и Пенсон. *Основы внешней политики*. С. 176.

¹²⁵ Цитируется в: Великобритания: внешняя политика и масштабы империи, 1689–1971.

немецким державам, что он в них не нуждается и что Англии достаточно помощи России. Он хочет держать Россию под контролем и затащить ее в свой обоз, играя на ее постоянном опасении того, что Англия вновь сможет сблизиться с Францией»¹²⁶.

Это было довольно точное описание того, что Великобритания понимала под балансом сил. В итоге это позволило Великобритании пройти через столетие с одной сравнительно короткой войной с другой великой державой – Крымской войной. Хотя, когда война началась, никому и в голову не приходило, что именно Крымская война привела к развалу меттерниховского порядка, выкованного с превеликим трудом на Венском конгрессе. Распад единства трех восточных монархов устранил элемент моральной сдержанности из европейской дипломатии. Последовали 15 беспокойных лет, прежде чем возникла новая, но гораздо более хрупкая стабильность.

¹²⁶ Меттерних, 30 июня 1841 года, в: Сетон-Уотсон. *Британия в Европе*. С. 221.

Глава 5

Два революционера – Наполеон III и Бисмарк

Крах системы Меттерниха вскоре после Крымской войны породил примерно два десятилетия конфликтов: войну Пьемонта и Франции против Австрии в 1859 году, войну за Шлезвиг-Гольштейнию в 1864 году, австро-прусскую войну 1866 года и франко-прусскую войну 1870 года. Из этих пертурбаций в Европе возник новый баланс сил. Франция, участвовавшая в трех из этих войн и провоцировавшая остальные, утратила господствующее положение, уступив его Германии. Гораздо важнее было то, что исчезли моральные ограничители системы Меттерниха. Эта резкая перемена стала символизироваться использованием нового термина для обозначения ничем не ограниченной политики достижения баланса сил: на смену французскому термину *raison d'état*, приоритета интересов государства, пришел немецкий термин *Realpolitik*, реальная политика, что, однако, не меняло сути дела.

Новый европейский порядок был делом рук двух довольно непохожих друг на друга партнеров, ставших в конечном счете заклятыми врагами: императора Наполеона III и Отто фон Бисмарка. Оба эти человека игнорировали старые заповеди Меттерниха о том, что законным образом коронованные главы европейских государств должны оставаться на местах в интересах стабильности, что национально-освободительные движения следует подавлять и что, главное всего, отношения между государствами должны определяться консенсусом правителей-единомышленников. Они основывали свою политику на *Realpolitik* – на идее о том, что отношения между государствами определяются грубой силой и преобладать будет более мощный.

Племянник великого Бонапарта, пронесшегося как смерч над Европой, Наполеон III был в молодые годы членом итальянских тайных обществ, боровшихся против австрийского господства в Италии. Будучи избранным президентом в 1848 году, Наполеон в результате переворота провозгласил себя императором в 1852 году. Отто фон Бисмарк был отпрыском знатной прусской династии и ярким противником либеральной революции 1848 года в Пруссии. В 1862 году Бисмарк стал министром-председателем правительства (премьер-министром) лишь потому, что колеблющийся король не видел другого выхода из тупика, в котором оказался парламент, расколотый на множество фракций по вопросу военных ассигнований в бюджет.

Наполеон III и Бисмарк, каждый сам по себе, сумели подорвать венское урегулирование и, что самое главное, отказались от добровольно взятой на себя сдержанности, вытекавшей из разделявшейся всеми веры в консервативные ценности. Трудно даже представить себе две столь несопоставимые личности, чем Бисмарк и Наполеон III. «Железного канцлера» и «Сфинкса Тюильри» объединяло их отвращение к венской системе. Обоим казалось, что порядок, установленный Меттернихом в Вене в 1815 году, был тяжелой обузой. Наполеон III ненавидел венскую систему, поскольку она была специально задумана для сдерживания Франции. Хотя Наполеон III не обладал устремлениями и манией величия своего дяди, этот загадочный руководитель полагал, что Франция имеет право на периодические территориальные приобретения, и не хотел, чтобы на его пути стояла объединенная Европа. Более того, он считал, что национализм и либерализм являются теми ценностями, которые мир отождествлял с Францией, и что венская система, подавляя их, тем самым пыталась обуздать его честолюбивые устремления. Бисмарк с возмущением относился к результатам трудов Меттерниха, поскольку они обрекали Пруссию на роль младшего партнера Австрии в Германской конфедерации, а он был убежден в том, что конфедерация, сохраняя так много мелких германских правителей, тем самым сковывала Пруссию. Если Пруссия собиралась реализовать свое предназначение и объединить Германию, то венская система должна была быть разрушена.

Разделяя общее презрение к установленному порядку, эти два революционера, тем не менее, в итоге оказались на диаметрально противоположных полюсах по уровню достигнутого. Наполеон получил противоположное тому, что он поставил своей целью осуществить. Воображая себя разрушителем венского переустройства мира и вдохновителем европейского национализма, он вверг европейскую дипломатию в состояние пертурбаций, из чего Франция не почерпнула ничего в долгосрочном плане, а другие страны, напротив, выиграли. Наполеон сделал возможным объединение Италии и непреднамеренно способствовал объединению Германии, оба эти события геополитически ослабили Францию и подорвали историческую основу господствующего французского влияния в Центральной Европе. Воспрепятствовать каждому из этих событий было не в силах Франции, и все же непоследовательная политика Наполеона в значительной степени способствовала ускорению этого процесса, одновременно ослабляя возможность для Франции сформировать новый международный порядок, соответствующий ее долгосрочным интересам. Наполеон пытался взломать венскую систему, считая, что она изолирует Францию – до определенной степени это соответствовало действительности, – и все же к тому времени, когда завершилось его правление в 1870 году, Франция была более изолированной, чем в период правления Меттерниха.

Наследие Бисмарка было совершенно иным. Немногие государственные деятели сумели настолько изменить ход истории. Прежде чем Бисмарк пришел к власти, предполагалось, что германское единство будет достигнуто посредством какой-либо формы парламентского, конституционного правления, ставшего следствием революции 1848 года. Через пять лет Бисмарк уже уверенно шел по пути решения проблемы германского объединения, которая ставила в тупик три поколения немцев, но ему это удалось сделать на основе превосходства прусской силы, а не путем демократического конституционализма. Решение Бисмарка никогда не имело под собой сколько-нибудь существенной поддержки со стороны общественности. Новая Германия, будучи слишком демократичной для консерваторов, слишком авторитарной для либералов, слишком ориентированной на силу для легитимистов, была скроена для гения, который предложил направлять выпущенные им на свободу силы, как внутри страны, так и за ее пределами, путем манипуляции взаимными противоположностями – с этой задачей Бисмарк справился мастерски, но она оказалась не по плечу его преемникам.

При жизни Наполеон III получил прозвище «Сфинкс Тюильри», поскольку, как полагали, он вынашивает широкомасштабные и блестящие замыслы, природу которых никто не был в состоянии раскрыть, пока они сами постепенно не раскрывались. Считалось, что он загадочно умен, поскольку сумел покончить с дипломатической изоляцией Франции под воздействием венской системы и дать толчок развалу Священного союза при помощи Крымской войны. И только один европейский лидер, Отто фон Бисмарк, видел его насквозь с самого начала. В 1850-е годы он так язвительно оценивал Наполеона: «Его ум переоценивается за счет его сентиментальности».

Как и его дядю, Наполеона III мучило отсутствие законных оснований на престол. Он считал себя революционером, но жаждал, чтобы его признали законные короли Европы. Разумеется, если бы Священный союз придерживался своих первоначальных установок, он бы попытался уничтожить республиканские институты, которые в 1848 году заменили правление французских королей. Кровавые эксцессы Французской революции еще были живы в памяти, как и тот факт, что иностранная интервенция во Франции развязала натиск французских революционных армий на страны Европы в 1792 году. В то же самое время аналогичный страх перед иностранной интервенцией заставил республиканскую Францию с осторожностью отнестись к экспорту своей революции. Несмотря на тупиковую ситуацию из-за всяких запретов, консервативные державы неохотно, но согласились признать республиканскую Францию, которой вначале правил поэт и государственный деятель Альфонс де Ламартин, а потом уже Наполеон

в качестве избранного президента. И, наконец, снова Наполеон, но уже «Третий» в качестве императора, с 1852 года, после того, как он в декабре 1851 года осуществил переворот с целью устранить конституционный запрет на свое переизбрание.

Стоило Наполеону III провозгласить Вторую империю, как со всей остротой встал вопрос о признании. На этот раз речь шла о том, надо ли признавать Наполеона как императора, поскольку одним из конкретных условий венского урегулирования был специально объявленный запрет династии Бонапартов занимать французский трон. Австрия была первой, кто признал то, что уже нельзя было изменить. Австрийский посол в Париже барон Хюбнер докладывал о характерно циничных комментариях своего шефа, князя Шварценберга, датированных 31 декабря 1851 года, которые подвели черту под эрой Меттерниха: «Дни принципов миновали»¹²⁷.

Следующей серьезной заботой Наполеона был вопрос, станут ли прочие монархи пользоваться по отношению к нему обращением «брат», применяемым в переписке друг с другом, либо придумают более низкую форму. В конце концов, австрийский и прусский монархи пошли навстречу пожеланию Наполеона III, хотя царь Николай I остался непреклонен и отказывался идти далее обращения «друг». С учетом царской точки зрения на революционеров вообще, он и так, без сомнения, полагал, что воздал Наполеону III должное сверх всякой меры. Хюбнер отмечает чувство ущербности, царившее в Тюильри:

«Там чувствовали, что их презирают старые континентальные дворы. Этот червь все время подтачивает сердце императора Наполеона»¹²⁸.

Независимо от того, были ли эти оскорбления реальными или воображаемыми, они свидетельствовали о пропасти между Наполеоном III и другими европейскими монархами, которая и была одной из психологических причин безрассудных и неумных нападков на европейскую дипломатию.

Ирония судьбы, связанная с Наполеоном III, заключалась в том, что он гораздо больше годился для проведения внутренней политики, хотя она, по правде говоря, была ему скучна, чем для заграничных авантур, для которых ему не доставало решительности и проницательности. Когда же он позволял себе короткую передышку от взятой на себя революционной миссии, ему удавалось сделать значительный вклад в развитие Франции. Он осуществил во Франции промышленную революцию. Его поддержка крупных кредитных учреждений сыграла решающую роль в экономическом развитии Франции. И он перестроил Париж, придав ему грандиозный современный вид. В самом начале XIX века Париж все еще был средневековым городом с узенькими, извилистыми улочками. Наполеон наделил своего ближайшего советника барона Османа полномочиями и средствами для создания современного города с широкими бульварами, огромными общественными зданиями и потрясающими перспективами. Тот факт, что одной из целей широких проспектов было обеспечение большого сектора обстрела, чтобы помешать революциям, не принижал великолепия и прочного постоянства этого достижения.

Однако внешняя политика была страстью Наполеона III, и в ней он оказался во власти разрывающих его на части чувств. С одной стороны, он понимал, что никогда не обретет желанной легитимности, поскольку легитимность дается монарху от рождения и не может быть приобретенной. С другой стороны, он не слишком-то и хотел войти в историю как легитимист. Он бывал итальянским карбонарием (борцом за независимость) и считал себя защитником принципа национального самоопределения. В то же время был не склонен идти

¹²⁷ Joseph Alexander, Graf von Hubner. *Neun Jahre der Erinnerungen eines osterreichischen Botschafters in Paris unter dem zweiten Kaiserreich, 1851–1859* (Хюбнер Йозеф Александр фон, граф. *Воспоминания о девяти годах работы в австрийском посольстве в Париже во времена Второй империи, 1851–1859 годы*). (Berlin, 1904) vol. I, p. 109.

¹²⁸ Там же. С. 93.

на большие риски. Конечной целью Наполеона III было упразднение территориальных статей договоренностей, достигнутых на Венском конгрессе, и изменение государственной системы, на основе которой действовали эти статьи. Но он никогда не понимал того, что достижение этой цели завершится объединением Германии, что навсегда положит конец французским устремлениям на господство в Центральной Европе.

Непостоянство его политики было, таким образом, отражением двойственности его натуры. Не доверяя «братьям» монархам, Наполеон был вынужден полагаться на общественное мнение, и его политика делала зигзаги в зависимости от того, что он считал на данный момент нужным для сохранения своей популярности. В 1857 году вездесущий барон Хюбнер написал австрийскому императору:

«В его [Наполеона] глазах внешняя политика это всего лишь инструмент, который он использует, чтобы сохранять свою власть во Франции, легитимизировать свой трон и основать свою династию.

... [Он] не побрезгует никакими мерами, никакой комбинацией, если это делало его популярным на родине»¹²⁹.

На этом фоне Наполеон III стал пленником кризисов, которые сам же и организовал, потому что у него отсутствовал внутренний компас, позволяющий двигаться по избранному курсу. Временами он будет способствовать возникновению какого-нибудь кризиса – сегодня в Италии, потом в Польше, позднее в Германии – и все для того, чтобы отступить перед неизбежными последствиями. Он обладал амбициями своего дяди, но не его наглостью, гениальностью или, по существу, его первобытной мощью. Он поддерживал итальянский национализм до тех пор, пока тот не выходил за пределы Северной Италии, и выступал в защиту польской независимости, пока это не влекло за собой риск возникновения войны. Что касается Германии, то он просто не знал, на какую сторону ставить. Ожидая, что борьба между Австрией и Пруссией окажется продолжительной, Наполеон сделал себя посмешищем, попросив Пруссию, победителя, предоставить ему компенсацию по окончании схватки за свою собственную неспособность угадать победителя.

Стилю Наполеона III более всего соответствовал бы такой европейский конгресс, который мог бы перечертить карту Европы, поскольку там он смог бы блистать с минимальным для себя риском. Не было у Наполеона III и ясного представления даже о том, как именно ему хотелось бы изменить границы. В любом случае, никакая другая великая держава не собиралась устраивать подобный форум для удовлетворения его внутренних потребностей. Ни одна страна не согласится изменить собственные границы – да еще с ущербом для себя – без какой-то непреодолимой надобности. Случилось так, что единственный конгресс, на котором председательствовал Наполеон III – Парижский конгресс, собранный для завершения Крымской войны, – не переключил карту Европы. Он лишь закрепил то, что было достигнуто в ходе войны. России было запрещено держать военно-морской флот на Черном море, что лишало ее оборонительных возможностей на случай нового британского нападения. России также пришлось вернуть Турции Бессарабию и территорию Карса на восточном побережье Черного моря. В дополнение к этому царь вынужден был отозвать свое требование быть защитником оттоманских христиан, что и явилось непосредственной причиной войны. Парижский конгресс символизировал распад Священного союза, но ни один из его участников не был готов произвести пересмотр карты Европы.

Наполеон III так и не преуспел в созыве еще одного конгресса для перекройки карты Европы по одной основной причине, на которую указал ему британский посол лорд Кларендон:

¹²⁹ Хюбнер – Францу-Иосифу, 23 сентября 1857 года, в: Хюбнер. *Воспоминания*. Т. II. С. 31.

страна, которая ищет великих перемен и у которой отсутствует готовность идти на столь же великий риск, обрекает себя на бесплодное существование.

«Я вижу, что идея европейского конгресса зародилась в голове у императора, а вместе с нею и *arrondissement* (пересмотр) французской границы, упразднение устаревших трактатов и прочие *remaniements* (изменения), которые могли бы быть сочтены необходимыми. Я наскоро составил огромный перечень опасностей и затруднений, к которым приведет подобный конгресс, если его решения не будут единогласными, что вполне было возможно, причем одна или две наиболее сильные державы могли бы решиться на войну, чтобы получить желаемое»¹³⁰.

Пальмерстон как-то обобщил государственную деятельность Наполеона III в таких словах: «...идеи рождаются у него в голове, как кролики в клетке»¹³¹. Беда в том, что эти идеи не имели никакого отношения ни к одной главенствующей концепции. В хаосе, который породил развал системы Меттерниха, Франция имела два стратегических варианта. Она могла проводить политику Ришелье и стремиться сохранить Центральную Европу расколотовой. Этот вариант вынуждал Наполеона III, по крайней мере, в пределах Германии, подчинить собственные революционные убеждения полезности сохранения существующих легитимных правителей, готовых поддерживать раздробленность Центральной Европы. Либо Наполеон III мог бы возглавить республиканский крестовый поход, как это сделал его дядя, в расчете на то, что Франция получит тем самым благодарность националистов и, возможно, даже политическое руководство Европой.

К несчастью для Франции, Наполеон III последовал и той, и другой стратегии одновременно. Будучи защитником национального самоопределения, он, казалось, не замечал геополитического риска, который эта позиция несет для Франции в Центральной Европе. Он поддержал польскую революцию, но отступил, столкнувшись с ее последствиями. Выступал и против венского урегулирования, считая его оскорбительным для Франции, не поняв, что венский мировой порядок был наилучшей гарантией безопасности также и для Франции.

Дело в том, что Германская конфедерация задумывалась как некое образование только на случай отражения сокрушительной опасности извне. Государствам, входящим в ее состав, запрещалось объединяться в наступательных целях, и они никогда не были бы в состоянии договориться о наступательной стратегии – что и было продемонстрировано тем, что эта тема никогда не поднималась за все полувековое существование конфедерации. Граница Франции по Рейну, нерушимая до тех пор, пока действовало Венское соглашение, перестала быть безопасной через столетие с момента распада конфедерации, что произошло благодаря политике Наполеона III.

Наполеон III так никогда и не понял этот ключевой элемент безопасности Франции. Еще в момент начала австро-прусской войны в 1866 году – конфликта, покончившего с конфедерацией, – он написал австрийскому императору:

«Вынужден признать, что не без некоторого удовлетворения я наблюдаю за распадом Германской конфедерации, созданной исключительно против Франции»¹³².

Габсбург ответил, демонстрируя гораздо большее понимание ситуации: «...Германская конфедерация, созданная из сугубо оборонительных соображений, никогда за все полвека сво-

¹³⁰ William E. Echard. *Napoleon III and the Concert of Europe* (Эжард Уильям Э. *Наполеон III и «Европейский концерт»*). (Baton Rouge, La: Louisiana State University Press, 1983), p. 72.

¹³¹ Там же. С. 2.

¹³² Наполеон III – Францу-Иосифу, 17 июня 1866 года, в: Hermann Oncken, ed. *Die Rheinpolitik Napoleons III* (Онкен Герман. *Рейнская политика Наполеона III*). (Berlin, 1926), vol. I, p. 280.

его существования не давала своим соседям повода для тревоги»¹³³. Альтернативой Германской конфедерации была уже не лоскутная Центральная Европа времен Ришелье, а объединенная Германия с населением, превышающим по численности Францию, и с промышленным потенциалом, который вскоре превзойдет французский. Нападая на венское урегулирование, Наполеон III превращал оборонительное препятствие в потенциальную наступательную угрозу французской безопасности.

Испытанием для государственного деятеля является способность выявить в вихре тактических решений подлинные долгосрочные интересы своей страны и разработать соответствующую стратегию их обеспечения. Наполеон III мог наслаждаться шумными похвалами в адрес его мудрой тактики во время Крымской войны (чему в немалой степени способствовала австрийская близорукость) и обольщаться многочисленными дипломатическими возможностями, открывшимися перед ним. В интересах Франции было бы находиться как можно ближе к Австрии и Великобритании, двум странам, которые более всего были в состоянии сохранить территориальное устройство Центральной Европы.

Политика императора, однако, в значительной степени была преимущественно специфически своеобразна, на ней сказывалась и подвижность его характера. Будучи Бонапартом, он никогда не чувствовал себя в своей тарелке, сотрудничая с Австрией, что бы ни диктовали ему высшие интересы государства. В 1858 году Наполеон III сказал одному пьемонтскому дипломату: «Австрия это комод, к которому я испытывал и всегда испытываю живейшее отвращение»¹³⁴. Его склонность к революционным прожектам побудила его вступить в войну с Австрией по поводу Италии в 1859 году. Наполеон III отстранился от Великобритании, аннексировав Савойю и Ниццу на исходе войны, равно как и бесконечными предложениями созыва европейского конгресса для перекройки границ в Европе. В завершение собственной изоляции, Наполеон III пожертвовал возможностью союза Франции с Россией, поддержав польскую революцию 1863 года. Доведя европейскую дипломатию до стадии непрерывного брожения под знаменем национального самоопределения, Наполеон III внезапно обнаружил, что остался в одиночестве, причем именно в тот момент, когда в результате вызванного им же самим переполоха материализовалась германская нация, чтобы положить конец французскому превосходству в Европе.

Свой первый шаг после Крымской войны император сделал в 1859 году в Италии, через три года после Парижского конгресса. Никто не ожидал, что Наполеон III вспомнит мечты юности и бросится освобождать Северную Италию от австрийского господства. От подобной авантюры Франция мало что могла выиграть. В случае удачи возникло бы государство, достаточно сильное, чтобы блокировать традиционный путь французских вторжений; а при неудаче унижение было бы усугублено неопределенностью цели. Так или иначе, само присутствие французских войск в Италии беспокоило бы Европу.

Исходя из всего этого, британский посол лорд Генри Каули был убежден, что французская война в Италии вне пределов вероятности. «Не в его интересах затевать какую-то войну, – приводил Хюбнер слова Каули. – Союз с Англией, хотя в данный момент и поколебленный на какое-то время, но все же потенциально существующий, остается основой политики Наполеона III»¹³⁵. Через каких-то три десятилетия Хюбнер будет вынужден предложить такие мысли:

¹³³ Франц-Иосиф – Наполеону III, 24 июня 1866 года, в: *Там же*. С. 284.

¹³⁴ Цитируется в: Тэйлор. *Борьба за главенство*. С. 102.

¹³⁵ Хюбнер – Фердинанду Буолу, 9 апреля 1858 года, в: Хюбнер. *Воспоминания*. Т. II. С. 82.

«Мы с большим трудом могли представить, что этот человек, добившийся высших почестей, если он не безумец или одержимый безумием игрок, мог всерьез решиться, не имея на то понятных мотивов, присоединиться к очередной аванюре»¹³⁶.

И все же Наполеон удивил всех дипломатов, за исключением своего заклятого врага Бисмарка, который предсказывал войну Франции против Австрии и действительно рассчитывал на нее как на средство ослабления позиций Австрии в Германии.

В июле 1858 года Наполеон достиг секретной договоренности с Камилло Бенсо ди Кавуром, премьер-министром Пьемонта (Сардинии), сильнейшего из итальянских государств, о сотрудничестве в войне против Австрии. Это был чисто макиавеллистский ход, в результате которого Кавур объединял бы Северную Италию, а Наполеон III получал бы в награду от Пьемонта Ниццу и Савойю. К маю 1859 года был найден подходящий предлог. Австрия, которая никогда не обладала крепкими нервами, позволила спровоцировать себя бесконечными вызывающими действиями Пьемонта и объявила войну. Наполеон III объявил во всеуслышание, что это равносильно объявлению войны Франции, и бросил свои силы в Италию.

Как ни странно, но когда во времена Наполеона III французы говорили о консолидации национальных государств как о вехе будущего, они в первую очередь думали об Италии, а не о гораздо более сильной Германии. Французы испытывали симпатию к Италии и имели с ней культурное родство, чего абсолютно не ощущалось по отношению к зловещему восточному соседу. В дополнение к этому мощный экономический бум, который должен был вывести Германию на передовые рубежи среди европейских держав, еще только начинался; отсюда далеко еще не очевидно было, что Италия окажется менее сильной, чем Германия. Осторожность Пруссии во время Крымской войны подкрепляла точку зрения Наполеона III о том, что Пруссия является самой слабой из великих держав и не способна на мощное выступление без поддержки России. Таким образом, по мнению Наполеона III, итальянская война, ослабив Австрию, уменьшила бы могущество наиболее опасного германского противника Франции и укрепила бы значимость Франции в Италии – грубейший просчет по обоим пунктам.

Наполеон III сохранял две взаимоисключающие друг друга возможности. В лучшем случае Наполеон III мог разыграть из себя государственного деятеля европейского плана: Северная Италия сбросит с себя австрийское иго, а европейские державы соберутся на конгресс под покровительством Наполеона III и согласятся на крупномасштабные территориальные изменения, которых он не сумел добиться на Парижском конгрессе. В худшем случае война могла зайти в тупик, и тогда Наполеон III смог бы сыграть роль макиавеллиевского манипулятора принципом превосходства государственных интересов, получив какие-то выгоды от Австрии за счет Пьемонта в обмен на прекращение войны.

Наполеон III преследовал обе эти цели одновременно. Французские армии одержали победы при Мадженте и Сольферино, но вызвали сильнейшую волну антифранцузских настроений в Германии. Одно время даже казалось, что малые германские государства, боясь нового наполеоновского удара, вынудят Пруссию вмешаться в войну на стороне Австрии. Потрясенный этим первым проявлением германского национализма и расстроенный посещением поля боя под Сольферино, Наполеон III заключил перемирие с Австрией в Виллафранка 11 июля 1859 года, не уведомив об этом своих пьемонтских союзников.

Наполеону III не только не удалось добиться ни одной из поставленных перед собой целей, он даже серьезно ослабил позиции своей страны на международной арене. С той поры итальянские националисты довели когда-то исповедуемые им принципы до такого предела, о котором он не мог даже помыслить. Цель Наполеона III создать сателлитное государство среднего размера на территории Италии, поделенной, возможно, на пять государств, вызы-

¹³⁶ Там же. С. 93.

вала раздражение у Пьемонта, который вовсе не собирался отказываться от своего национального призвания. Австрия столь же решительно настаивала на удержании Венеции, сколь упорно Наполеон III требовал вернуть ее Италии, создавая тем самым очередной неразрешимый спор, не представляющий никаких жизненно важных для Франции интересов. Великобритания истолковала аннексию Савойи и Ниццы как начало нового этапа Наполеоновских завоеваний и отвергала все французские инициативы по реализации наполеоновской страсти к созыву европейского конгресса. Одновременно с этим немецкий национализм видел в европейских пертурбациях открытые возможности для продвижения своих собственных чаяний в отношении национального объединения.

Поведение Наполеона III во время польского восстания 1863 года завело его еще дальше по пути к изоляции. Возрождая к жизни бонапартистскую традицию дружбы с Польшей, Наполеон III поначалу склонял Россию сделать определенные уступки своим взбунтовавшимся подданным. Но царь не пожелал даже обсуждать подобное предложение. После этого Наполеон III попытался организовать совместное выступление с участием Великобритании, но Пальмерстон с опаской относился к неумемному французскому императору. Наконец, Наполеон обратился к Австрии с предложением отдать польские провинции еще не образованному польскому государству, а Венецию Италии, прося в обмен компенсацию в Силезии и на Балканах. Эта идея ничем не привлекла Австрию, которую заставляли рисковать войной с Пруссией и Россией ради сомнительного удовольствия увидеть, как у ее границ возникает государство-сателлит Франции.

Легкомыслие является дорогим удовольствием для государственного деятеля, и за это рано или поздно приходится платить. Действия, предпринимаемые под влиянием настроения в данный момент и не согласующиеся с общей стратегией, не могут продолжаться до бесконечности. Франция при Наполеоне III лишилась возможности влиять на внутреннее устройство Германии, что являлось основой французской политики со времен Ришелье. Но если Ришелье понимал, что слабая Центральная Европа является ключом к безопасности Франции, то политика Наполеона, стимулом для которой была жажда славы, была сосредоточена на периферии Европы, единственном месте, где можно было осуществить приобретения с минимальным риском. И когда центр тяжести европейской политики сместился в сторону Германии, Франция оказалась в одиночестве.

Зловещее событие произошло в 1864 году. Впервые со времен Венского конгресса Австрия и Пруссия совместно нарушили покой Центральной Европы, начав войну за германское дело против негерманского государства. Непосредственным поводом стало будущее расположенных вдоль Эльбы герцогств Шлезвиг и Гольштиния, династически связанных с датской короной и одновременно являвшихся членами Германской конфедерации. Смерть датского правителя повлекла за собой столь запутанное сочетание политических, династических и национальных проблем, что Пальмерстон был вынужден язвительно заметить: только трое могут разобраться в этом: один уже мертв, второй находится в сумасшедшем доме, а он сам и есть этот третий, но он забыл, в чем тут дело.

Суть спора была гораздо менее важна, чем сам факт коалиции двух основных германских государств, объявивших войну крохотной Дании с тем, чтобы освободить две исконные германские территории, связанные с датской короной. Оказалось, что в конечном счете Германия способна на наступательные действия, и что в случае если механизм конфедерации окажется чересчур неповоротливым, то обе германские сверхдержавы могут просто ее проигнорировать.

Согласно традициям венской системы, в подобном случае великие державы должны были бы созвать конгресс, чтобы восстановить *status-quo ante*, соответствие ранее существовавшему положению. Но Европа была в смятении, в первую очередь вследствие действий французского императора. Россия не была готова выступить против двух стран, самоустранившихся, когда она подавляла польское восстание. Великобритания испытывала беспокойство в связи с напа-

дением на Данию, но для вмешательства ей требовалось наличие союзника на континенте, а Франция, единственный подходящий партнер, внушала мало доверия.

История, идеология и принцип *raison d'état* должны были предостеречь Наполеона III, что события вскоре станут развиваться по своей собственной воле. И все же он метался между следованием принципам традиционной внешней политики Франции, заключавшимся в том, что Германия должна оставаться разделенной, и поддержкой принципа национального определения, вдохновлявшего его в молодости. Французский министр иностранных дел Друэн-де-Люис писал французскому послу в Лондоне Латуру д'Оверню:

«С одной стороны, перед нами права страны, которой мы долгое время сочувствуем, а с другой, мы видим чаяния германского населения, которые мы в равной степени должны принимать во внимание, в этой ситуации мы вынуждены действовать с большей степенью осмотрительности, чем это делает Англия»¹³⁷.

Ответственность государственного деятеля состоит, однако, в том, чтобы разрешать сложные ситуации, а не делать какие-то предположения. Для руководителей, неспособных избрать одну из альтернатив, осмотрительность становится неким оправданием бездействия. Наполеон III убедил себя в мудрости бездействия, предоставив Пруссии и Австрии возможность решать будущее герцогств на Эльбе. Те же отторгли Шлезвиг и Голштинию от Дании и совместно оккупировали оба герцогства, в то время как остальная Европа пребывала в положении наблюдателя – решение, которое было бы немыслимо во времена действия системы Меттерниха. Кошмар Франции в связи с германским единством приближался, это было тем, от чего Наполеон III пытался уклониться в течение десятилетия.

Бисмарк не собирался ни с кем делить лидерство Германии. Он превратил совместную войну за Шлезвиг-Голштинию в очередной ляп из серии бесчисленных грубых просчетов Австрии, которые в течение десятилетия знаменовали разрушение ее положения как великой державы. Причина всех этих бед была всегда одна и та же – умиротворение Австрией самозванного противника предложением с ним сотрудничать. Стратегия умиротворения подействовала на Пруссию не больше, чем десятилетием ранее, во время Крымской войны, на Францию. Не приведя к освобождению Австрии от прусского давления, совместная победа над Данией создала новый и весьма неблагоприятный плацдарм для преследований. Теперь Австрии предстояло управлять герцогствами на Эльбе вместе со своим прусским союзником, чей премьер-министр Бисмарк уже давно был полон решимости использовать возможность для долгожданного противостояния на территории, удаленной на сотни километров от австрийских земель и граничащей с основными прусскими владениями.

По мере роста напряженности двойственность поведения Наполеона III обозначилась все очевидней. Он опасался объединения Германии, но с сочувствием относился к германскому национализму и страшно возбуждался, пытаясь разрешить эту неразрешимую дилемму. Он считал Пруссию самым подлинно германским национальным государством и писал в 1860 году, что:

«Пруссия персонифицирует сущность немецкой нации, религиозную реформу, коммерческий прогресс, либеральный конституционализм. Крупнейшая из истинно германских монархий, она обладает большей свободой совести, просвещенностью, предоставляет больше политических прав, чем прочие германские государства»¹³⁸.

¹³⁷ Друэн-де-Люис Латуру д'Оверню, 10 июня 1864 года, в: *Origines Diplomatiques de la Guerre de 1870/71 (Дипломатические причины войны 1870/71 года)*. (Paris: Ministry of Foreign Affairs, 1910–30), vol. III, p. 203.

¹³⁸ Цитируется в: Wilfried Radewahn. “*Französische Aussenpolitik vor dem Krieg von 1870*” (Радеван Вильфрид. *Французская внешняя политика перед войной 1870 года*), в: Eberhard Kolb, ed. *Europa vor dem Krieg von 1870* (Кольб Уерхард. *Европа перед*

Бисмарк подписался бы под каждым его словом. Однако для Бисмарка подтверждение Наполеоном III уникальности положения Пруссии было ключом к неизбежному прусскому триумфу. В конце концов, столь явное восхищение Наполеоном III Пруссией стало очередным оправданием его бездействия. Оправдывая нерешительность как чрезвычайно умное маневрирование, Наполеон III фактически способствовал началу австро-прусской войны, отчасти потому, что был убежден в поражении Пруссии. Он сказал своему тогдашнему министру иностранных дел Александру Валуевскому в декабре 1865 года: «Поверьте мне, дорогой друг, война между Австрией и Пруссией представляет собой один из благословенных случаев, которые смогут принести нам более чем одно преимущество»¹³⁹. Любопытно, Наполеон III, поощряя скатывание к войне, похоже, никогда не задавался вопросом, почему Бисмарк до такой степени преисполнен решимости вступить в войну, коль скоро Пруссия, скорее всего, обречена на поражение.

За четыре месяца до начала австро-прусской войны Наполеон III перешел от молчаливого подстрекательства к явному. На деле подталкивая к войне, он сказал прусскому послу в Париже графу фон дер Гольцу в феврале 1866 года:

«Прошу вас передать королю [Пруссии], что он всегда может рассчитывать на мое дружеское к нему отношение. В случае конфликта между Пруссией и Австрией я буду придерживаться абсолютнейшего нейтралитета. Я желаю объединения герцогств [Шлезвиг-Гольштейн] с Пруссией. ... В случае если борьба приобретет непредвиденные ныне масштабы, я убежден, что смогу всегда достичь взаимопонимания с Пруссией, чьи интересы по множеству вопросов идентичны с интересами Франции, в то время как я не вижу ни единого пункта, по которому я мог бы прийти к согласию с Австрией»¹⁴⁰.

Что же на самом деле хотел Наполеон III? Неужели он действительно был убежден в наличии тупиковой ситуации, усиливавшей его положение на переговорах? Он явно надеялся на какую-нибудь уступку со стороны Пруссии в обмен на нейтралитет. Бисмарк понял эту игру. На случай, если Наполеон III сохранит нейтралитет, он предложил благосклонно отнестись к захвату Францией Бельгии, что сулило дополнительные выгоды в виде втягивания Франции в ссору с Великобританией. Наполеон III, возможно, не принял это предложение всерьез, поскольку ожидал поражения Пруссии; его шаги были направлены скорее в сторону удержания Пруссии на пути к войне, чем в направлении переговоров о будущих выгодах. Через несколько лет после этого граф Арман, главный помощник французского министра иностранных дел, признавал:

«Нас в министерстве иностранных дел беспокоило только то, что разгром и унижение Пруссии достигнут слишком больших масштабов, и мы были полны решимости предотвратить это путем своевременного вмешательства. Император хотел, чтобы Пруссия потерпела поражение, потом он бы вмешался и построил Германию согласно своим собственным фантазиям»¹⁴¹.

Наполеон III намеревался приспособить интриги Ришелье к текущему времени. Ожидалось, что Пруссия предложит Франции компенсацию на западе за спасение от поражения, Венеция будет отдана Италии, а результатом нового переустройства Германии станет созда-

войной 1870 года) (Munich, 1983), p. 38.

¹³⁹ Цитируется в: Wilfried Radewahn. *Die Pariser Presse und die Deutsche Frage* (Радеван Вильфрид. *Парижская пресса и германский вопрос*). (Frankfurt, 1977), p. 104.

¹⁴⁰ Гольц – Бисмарку, 17 февраля 1866 года, относительно беседы с Наполеоном III, в: *Рейнская политика*. Т. I. С. 90.

¹⁴¹ Цитируется в: Радеван. *Парижская пресса*. С. 110.

ние Северо-Германской конфедерации под эгидой Пруссии и поддерживаемой Францией и Австрией группы южногерманских государств. В этой схеме неверным было только одно: если кардинал знал, как определять соотношение сил, и был готов отстаивать собственные суждения, то Наполеон III не был готов ни к тому, ни к другому.

Наполеон III все тянул, надеясь на то, что сам ход событий приведет к осуществлению его сокровеннейших чаяний без всякого риска. При этом он использовал свой стандартный набор, состоящий из созыва европейского конгресса для предотвращения угрозы войны. Реакция на тот момент была тоже стандартной. Прочие державы, опасаясь планов Наполеона III, отказались в нем участвовать. Куда бы он ни обращался, его всюду поджидала все та же дилемма: он мог защищать *статус-кво*, лишь отказавшись от поддержки принципа национального самоопределения; либо он мог поддерживать ревизионизм и национализм и тем самым подвергнуть угрозе исторически сложившиеся национальные интересы Франции. Наполеон искал выход в намеках Пруссии относительно «компенсации», не уточняя, в чем конкретно они состоят, и это убеждало Бисмарка в том, что французский нейтралитет был вопросом цены, а не принципа. Гольц писал Бисмарку:

«Единственной трудностью в связи с общей позицией Пруссии, Франции и Италии на конгрессе император считает отсутствие компенсации, которая могла бы быть предложена Франции. Известно, что мы хотим; известно, что хочет Италия; но император не может сказать, что хочет Франция, а мы ему на этот счет ничего не можем предложить»¹⁴².

Великобритания обусловила участие в конгрессе предварительным согласием Франции на сохранение статус-кво. Вместо того чтобы ухватиться за эту возможность освящения существующей системы германских государств, значившей так много для французского лидерства и обеспечивавшей безопасность Франции, Наполеон III отступил, настаивая на том, что «для поддержания мира необходимо принимать во внимание национальные пристрастия и потребности»¹⁴³. Короче говоря, Наполеон III готов был пойти на риск австро-прусской войны и объединения Германии для того, чтобы добиться непонятных выгод в Италии, не оказывающих никакого влияния на французские подлинно национальные интересы, и каких-то приобретений в Западной Европе, которые он так и не удосужился назвать. Но в лице Бисмарка перед ним стоял мастер, настаивавший на реальной силе вещей и использующий в своих интересах косметические маневрирования, в которых Наполеон III так преуспел.

Среди французских руководителей были и те, кто понимал риски, на которые шел Наполеон III, и кто осознавал, что так называемая компенсация, на которую он нацелился, не заключает в себе ничего, что было бы связано с коренным интересом Франции. В блестящей речи от 3 мая 1866 года Адольф Тьер, убежденный республиканский оппонент Наполеона III, а позднее президент Франции, правильно предсказал, что Пруссия, судя по всему, станет ведущей силой в Германии:

«Мы еще увидим возврат империи Карла V, которая прежде имела своим центром Вену, а теперь будет иметь таковым Берлин, который будет намного ближе к нашей границе и станет оказывать на нее давление. ...Вы имеете полное право противостоять этой политике во имя интересов Франции, поскольку Франция слишком важна, чтобы подобная революция не стала ей серьезно угрожать. Когда она боролась два столетия... чтобы разрушить этот колосс, готова ли она наблюдать, как он возрождается у нее на глазах?»¹⁴⁴

¹⁴² Гольц – Бисмарку, 25 апреля 1866 года, в: Онкен. *Рейнская политика*. Т. I. С. 140.

¹⁴³ Цитируется Галейраном в письме Друэну от 7 мая 1866 года, в: *Дипломатические причины*. Т. IX. С. 47.

¹⁴⁴ Речь Тьера 3 мая 1866 года, в: Онкен. *Рейнская политика*. Т. I. С. 154 и сл.

Тьер утверждал, что вместо туманных рассуждений Наполеона III Франция должна принять четкую политику сопротивления Пруссии и привлечь в качестве предлога оборону независимости германских государств – старый рецепт Ришелье. Франция, по его заявлению, имела право противодействовать объединению Германии, «во-первых, во имя независимости германских государств... во-вторых, во имя собственной независимости и, наконец, во имя европейского баланса, который в интересах всех, в интересах мирового сообщества. ...Сегодня кое-кто пытается высмеять до предела термин «европейский баланс»... но что такое европейский баланс? Это – независимость Европы»¹⁴⁵.

Было уже почти слишком поздно предотвратить войну между Пруссией и Австрией, которая непоправимо изменила бы европейский баланс. С аналитической точки зрения Тьер был прав, но предпосылки для подобной политики должны были бы быть заложены десятилетием ранее. Даже в тот момент Бисмарк, возможно, отступил бы, если бы Франция выступила с серьезным предупреждением о недопущении поражения Австрии или ликвидации традиционно существовавших княжеств типа королевства Ганновер. Но Наполеон III отверг этот курс, так как рассчитывал на победу Австрии, а также на то, что ему удастся разрушить венское урегулирование и претворить в жизнь традицию Бонапарта без какого бы то ни было анализа исторически сложившихся французских национальных интересов. Через три дня он ответил Тьеру: «Я презираю договоры 1815 года, которые сегодня кое-кто хочет сделать единственной основой нашей политики»¹⁴⁶.

Немногим более месяца спустя после речи Тьера Пруссия и Австрия уже находились в состоянии войны. Вопреки всем ожиданиям Наполеона III Пруссия одержала быструю и решительную победу. Согласно правилам дипломатии Ришелье, Наполеон III обязан был бы оказать помощь побежденному и предотвратить явную победу Пруссии. Но, хотя он выдвинул к Рейну «наблюдательный» армейский корпус, он был в крайнем смятении. Бисмарк бросил Наполеону III подачку, отведя ему роль посредника в мирных переговорах, хотя этот ничего не значащий жест не мог скрыть того факта, что устройство германских дел все меньше зависит от Франции. Согласно Пражскому договору, заключенному в августе 1866 года, Австрия была вынуждена уйти из Германии. Два государства, Ганновер и Гессе-Кассель, принявшие во время войны сторону Австрии, были аннексированы Пруссией, наряду со Шлезвиг-Гольштейнией и вольным городом Франкфуртом. Сместив их правителей, Бисмарк дал четко понять, что Пруссия, некогда главная скрипка в Священном союзе, отказалась от легитимности как главенствующего принципа международного порядка.

Северо-германские государства, сохранившие свою независимость, были включены в новое детище Бисмарка: Северо-германский союз, подчиняющийся прусскому руководству во всем – от торгового законодательства до внешней политики. Южно-германские государства Бавария, Баден и Вюртемберг получили возможность сохранить свою независимость ценой договоров с Пруссией, согласно которым их вооруженные силы переходили под прусское военное руководство в случае войны с посторонней державой. Для объединения Германии нужен был всего один кризис.

Наполеон III своими маневрами загнал Францию в тупик, откуда выйти оказалось невозможно. Слишком поздно он попытался вступить в союз с Австрией, которую выставил из Италии при помощи военной силы, а из Германии – пойдя на нейтралитет. Но Австрия потеряла интерес к восстановлению каждой из этих утраченных позиций и предпочла сконцентрироваться, прежде всего, на превращении империи в двуединую монархию на базе Вены и Будапешта и затем – на владениях на Балканах. Великобритания была отставлена в сторону из-за

¹⁴⁵ Там же.

¹⁴⁶ Цитируется в: Тэйлор. *Борьба за главенство*. С. 163.

французских притязаний на Люксембург и Бельгию, а Россия так и не простила Наполеону III его поведение в связи с Польшей.

Теперь Франция вынуждена была только своими силами заниматься решением дел в связи с утратой своего исторического превосходства в Европе. Чем безнадежнее становилась ее позиция, тем отчаяннее Наполеон III пытался поправить положение каким-нибудь блестящим ходом, подобно азартному игроку, удваивающему ставку после каждого своего проигрыша. Бисмарк поощрял стремление Наполеона III к нейтралитету во время австро-прусской войны, помахивая перед его носом перспективой территориальных приобретений – вначале в Бельгии, а потом и в Люксембурге. Эти перспективы рассеивались как дым, как только Наполеон III пытался за них ухватиться, поскольку Наполеон III хотел, чтобы эту «компенсацию» ему поднесли на блюде, а Бисмарк не видел причины идти на риски, когда он уже пожинал плоды нерешительности Наполеона III.

Униженный из-за всех этих демонстраций собственного бессилия, а более всего растущим перевесом европейского баланса не в пользу Франции, Наполеон III решил получить компенсацию за просчет, связанный с тем, что он полагался на победу Австрии в австро-прусской войне, выпятив проблему наследования испанского трона, который к тому времени опустел. Он потребовал заверений от прусского короля, что ни один принц из династии Гогенцоллернов (правившей в Пруссии) не будет претендовать на этот престол. Это был еще один пустой жест, способный в лучшем случае принести успех престижного характера, но не имеющий никакого отношения к силовому соперничеству в Центральной Европе.

Никто не мог никогда переиграть Бисмарка в сфере постоянно меняющейся дипломатии. При помощи одного из своих самых ловких ходов Бисмарк воспользовался рисовкой Наполеона III, чтобы хитростью вынудить его объявить в 1870 году войну Пруссии. Французское требование к прусскому королю объявить об отказе любого из членов его семьи от претензий на испанскую корону было, по сути, провокационным. Но величественный старый король Вильгельм, вместо того чтобы выйти из себя, предпочел терпеливо и корректно давать отказ французскому послу, направленному для того, чтобы получить такое обещание. Король послал описание этой истории Бисмарку, тот отредактировал телеграмму монарха, изъяв из нее весь текст, свидетельствующий о терпимости короля и соблюдении всех правил приличия, с которыми король на самом деле отнесся к французскому послу¹⁴⁷. Бисмарк, значительно опередив свое время, прибег тогда к приему, который государственные деятели последующих поколений превратили в своего рода искусство: он обеспечил утечку в прессу текста этой так называемой «Эмской депеши». Отредактированная версия телеграммы короля выглядела как королевский выговор Франции. Взбешенная французская общественность потребовала войны, и Наполеон III пошел ей навстречу.

Пруссия победила быстро и решительно при содействии всех других германских государств. Теперь был открыт путь к окончательному объединению Германии, которое и было довольно бестактно объявлено прусским руководством 18 января 1871 года в Зеркальном зале Версальского дворца.

Наполеон III запустил революцию, к которой стремился, хотя ее последствия оказались совершенно противоположны тому, что он замыслил. Карта Европы действительно оказалась перекроена, но это новое переустройство бесповоротно снизило французское влияние, не принеся императору славы, которой он так жаждал.

Наполеон III поддерживал революцию, не понимая ее вероятных исходов. Неспособный учитывать соотношение сил и закладывать его как фактор достижения собственных долгосрочных целей, он не выдержал этого испытания. Его внешняя политика потерпела крах не от отсутствия у него идей, а оттого, что он оказался не способен навести порядок в своих много-

¹⁴⁷ Там же. С. 205–206.

численных устремлениях или четко соотносить их и реальности окружающей его обстановки. Стремясь быть на виду, Наполеон III никогда не руководствовался одной определенной политической линией. Вместо этого он беспорядочно гнался за самыми разнообразными целями, причем некоторые из них были весьма противоречивыми. Когда настал решающий кризис в его карьере, разнообразные его побуждения фактически нейтрализовали друг друга.

Наполеон III воспринимал систему Меттерниха как унижительную для Франции и ограничивающую его амбиции. Он преуспел в разрушении Священного союза, вбив клин между Австрией и Россией во время Крымской войны. Однако он не знал, что делать с собственным триумфом. С 1853 года до 1871 года сохранялся относительный хаос, пока шел процесс реорганизации европейского порядка. А когда этот период закончился, Германия вышла из него самой сильной державой континента. Легитимизм – принцип единства консервативных правителей, смягчавший жесткость системы баланса сил в годы политической деятельности Меттерниха, – превратился в ничего не значащий лозунг. И всем этим переменам способствовал лично Наполеон III. Переоценив могущество Франции, он поощрял любые передеряги, будучи убежденным в том, что он сможет обратить их во благо Франции.

В конечном счете международная политика стала базироваться на грубой силе. И в этом мире возникла внутренняя пропасть между представлением Франции о самой себе как о господствующей нации Европы и ее возможностями жить в соответствии с ними – пропасть, которая разрушает французскую политику и по сей день. Во времена правления Наполеона III подтверждением этому была неспособность императора добиться осуществления бесчисленных его предложений о созыве европейского конгресса для перекройки карты Европы. Наполеон III призывал к созыву конгресса после Крымской войны в 1856 году, перед началом войны в Италии в 1859 году, во время польского восстания в 1863 году, во время войны с Данией в 1864 году и перед началом австро-прусской войны в 1866 году. И все это время он стремился путем переговоров добиться пересмотра границ, которые он никогда точно не определял и ради которых он не был готов пойти на риск объявления войны. Проблема Наполеона III состояла в том, что он не был достаточно сильным, чтобы настаивать на своем, и что его планы были настолько радикальными, чтобы их поддержали посредством консенсуса.

Склонность Франции к партнерству с такими странами, которые были бы готовы согласиться на ее лидерство, стало неизменным фактором французской внешней политики после Крымской войны. Будучи не в состоянии доминировать в союзе с Великобританией, Германией, Россией или Соединенными Штатами и считая для себя статус младшего партнера неприемлемым с точки зрения ее представлений о своем национальном величии и мессианской роли в мире, Франция искала лидерства в пактах с менее сильными державами. Речь шла о Сардинии, Румынии, срединных германских государствах в XIX веке, о Чехословакии, Югославии и Румынии уже в межвоенный период.

Аналогичный подход просматривается во французской внешней политике после де Голля. Столетие спустя после франко-прусской войны проблема более могущественной Германии продолжает оставаться кошмаром для Франции. Франция сделала смелый выбор в пользу дружбы со своим пугающим и вызывающим восхищение соседом. Тем не менее геополитическая логика предполагала, что Франция будет стремиться к тесным связям с Соединенными Штатами, хотя бы даже для того, чтобы создать многовариантность выбора. Однако французская гордость допустить этого не могла, заставляя Францию искать, иногда даже по-донкихотски, группировку – временами даже *любую* группу стран – для того, чтобы уравновесить Соединенные Штаты европейским консорциумом, даже ценой явного германского превосходства. В нынешние времена Франция периодически играла роль некоей парламентской оппозиции американскому лидерству, пытаясь превратить Европейское экономическое сообщество в альтернативного мирового лидера и активно поддерживая связи со странами, над которыми может, или полагает, что может, главенствовать.

С конца правления Наполеона III Франция больше не обладает властью, необходимой для распространения устремлений универсалистов, унаследованных ею от Великой французской революции, а также полем деятельности, которое стало бы адекватным местом для ее миссионерского рвения. На протяжении более чем столетия Франции было трудно согласиться с тем фактом, что созданные Ришелье объективные условия для преобладания исчезли, как только в Европе была достигнута национальная консолидация. Колючий стиль французской дипломатии в значительной части объясняется попытками руководителей этой страны увековечить ее роль как центра европейской политики в обстановке, абсолютно несоответствующей подобным устремлениям. Как ни парадоксально, но та самая страна, которая изобрела принцип приоритета государственных интересов, *raison d'état*, вынуждена была значительную часть нынешнего столетия заниматься попытками привести свои устремления в соответствие со своими возможностями.

Разрушение венской системы, начатое Наполеоном, было завершено Бисмарком. Бисмарк приобрел политическую известность как архиконсервативный противник либеральной революции 1848 года. Он также оказался первым руководителем, который ввел всеобщее избирательное право для мужчин, наряду с всеобъемлющей системой социального обеспечения, не имевшей себе равных в мире в течение последующих 60 лет. В 1848 году Бисмарк со всей решимостью боролся против предложения избранного парламента вручить императорскую германскую корону прусскому королю. Зато не прошло и двух десятилетий, как он же вручил императорскую корону прусскому королю в завершение процесса объединения Германии в знак протеста против либеральных принципов, а также исходя из возможностей Пруссии навязывать свою волю силой. Это потрясающее достижение заставило международный порядок вернуться к ничем не сдерживаемому соперничеству XVIII века. Но теперь это становилось намного более опасным делом из-за уровня промышленной технологии и способности мобилизовывать обширные национальные ресурсы. Исчезли разговоры о единстве коронованных глав государств или о гармонии среди старинных стран Европы. Под властью бисмарковской реальной политики, *Realpolitik*, внешняя политика превратилась в силовые состязания.

Свершения Бисмарка были так же неожиданны, как и сама его личность. Человек «крови и железа» писал прозу исключительной простоты и красоты, любил поэзию и записывал в своем дневнике целые страницы из Байрона. Государственный деятель, придерживавшийся принципов *Realpolitik*, обладал исключительным чувством меры, обращавшим силу в инструмент самоограничения.

Что такое революционер? Если бы ответ на этот вопрос не допускал двусмысленности, немногие революционеры сумели бы преуспеть. Следует иметь в виду, что революционеры почти всегда начинают с позиции слабой силы. Они добиваются успеха потому, что существующий порядок не в состоянии разобратся со своими собственными слабыми местами. Это особенно верно, когда революционный вызов проявляется не в виде приступа Бастилии, а облачается в консервативные одежды. Немногие институты способны защититься от тех, кто вызывает надежды на их сохранение.

Так обстояло дело с Отто фон Бисмарком. Его жизнь началась в годы расцвета системы Меттерниха, в мире, состоявшем из трех главнейших элементов: европейского баланса сил, внутригерманского равновесия между Австрией и Пруссией и системы союзов, основанных на единстве консервативных ценностей. В течение поколения после венского урегулирования уровень международной напряженности оставался низким, потому что все основные государства осознавали, что их интерес зависит от взаимного выживания, и потому что так называемые восточные дворы Пруссии, Австрии и России были связаны единой системой ценностей.

Бисмарк бросил вызов каждой из этих предпосылок¹⁴⁸. Он был убежден в том, что Пруссия стала самым сильным немецким государством и не нуждается в Священном союзе как связующем звене с Россией. С его точки зрения, таким звеном могли бы стать общие национальные интересы, а прусская реальная политика, *Realpolitik*, вполне способна заменить собой предпосылку в лице консервативного единства. Бисмарк рассматривал Австрию как противника общегерманской миссии Пруссии, а отнюдь не как партнера. Вопреки взглядам почти всех своих современников, за исключением, пожалуй, пьемонтского премьер-министра Кавура, Бисмарк трактовал беспокойную дипломатию Наполеона III как стратегическую возможность, а не как угрозу.

Когда Бисмарк в 1850 году выступил с речью с нападками на общепринятое мнение о том, что немецкое единство требует установления парламентских институтов, его консервативные сторонники вначале даже не сообразили, что услышанное ими является в первую очередь ударом по консервативным предпосылкам системы Меттерниха.

«Хорошая репутация Пруссии состоит вовсе не в том, чтобы мы разыгрывали по всей Германии роль Дон-Кихота ради раздосадованных парламентских знаменитостей, считающих, что их местным конституциям грозит опасность. Я же стремлюсь добиться высокой репутации Пруссии путем ее удержания от каких бы то ни было унижительных связей с демократией и недопущения того, чтобы в Германии что-то происходило без позволения Пруссии...»¹⁴⁹

Внешне наступление Бисмарка на либерализм представляло собой практическое применение философии Меттерниха. И все же оно содержало разительное различие в акцентах. Система Меттерниха основывалась на той предпосылке, что Пруссия и Австрия имеют общую приверженность к консервативным институтам и нуждаются друг в друге, чтобы нанести поражение либерально-демократическим тенденциям. Бисмарк же имел в виду, что Пруссия способна утверждать свои предпочтения в одностороннем порядке, что Пруссия может быть консервативной у себя дома, не связывая себя ни с Австрией, ни с каким-либо иным консервативным государством в области внешней политики, и что ей не нужны никакие союзы, чтобы справляться с внутренними беспорядками. В лице Бисмарка Габсбурги столкнулись с тем же вызовом, который составлял для них Ришелье, – политикой, далекой от любой системы ценностей, кроме славы собственного государства. И точно так же, как это было с Ришелье, Габсбурги не знали, что делать с этим или даже как понимать природу подобной политики.

Но как же должна была Пруссия проводить реальную политику, находясь в одиночестве в центре континента? С 1815 года ответом Пруссии служила ее приверженность Священному союзу практически любой ценой. Ответ Бисмарка был совершенно противоположным – создавать союзы и завязывать отношения с кем угодно, чтобы Пруссия всегда оказывалась ближе к любой из соперничающих сторон, чем они сами друг к другу. В таком случае позиция кажущейся изоляции позволяла Пруссии манипулировать обязательствами других держав и продавать свою поддержку тому, кто предложит большую цену.

По мнению Бисмарка, Пруссии было выгодно осуществлять такого рода политику, потому что ее основные внешнеполитические интересы лежали в области укреплений собственной позиции внутри Германии, другое ее волновало меньше всего. Любая другая держава имела гораздо более сложные внешние обязательства. К примеру, Великобритании приходилось беспокоиться не только о собственной империи, но и о всеобщем балансе сил; Россия одновременно оказывала давление на Восточную Европу, Азию и Османскую империю.

¹⁴⁸ Анализ политического мышления Бисмарка основывается на работе автора *The White Revolutionary: Reflections of Bismarck (Белый революционер: рассуждения о Бисмарке)*, в: *Daedalus*, vol. 97, no. 3 (Summer 1968), p. 888–924.

¹⁴⁹ Horst Kohl, ed. *Die Politischen Reden des Fürsten Bismarck, Historische-Kritische Gesamtausgabe* (Коль Хорст. *Политические речи князя Бисмарка. Историко-критическое издание*). (Stuttgart, 1892), vol. 1, p. 267–68.

Франция решала проблемы со своей вновь обретенной империей, связанными с Италией амбициями и авантюрой в Мексике. А Австрия занималась Италией и Балканами и еще своей ведущей ролью в Германской конфедерации. А поскольку политика Пруссии была сосредоточена на Германии, у нее действительно не было крупных разногласий с другими великими державами, за исключением Австрии, причем на той стадии развития событий разногласия эти преимущественно роились лишь в голове у Бисмарка. Если воспользоваться современным термином, то политика неприсоединения была бы функциональным эквивалентом политики Бисмарка, заключающейся в том, чтобы торговать сотрудничеством Пруссии на рынке, на котором условия диктует продавец из-за превышения спроса над предложением:

«Нынешняя ситуация вынуждает нас не торопиться связывать себя обязательствами раньше других держав. Мы не в состоянии формировать отношения великих держав друг с другом, как нам это нравится, но мы можем сохранять свободу действий, используя к собственной выгоде те отношения, которые уже сложились. ... Наши отношения с Австрией, Британией и Россией не создают никаких препятствий для сближения с любой из этих держав. Только наши отношения с Францией требуют пристального внимания с тем, чтобы мы сохраняли открытым вариант вступления в отношения с Францией так же легко, как и с другими державами...»¹⁵⁰

Намек на возможность сближения с бонапартистской Францией предполагал готовность отбросить в сторону вопросы идеологии – с тем, чтобы дать Пруссии свободу вступления в союз с любой страной (независимо от ее внутренних институтов), что могло бы продвинуть собственные интересы. Политика Бисмарка означала возврат к принципам Ришелье, который, хотя и был католическим кардиналом, выступал против католического императора Священной Римской империи, когда это диктовалось интересами Франции. Точно так же и Бисмарк, хотя и был консерватором по убеждениям, рвал со своими консервативными наставниками, как только представлялось, что их легитимистские принципы связывают свободу действий Пруссии.

Эти скрытые разногласия резко обострились, когда в 1856 году Бисмарк, будучи тогда прусским послом в Германской конфедерации, обнародовал свой взгляд на то, что Пруссии следует быть более обходительной с Наполеоном III, который в глазах прусских консерваторов являлся узурпатором прерогатив легитимного короля.

Выдвижение Наполеона III в качестве потенциального участника диалога с Пруссией было превыше понимания консервативного окружения Бисмарка, выдвинувшего его и поощрявшего его дипломатическую карьеру. Оно встретило новую философию Бисмарка с таким же возмущенным недоверием среди его прежних сторонников, с каким два столетия назад столкнулся Ришелье, когда выдвинул свой революционный для того времени тезис о приоритете высших интересов государства над религией. Оно было таким же, какое уже в наше время испытывал Ричард Никсон, когда объявил о политике разрядки по отношению к Советскому Союзу. Для консерваторов Наполеон III означал угрозу нового раунда французского экспансионизма и, что было гораздо важнее, символизировал подтверждение ненавистных принципов Французской революции.

Бисмарк не оспаривал консервативного анализа Наполеона III, точно так же, как и Никсон не бросал вызова консервативной интерпретации коммунистических мотивов. Бисмарк видел в беспокойном французском правителе, как и Никсон в дряхлеющем советском руководстве (смотри двадцать восьмую главу), и открывающиеся возможности, и явную опасность. Бисмарк полагал, что Пруссия менее уязвима, чем Австрия, применительно и к французскому экспансионизму, и к распространению революции. Не разделял Бисмарк и распространенное

¹⁵⁰ Otto von Bismarck. *Die gesammelten Werke* (Бисмарк Отто фон. *Собр. соч.*). (Berlin, 1924), vol. 2, p. 139ff.

мнение о коварстве Наполеона III, саркастически замечая, что способность восхищаться другими не принадлежит к числу его хорошо развитых свойств. Чем больше Австрия опасалась Наполеона III, тем больше уступок она должна была бы делать Пруссии, и тем значительнее становилась бы дипломатическая гибкость последней.

Причины разрыва Бисмарка с прусскими консерваторами были во многом схожи с теми, что были у Ришелье во время споров с его церковными критиками, при этом существенное отличие заключалось в том, что прусские консерваторы настаивали скорее на универсальных политических принципах, чем на универсальности религиозных принципов. Бисмарк утверждал, что сама по себе власть дает себе легитимность; консерваторы же настаивали на том, что легитимность представляет собой ценность, выходящую за рамки учета силы. Бисмарк верил в то, что правильная оценка силовых возможностей позволяет пользоваться на практике доктриной самоограничения; консерваторы же настаивали на том, что только моральные принципы могут в конечном счете ограничивать притязания со стороны силы.

Конфликт повлек за собой живой обмен письмами в конце 1850-х годов между Бисмарком и его старым наставником Леопольдом фон Герлахом, военным адъютантом прусского короля, которому Бисмарк был обязан всем – первым дипломатическим назначением, представлением ко двору, всей своей карьерой.

Переписка началась тогда, когда Бисмарк направил Герлаху рекомендации разработать для Пруссии дипломатическое решение в отношении Франции и приложил к ним сопроводительное письмо, где ставил практическую полезность превыше идеологии:

«Я не могу не прибегнуть к математической логике того факта, что нынешняя Австрия не может быть нашим другом. Пока Австрия не соглашается на четкое обозначение сфер влияния в Германии, мы должны предвидеть возможность возникновения соперничества с ней при помощи дипломатических средств и лжи в мирное время, с использованием любых возможностей, чтобы нанести ей последний смертельный удар милосердия»¹⁵¹.

Герлах, однако, никак не мог заставить себя согласиться с предложением по поводу того, что стратегическая выгода может оправдать отказ от принципа, особенно когда речь идет об одном из Бонапартов. Он настаивал на средстве, изобретенном Меттернихом, – Пруссия как можно прочнее объединяет Австрию и Россию и восстанавливает Священный союз, чтобы усилить изоляцию Франции¹⁵².

Еще более недоступным пониманию Герлаха оказалось другое предложение Бисмарка, сводившееся к тому, что следовало бы пригласить Наполеона III на маневры прусского армейского корпуса, поскольку «это доказательство наличия добрых отношений с Францией... увеличит наше влияние во всех дипломатических сношениях»¹⁵³.

Сама мысль о возможном участии одного из Бонапартов в прусских маневрах вызвала настоящий взрыв негодования у Герлаха: «Как такой умный человек, как Вы, может пожертвовать принципами ради такого человека, как Наполеон? Наполеон наш естественный враг»¹⁵⁴. Если бы Герлах увидел циничную бисмарковскую пометку на полях – «Ну и что?», – он, возможно, не стал бы тратить время на следующее письмо, в котором повторил свои антиреволюционные жизненные принципы, те же самые, которыми он руководствовался, поддерживая Священный союз и помогая Бисмарку на ранних стадиях его карьеры:

¹⁵¹ Briefwechsel des Generals von Gerlach mit dem Bundestags-Gesandten Otto von Bismarck (Переписка генерала фон Герлаха и посланника при союзном парламенте Отто фон Бисмарка). (Berlin, 1893), p. 315 (28 апреля 1856 года).

¹⁵² Otto Kohl, ed. *Briefe des Generals von Gerlach an Otto von Bismarck* (Коль Отто. Письма генерала Леопольда фон Герлаха Отто фон Бисмарку) (Stuttgart and Berlin, 1912), pp. 192–93.

¹⁵³ Переписка. С. 315.

¹⁵⁴ Коль. Письма. С. 206.

«Моим политическим принципом есть и пребудет война против революции. Вы не сможете убедить Бонапарта в том, что он не находится на стороне революции. И он сам не встанет ни на какую другую сторону, поскольку совершенно явно извлекает из этого выгоду. ... Так что, раз мой принцип противостояния революции верен... то им также следует руководствоваться на практике»¹⁵⁵.

И все же Бисмарк расходился с Герлахом не в силу непонимания, как предполагал сам Герлах, а как раз потому, что понимал его слишком хорошо. Реальная политика для Бисмарка зависела от ее гибкости и способности использовать любую доступную возможность без оглядки на идеологию. Точно так же, как поступали защитники Ришелье, Бисмарк перевел спор в плоскость того самого единого принципа, который они с Герлахом разделяли целиком и полностью и который поставил бы Герлаха в явно невыгодное положение, – принципа всеподавляющей важности прусского патриотизма. Настоятельные требования Герлаха блюсти единство консервативных интересов, по мнению Бисмарка, были несовместимы с патриотической лояльностью стране:

«Франция интересует меня настолько, насколько это влияет на положение моей страны, и мы можем вести внешнюю политику только с той Францией, какой она есть сегодня. ... Как романтик, я могу пролить слезу по поводу судьбы Генриха V (претендента на престол из династии Бурбонов). Как дипломат, я был бы его покорным слугой, если бы был французом. Но, судя по нынешнему положению вещей, Франция, независимо от того, кто, так или иначе, оказался во главе нее, является для меня обязательной пешкой на шахматной доске дипломатии, в которой у меня нет другого долга, как служить *моему* королю и *моей* стране [выделено Бисмарком]. И я не могу примирить личные симпатии и антипатии к иностранным державам с чувством долга в международных делах. Фактически же я вижу в них зародыш нелояльности к Государю и стране, которым я служу»¹⁵⁶.

Как должен был традиционный пруссак ответить на предположение о том, что прусский патриотизм превышает принципа легитимности, и о том, что, если того потребуют обстоятельства, вера целого поколения в единство консервативных интересов может оказаться на грани с нелояльностью? Бисмарк безжалостно перерезал все пути интеллектуального отступления, заранее отвергая возможную аргументацию Герлаха в том плане, что легитимизм как раз и *был* национальным интересом Пруссии и что именно поэтому Наполеон III был вечным врагом Пруссии:

«... Я мог бы это опровергнуть – но, даже если бы Вы были правы, я бы не считал политически мудрым позволять другим государствам знать о наших опасениях в мирное время. До того момента, когда случится предсказываемый вами разрыв, я считал бы полезным подкреплять веру в то... что напряженные отношения с Францией не являются естественным изъяном нашего характера...»¹⁵⁷

Иными словами, проведение реальной политики требовало тактической гибкости, а прусские национальные интересы требовали не закрывать возможность заключения сделки с Францией. Сила позиции страны на переговорах зависит от количества возможностей, которыми

¹⁵⁵ Там же. С. 211 (6 мая 1857 года).

¹⁵⁶ Переписка. С. 333–334.

¹⁵⁷ Там же.

она предполагает воспользоваться. Их закрытие облегчает расчеты противника и связывает тех, кто практикует *Realpolitik*.

Разрыв между Герлахом и Бисмарком стал окончательным в 1860 году по поводу отношения Пруссии к войне Франции с Австрией из-за Италии. Для Герлаха эта война устранила все сомнения в том, что истинной целью Наполеона III является подготовка плацдарма агрессии в стиле первого Бонапарта. В силу этого Герлах настаивал на том, что Пруссия должна поддерживать Австрию. Бисмарк же видел в этом открывающуюся возможность того, что, если Австрия будет вынуждена уйти из Италии, это также может послужить предвестником ее последующего ухода и из Германии. Для Бисмарка убеждения поколения Меттерниха превращались в опасный набор запретов:

«Я выстою или паду вместе со своим Государем, даже если, по моему личному мнению, он будет губить себя по-глупому. Но для меня Франция останется Францией, независимо от того, будет ли ею руководить Наполеон или Людовик Святой, и Австрия для меня всего лишь иностранная держава. ...Я знаю, что Вы ответите, что факт и право неразделимы, что правильно продуманная прусская политика требует чистоты в международных делах, даже с точки зрения полезности. Я готов обсуждать с Вами проблему полезности, но если Вы выдвигаете антиномии типа «право и революция», «христианство и неверие», «Бог и дьявол», я не стану более спорить и могу только сказать: «Я не разделяю Вашего мнения, и Вы не судите меня за то, что Вам недоступно для суждения»¹⁵⁸.

Эта горькая декларация принципов веры явилась функциональным эквивалентом утверждения Ришелье о том, что, коль скоро душа бессмертна, человек должен подчиниться суду Господнему, но государства в силу своей смертности могут быть судимы лишь по тому, что в них работает. Как и Ришелье, Бисмарк вовсе не отвергал моральные воззрения Герлаха как личные убеждения и верования – он, вероятно, сам разделял многие из них, но он отрицал наличие связи между ними и долгом государственного деятеля, проводя грань между личными убеждениями и *Realpolitik*.

«Я не искал королевской службы. ...Господь, который неожиданно меня туда поставил, возможно, скорее укажет мне выход оттуда, чем позволит моей душе погибнуть. Я бы переоценил ценность нынешней жизни, как ни странно... если бы не был убежден в том, что через 30 лет мне будет все равно, каких политических успехов добились я или моя страна в Европе. Я могу даже обдумать идею о том, что настанет день, когда «неверующие иезуиты» будут править в Бранденбургской марке¹⁵⁹ [сердцевине Пруссии], прибегая к бонапартистскому абсолютизму. ...Я дитя иного времени, чем Вы, но являюсь столь же честным приверженцем своего, как и вы своего»¹⁶⁰.

Это мрачное предчувствие судьбы Пруссии и через столетие так и не удостоилось ответа от человека, которому Бисмарк был обязан своей карьерой.

Бисмарк действительно был порождением иной эпохи в отличие от его первого наставника. Бисмарк принадлежал эре реальной политики, Герлах же сформировался во времена Меттерниха. Система Меттерниха отражала концепцию XVIII века, когда вселенная представлялась огромным часовым механизмом с идеально подогнанными друг к другу деталями, так,

¹⁵⁸ Там же. С. 353.

¹⁵⁹ *Маркграфство Бранденбург* – одно из наиболее значительных княжеств в Священной Римской империи, существовавшее с 1157 года вплоть до ликвидации империи в 1806 году. – *Прим. перев.*

¹⁶⁰ Там же.

что выход из строя одной означал расстройство взаимодействия всех прочих. Бисмарк представлял новую эру как в науке, так и в политике. Он воспринимал вселенную не как некий механический баланс, а в ее современной версии – как состоящую из частиц, находящихся в непрерывном движении и воздействии друг на друга, что и создает для нас реальность. А любимым его философско-биологическим учением была дарвиновская теория эволюции, основанная на принципе выживания наиболее приспособленных.

Находясь под воздействием подобных убеждений, Бисмарк провозглашал относительность *всех* верований, включая сюда даже веру в незыблемость существования своей собственной страны. В мире реальной политики долгом государственного деятеля было произвести оценку идей как сил, находящихся во взаимосвязи с другими силами, имеющими отношение к принятию решений; а различные составляющие элементы следовало оценивать с точки зрения их пригодности для обслуживания национальных интересов, а не с точки зрения предвзятых идеологий.

И все-таки, какой бы бескомпромиссной ни казалась бисмарковская философия, она была построена на символе веры, столь же недоказуемом, как и тезисы Герлаха, – а именно на том, что тщательный анализ данного набора обстоятельств обязательно приведет всех без исключения государственных деятелей к одним и тем же выводам. Так же, как Герлах считал невероятным предположение о том, что принцип легитимности может иметь более чем одно толкование, то за пределами бисмарковского понимания оставался тот факт, что различные государственные деятели могут по-разному оценивать свой национальный интерес. В силу мастерского схватывания нюансов в расстановке сил и их распределении, которым обладал Бисмарк, он был в состоянии на протяжении своей жизни подменять философские ограничения, накладываемые системой Меттерниха, политикой самоограничения. Но в связи с тем, что эти нюансы были не столь самоочевидны для преемников и имитаторов Бисмарка, буквальное следование принципам реальной политики приводило их к излишней зависимости от военной силы, а отсюда шла прямая дорога к гонке вооружений и двум мировым войнам.

Успех часто бывает настолько неуловимым, что гоняющиеся за ним государственные деятели редко заставляют себя подумать над тем, что у успеха есть оборотная сторона. Так, в самом начале карьеры Бисмарк был в основном занят тем, что путем применения принципов реальной политики разрушал мир, с которым он столкнулся и в котором в значительной степени господствовали концепции Меттерниха. Для этого требовалось искоренить в Пруссии веру в идею, что австрийское лидерство в Германии жизненно важно для безопасности Пруссии и для сбережения консервативных ценностей. Как бы это ни было верно для периода Венского конгресса, но уже в середине XIX века Пруссии не требовался союз с Австрией для сохранения внутренней стабильности или спокойствия в Европе. Действительно, по мнению Бисмарка, иллюзия необходимости альянса с Австрией больше всего мешала Пруссии достичь своей заветной цели объединения Германии.

По мнению Бисмарка, прусская история изобиловала свидетельствами в поддержку его утверждения о прусском главенстве внутри Германии и ее способности выстоять в одиночестве. Объяснял он это тем, что Пруссия не была просто еще одним немецким государством. Независимо от ее консервативной внутренней политики, не мог потускнеть глянец национальной гордости, приобретенный благодаря исключительным жертвам, понесенным в войнах за освобождение от Наполеона. Дело обстояло так, что даже сами очертания прусских территорий – ряд странной формы анклавов, простирающихся по Северо-Германской низменности от Вислы до земель к западу от Рейна, – как бы предопределяли ее руководящую роль в стремлении обеспечить германское единство даже в глазах либералов.

Но Бисмарк пошел еще дальше. Он бросил вызов стереотипам мышления, отождествлявшим национализм с либерализмом, или, по крайней мере, с предположением о том, что германское единство может быть достигнуто только через либеральные институты:

«Пруссия стала великой не благодаря либерализму и вольнодумству, а благодаря деятельности целого ряда могущественных, решительных и мудрых правителей, которые аккуратно собирали военные и финансовые ресурсы государства и накапливали их в своих руках с тем, чтобы бросить их с беспощадной смелостью на чашу весов европейской политики, как только представится благоприятная для этого возможность...»¹⁶¹

Бисмарк полагался не на консервативные принципы, а на уникальный характер прусских институтов; он считал основой претензий Пруссии на руководство Германией скорее ее собственную мощь, чем универсальные ценности. С точки зрения Бисмарка, прусские институты были до такой степени устойчивы к посторонним влияниям, что Пруссия могла пользоваться демократическими течениями своего времени как инструментами внешней политики, грозясь поддержать большую свободу самовыражения в стране, – и не обращая внимания на то, что ни один прусский король не проводил такую политику в течение четырех десятилетий, если вообще когда-либо это делал:

«Чувство безопасности от того, что король всегда остается господином своей страны, даже если вся армия находится за рубежом, существует только в Пруссии, и его не ощущают ни в одной из континентальных держав, не говоря уже о каком-то еще немецком государстве. Оно дает возможность принять развитие общественных дел в гораздо большем соответствии с современными требованиями. ...Королевский авторитет в Пруссии настолько прочен, что правительство может без всякого риска поддерживать гораздо более активную парламентскую деятельность и, следовательно, оказывать давление на условия, существующие в Германии»¹⁶².

Бисмарк отвергал мнение Меттерниха о том, что общность чувства внутренней уязвимости требует теснейшего сотрудничества трех восточных дворов. Дело обстояло как раз наоборот. Поскольку Пруссии домашние беспорядки не угрожали, то сама ее связь с этими государствами служила орудием подрыва венских установлений посредством угроз другим странам, особенно Австрии, акциями, способными вызвать у нее внутренние беспорядки. Бисмарк полагал, что именно мощь прусских правительственных, военных и финансовых институтов открывала путь к прусскому превосходству в Германии.

Когда Бисмарка назначили послом на Ассамблею конфедерации в 1852 году и послом в Санкт-Петербург в 1858 году, он получил возможность пропагандировать собственную политику. В его написанных блестящим языком и весьма содержательных отчетах он настаивал на проведении такой внешней политики, которая не основывалась бы ни на сантиментах, ни на легитимности, а на правильном расчете сил. Таким образом, Бисмарк вернулся к традиции таких правителей XVIII века, как Людовик XIV и Фридрих Великий. Усиление влияния своего государства становится основной, если не единственной целью, достижение которой ограничивалось лишь сплотившимися против нее силами:

«...Сентиментальная политика не знает принципа взаимности. Это чисто прусская особенность»¹⁶³.

¹⁶¹ Бисмарк. *Собр. соч.* Т. I. С. 375 (сентябрь 1853 года).

¹⁶² *Там же.* Т. II. С. 320 (март 1858 года).

¹⁶³ *Переписка.* С. 334.

«...Ради всего святого, не надо никаких сентиментальных альянсов, где осознание того, что ты сделал доброе дело, является единственным воздаянием за наши жертвы»¹⁶⁴.

«...Политика есть искусство возможного, наука об относительном»¹⁶⁵.

«Даже король не имеет права подчинять интересы государства личным симпатиям и антипатиям»¹⁶⁶.

По оценкам Бисмарка, внешняя политика имела под собой почти научное обоснование, позволяющее анализировать национальный интерес с помощью объективных критериев. В таких расчетах Австрия фигурировала как просто иностранная, а не братская страна и, более того, как препятствие на пути Пруссии к тому, чтобы занять принадлежащее ей по праву место в Германии: «У нашей политики нет иного учебного плаца, кроме Германии, и это именно тот плац, который Австрия считает, что он нужен сильно ей самой. ...Мы лишаем друг друга воздуха, которым дышим. ...Это факт, который не может быть проигнорирован, каким бы нежелательным он ни выглядел»¹⁶⁷.

Первый прусский король, которому Бисмарк служил в качестве посла, Фридрих-Вильгельм IV, разрывался между легитимистским консерватизмом Герлаха и возможностями, заложенными в бисмарковской реальной политике. Бисмарк настаивал на том, что личное уважительное отношение короля к традиционно преобладающему в Германии государству не должно препятствовать прусской политике. Поскольку Австрия никогда бы не признала прусской гегемонии в Германии, стратегией Бисмарка стало ослабление Австрии при любой возможности. В 1854 году во время Крымской войны Бисмарк настаивал на том, что Пруссии следует воспользоваться разрывом Австрии с Россией и нанести удар по той стране, которая все еще оставалась партнером Пруссии в Священном союзе лишь на том основании, что сложилась благоприятная ситуация:

«Если бы нам удалось довести Вену до такого состояния, когда она уже не будет считать удар Пруссии по Австрии делом невозможным, то мы вскоре услышим оттуда более разумные речи...»¹⁶⁸

В 1859 году во время войны Австрии с Францией и Пьемонтом Бисмарк возвращается к той же теме:

«Нынешняя ситуация вновь предлагает нам отличную возможность, если мы допустим, чтобы война между Австрией и Францией приняла устойчивый характер, и затем двинем на юг нашу армию, которая уложит пограничные знаки в свои ранцы, чтобы воткнуть их в землю только тогда, когда мы дойдем до Констанца у Боденского озера или, по крайней мере, до тех пределов, где протестантское вероисповедание перестанет быть преобладающим»¹⁶⁹.

Меттерних счел бы это ересью, но Фридрих Великий аплодировал бы умелому применению учеником его собственной аргументации в отношении захвата Силезии.

¹⁶⁴ Там же. С. 130 (20 февраля 1854 года).

¹⁶⁵ Бисмарк. *Собр. соч.* Т. I. С. 62 (29 сентября 1851 года).

¹⁶⁶ *Переписка.* С. 334 (2 мая 1857 года).

¹⁶⁷ Там же. С. 128 (19 декабря 1853 года).

¹⁶⁸ Там же. С. 194 (13 октября 1854 года).

¹⁶⁹ Бисмарк. *Собр. соч.* Т. XIV. (3-е изд., Берлин, 1924). № I. С. 517.

Бисмарк подвергал европейский баланс сил такому же хладнокровно-релятивистскому анализу, как и внутригерманскую ситуацию. В разгар Крымской войны Бисмарк так обрисовал основные варианты возможностей, открывавшихся перед Пруссией:

«У нас есть три угрозы: 1) Альянс с Россией, и бессмысленно клясться на каждом шагу, что мы никогда не пойдем вместе с Россией. Даже если бы это было правдой, нам необходимо сохранить за собой возможность использовать это как угрозу. 2) Политика, при которой мы бросаемся в объятия Австрии и компенсируем себя за счет коварной [Германской] конфедерации. 3) Сдвиг кабинета влево, в результате чего мы станем вскоре такими «западниками», что полностью переиграем Австрию»¹⁷⁰.

В той же самой депеше перечисляются как одинаково обоснованные возможности для Пруссии: альянс с Россией против Франции (предположительно, на базе общности консервативных интересов), договоренность с Австрией, направленная против второстепенных немецких государств и сдвиг во внутренней политике в сторону либерализма, направленный против Австрии и России (предположительно, в сочетании с Францией). Подобно Ришелье, Бисмарк не чувствовал себя чем-то связанным в выборе партнеров и был готов вступить в союз и с Россией, и с Австрией, и с Францией; выбор зависел целиком и полностью от того, что лучше могло бы послужить прусскому национальному интересу. Будучи убежденным противником Австрии, Бисмарк был готов воспользоваться договоренностью с Веной ради соответствующей компенсации в Германии. И хотя во внутренних делах он был архиконсервативен, Бисмарк не видел никаких препятствий для сдвижения прусской внутренней политики влево, если это соответствовало целям внешней политики. Поскольку внутренняя политика тоже была инструментом его реальной политики.

Попытки нарушить баланс сил, конечно, предпринимались даже в золотые дни действия системы Меттерниха. Но в таком случае прилагались все усилия для того, чтобы легитимизировать эту перемену посредством европейского консенсуса. Система Меттерниха скорее склонялась к поправкам, принимаемым на европейских конгрессах, чем к внешней политике угроз и угроз ответных действий. Бисмарк был бы последним человеком, если бы отрицал эффективность морального консенсуса. Но для него это был лишь один из элементов власти среди множества других. Стабильность международного порядка зависела именно от этого нюанса. Оказывать нажим ради перемен, даже не пытаясь хотя бы на словах возносить хвалу существующим договорным отношениям, общим ценностям или «Европейскому концерту», означало произвести некую дипломатическую революцию. Со временем превращение силы в единственный критерий станет побудительным мотивом для гонки вооружений и политики конфронтации всех стран.

Взгляды Бисмарка оставались сугубо академическими, пока ключевой элемент венского урегулирования – единство консервативных дворов Пруссии, Австрии и России – оставался в неприкосновенности, и пока сама Пруссия не осмелилась расколоть это единство. Священный союз распался неожиданно и весьма быстро после Крымской войны, когда Австрия, выйдя из искусной анонимности, при помощи которой Меттерних спасал от кризисов свою шатающуюся империю, объединилась, после больших колебаний, с противниками России. Бисмарк тотчас же понял, что Крымская война вызвала дипломатическую революцию. «День расплаты, – говорил он, – обязательно настанет, даже если пройдет несколько лет»¹⁷¹.

Действительно, наиболее важным документом, относящимся к Крымской войне, была депеша Бисмарка с анализом ситуации по окончании войны в 1856 году. Характерно, что

¹⁷⁰ *Переписка*. С. 199 (19 октября 1854 года).

¹⁷¹ Бисмарк. *Собр. соч.* Т. II. С. 516 (8–9 декабря 1859 года).

эта депеша демонстрировала совершеннейшую гибкость дипломатического метода и отсутствие угрызений совести при изыскании любых возможностей. Немецкая историография дала бисмарковской депеше меткое имя: «Prachtbericht», или «образцовый отчет». В силу того, что в нем была сведена воедино вся суть реальной политики, хотя это и было слишком смело для его адресата, прусского премьер-министра Отто фон Мантойфеля, о чем свидетельствуют его многочисленные пометки на полях, указывающие на то, что он далеко не был убежден этим отчетом.

Бисмарк начинает его с описания исключительно благоприятной позиции, в которой оказался Наполеон III после окончания Крымской войны. Теперь, как он отмечал, все государства Европы будут стремиться к дружбе с Францией, и ни у одной не будет таких шансов на успех, как у России:

«Союз между Францией и Россией настолько естествен, что его не следует допускать. ... До настоящего времени прочность Священного союза... разводила оба эти государства врозь, но со смертью царя Николая и роспуском Священного союза Австрией ничто не мешает естественному сближению двух государств, не имеющих никаких конфликтных интересов»¹⁷².

Бисмарк предсказал, что Австрия, загнав себя в ловушку, уже не сможет из нее выбраться, так как ускорит сближение царя с Парижем. Поскольку для сохранения поддержки своей армии Наполеону III потребуется какой-нибудь вопрос, который даст ему возможность немедленно «изыскать не слишком спорный или несправедливый предлог для интервенции. Италия идеально подходила для этой роли. Амбиции Сардинии, память о Бонапарте и Мюрате дают достаточные оправдания, а ненависть к Австрии облегчит путь»¹⁷³. Разумеется, так и случилось три года спустя.

Как следует Пруссии позиционировать себя в свете неизбежности скрытого франко-русского сотрудничества и вероятности франко-австрийского конфликта? Согласно системе Меттерниха, Пруссия должна была бы усилить союз с консервативной Австрией, укрепить Германскую конфедерацию, установить тесные связи с Великобританией и попытаться отлучить Россию от Наполеона III.

Бисмарк один за другим опровергает каждый из этих вариантов. Сухопутные войска Великобритании слишком незначительны, чтобы применить их против франко-русского альянса. В итоге основное бремя борьбы будут нести Австрия и Пруссия. Германская конфедерация отнюдь не добавит какой-то реальной дополнительной силы:

«При помощи России, Пруссии и Австрии Германская конфедерация, возможно, и не распадется, поскольку будет верить в победу даже без посторонней поддержки. Однако в случае войны на два фронта на востоке и на западе те государи, которые не находятся под контролем наших штыков, попытаются спасти себя, объявив нейтралитет, если только не выступят на поле боя против нас...»¹⁷⁴

Хотя Австрия в течение более чем одного поколения была основным союзником Пруссии, теперь она представлялась в глазах Бисмарка довольно неподходящим партнером. Она стала главным препятствием расширения Пруссии: «Германия слишком мала для нас двоих... и пока мы распахиваем одно и то же поле, Австрия является единственным государством, за

¹⁷² Там же. С. 139 (26 апреля 1856 года).

¹⁷³ Там же. С. 139 и сл.

¹⁷⁴ Там же.

счет которого мы можем постоянно получать выгоду, но и из-за которого мы можем нести постоянные убытки»¹⁷⁵.

Какой бы аспект международных отношений Бисмарк ни рассматривал, он выносил вердикт в виде аргумента о необходимости разрыва Пруссией конфедеративных связей с Австрией и пересмотра политики времен Меттерниха с тем, чтобы при первой же возможности ослабить своего прежнего союзника: «Когда Австрия запрягает лошадь впереди, мы будем запрягать свою сзади»¹⁷⁶.

Проклятием любой стабильной международной системы является почти полная ее неспособность предвидеть смертельный вызов. Уязвимым местом революционеров является их убежденность в том, что они смогут объединить все преимущества, полученные от достижения собственных целей, и все лучшее от того, что они ниспровергают. Но выпущенные революцией на свободу силы получают собственное ускорение, и направление их движения не обязательно может быть выведено из заявлений ее сторонников.

Так было и с Бисмарком. В течение пяти лет с момента прихода к власти в 1862 году он устранил Австрию как препятствие к объединению Германии, осуществив собственную рекомендацию десятилетней давности. Посредством трех войн, описанных ранее в этой главе, он исключил Австрию из Германии и разрушил устаревшие иллюзии в духе Ришелье, все еще витавшие во Франции.

Новая объединенная Германия не стала воплощением идеалов двух поколений немцев, которые мечтали о построении конституционного, демократического государства. На самом деле она не отразила ни одного из значимых направлений предшествующей германской мысли, появившись на свет скорее в качестве дипломатического соглашения германских государей, чем в виде выражения народной воли. Ее легитимность проистекала из силы Пруссии, а не базировалась на принципах национального самоопределения. Хотя Бисмарк достиг того, что запланировал совершить, будущее Германии и, по сути, европейский международный порядок стали заложниками самой масштабности его триумфа. Безусловно, он действовал столь же умеренно в отношении к завершению своих войн, сколь безжалостно эти войны развязывал. Как только Германия обрела границы, которые он считал жизненно важными для ее безопасности, Бисмарк стал вести осторожную и стабилизирующую внешнюю политику. В течение двух десятилетий он мастерски манипулировал европейскими обязательствами и интересами на основе принципов *Realpolitik*, реальной политики, и во благо европейского мира.

Но, будучи однажды вызваны к жизни, духи силы отказываются быть загнанными обратно путем заклинаний, как бы картинно или сдержанно эти заклинания ни совершались. Германия была объединена в результате дипломатии, предполагающей исключительную приспособляемость; и все же сам факт успеха подобной политики убрал всякую гибкость из международной системы. Стало меньше ее участников. А когда число игроков уменьшается, сокращается и возможность вносить коррективы. Новая система международных отношений стала включать в себя меньше по количеству, но больше по значимости составных частей, и это затруднило переговоры по достижению общеприемлемого баланса сил или поддержанию его без постоянных проб сил.

Эти проблемы структурного характера стали еще более выпуклыми в свете масштаба победы Пруссии во франко-прусской войне и в силу характера завершившего ее мира. Германская аннексия Эльзаса и Лотарингии вызвала неугасимую вражду во Франции, что исключало всякие дипломатические возможности для Германии в отношении Франции.

¹⁷⁵ Там же.

¹⁷⁶ Otto Pflanze. *Bismarck and the Development of Germany: The Period of Unification, 1815–1871* (Пфланце Отто. *Бисмарк и развитие Германии: период объединения, 1815–1871 годы*). (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1990), p. 85.

В 1850-е годы Бисмарк считал французский вариант до такой степени значимым, что пожертвовал своей дружбой с Герлахом ради его реализации. После аннексии Эльзас-Лотарингии враждебное отношение к Франции стало «естественным изъяном нашего характера», против чего так настоятельно предостерегал Бисмарк. И это стало мешать осуществлению описанной в его «образцовом отчете» политики, заключающейся в том, чтобы оставаться в стороне, пока другие страны не свяжут себя обязательствами, а потом продать поддержку Пруссии самому щедрому покупателю.

Германская конфедерация смогла выступать как единое целое только перед лицом угрозы столь всеобъемлющего характера, что соперничество между отдельными государствами отходило на второй план; а совместные наступательные действия были в конструктивном отношении невозможны. Слабость таких мероприятий явилась на деле одной из причин, по которой Бисмарк настаивал на объединении Германии под прусским руководством. Но и он заплатил высокую цену за новое переустройство. Коль скоро Германия превратилась из потенциальной жертвы агрессии в угрозу европейскому равновесию, ранее не представлявшиеся возможными обстоятельства, связанные с объединением прочих государств Европы против Германии, стали реально возможными. И этот кошмар, в свою очередь, стал определять немецкую политику, что вскоре расколел Европу на два враждебных лагеря.

Европейским государственным деятелем, который быстрее всех уяснил сущность влияния объединенной Германии на мировые события, оказался Бенджамин Дизраэли, который готовился стать британским премьер-министром. В 1871 году он сказал следующее по поводу франко-прусской войны:

«Эта война представляет собой немецкую революцию, более великое политическое событие, чем Французская революция прошлого столетия. ... Не осталось ни одной дипломатической традиции, которая не была бы сметена. У вас теперь имеется новый мир. ... Баланс сил разрушен полностью»¹⁷⁷.

Пока Бисмарк находился у руля, эти дилеммы оставались в тени его замысловатой и тонкой дипломатии. И все же в долгосрочном плане сама сложность принятых Бисмарком мер обрекла их на провал. Дизраэли попал прямо в точку. Бисмарк переключил карту Европы и изменил модель международных отношений, но в итоге оказался не в состоянии составить план действий, которому могли бы следовать его преемники. Как только стерлась необычность бисмарковской тактики, его последователи и соперники стали искать спасения в умножении вооружений как средства уменьшения их зависимости от трудно постижимых загадочных явлений в дипломатии. Неспособность «Железного канцлера» закрепить собственную политику в форме неких институтов вынудила Германию вертеться, как белка, в колесе дипломатии, от чего она могла избавиться, лишь начав гонку вооружений, а затем прибегнув к войне.

И в своей внутренней политике Бисмарк не смог оставить своим преемникам никакого плана действий. Бисмарк, одинокая личность при жизни, был еще менее понят после ухода со сцены, обретая мифические очертания. Его соотечественники помнили о трех войнах, обеспечивших объединение Германии, но позабыли о труднейших подготовительных операциях, сделавших эти войны возможными, и той умеренности, потребовавшейся для того, чтобы воспользоваться их плодами. Они видели проявления силы, но не смогли проникнуть в глубинный анализ, на котором эти силы основывались.

Конституция, разработанная Бисмарком для Германии, содержала эти тенденции. Хотя парламент [рейхстаг] формировался на основе первого в Европе всеобщего избирательного

¹⁷⁷ Цитируется в: J. A. S. Grenville, *Europe Reshaped: 1848–1878* (Гренвилл Джон А. С. *Европа меняет облик: 1848–1878 годы*). (Sussex: Harvester Press, 1976), p. 358.

права для мужчин, он не контролировал правительство, которое назначал император, и выпускал его только он один. Канцлер стоял как к императору, так и к рейхстагу ближе, чем они сами друг к другу. В силу этого в определенных пределах Бисмарк мог натравливать друг на друга внутригерманские институты, как он это делал с иностранными государствами, проводя свою внешнюю политику. Никто из преемников Бисмарка не обладал для этого ни умением, ни смелостью. Результатом был национализм, который, не будучи сбалансированным демократией, перерождался в шовинизм, в то время как лишенная ответственности демократия становилась бесплодной. Суть жизни Бисмарка лучше всего выражена самим «Железным канцлером» в письме, которое он написал тогда еще своей будущей жене:

«То, что производит наибольшее впечатление на земле... всегда обладает какими-то качествами павшего ангела, который прекрасен, но не знает покоя, велик в своих замыслах и усилиях, но безуспешен, горделив и одинок»¹⁷⁸.

Оба революционера, стоявшие у колыбели современной системы европейских государств, воплощали в себе многие из дилемм нынешнего периода. Наполеон III, пассивный революционер, олицетворял тенденцию приспособления политики к общественному мнению. Бисмарк, революционер-консерватор, отражал тенденцию отождествления политики с анализом распределения.

У Наполеона III были революционные идеи, но он отступал еще до начала их реализации. Посвятив юность тому, что мы в XX веке называем протестом, он никогда не мог перебросить мост через пропасть между формулированием какой-то идеи и ее воплощением в жизнь. Не будучи уверенным в собственных целях и поистине в собственной легитимности, он полагался на общественное мнение в наведении мостов. Наполеон III проводил свою внешнюю политику в стиле современных политических лидеров, для которых мерилом успеха была частота упоминания о них в вечерних выпусках телевизионных новостей. Подобно им, Наполеон III превратил себя в пленника сугубо тактических, краткосрочных целей и немедленных результатов, стараясь произвести впечатление на публику путем акцентирования усилий, которые он намеревался затратить для их достижения. Тем временем он путал внешнюю политику с пассажами иллюзиониста. Поскольку в конечном счете именно реальные достижения, а не популярность определяют, действительно ли этот лидер добился изменений в лучшую сторону.

В долгосрочном плане общественность не уважает лидеров, которые отображают собственную неуверенность или видят лишь симптомы кризисов, а не долгосрочные тенденции. Роль лидера заключается в том, чтобы принять на себя бремя активных действий на основе уверенности в собственных оценках развития событий и понимания способов воздействия на ход событий. В противном случае кризисы будут множиться, что является иным способом заявить о том, что этот лидер утратил контроль над происходящим. Наполеон III оказался предтечей странного современного феномена – политической фигуры, которая страстно желает определить, что именно хочет общественность, но которая в итоге оказывается отвергнутой и, вероятно, даже презираемой ею.

Бисмарку всегда хватало уверенности действовать на основании собственных суждений. Он блестяще анализировал реальную подоплеку событий и возможности Пруссии. Он был таким великолепным зодчим, что созданная им Германия пережила поражения в двух мировых войнах, две иностранные оккупации и два поколения жила как разделенная страна. Поражение же Бисмарк потерпел в том, что его общество было обречено на политику такого стиля, который по плечу лишь великому человеку, рождающемуся раз в одно поколение. Такое редко случается, но институты имперской Германии выступили против него. В этом смысле из посе-

¹⁷⁸ Бисмарк. *Собр. соч.* Т. XIV. № I. С. 61.

янных Бисмарком семян взошли не только достижения его страны, но и ее трагедии XX века. «Никто не может безнаказанно вкушать плоды древа бессмертия», – писал о Бисмарке его друг фон Роон¹⁷⁹.

Трагедия Наполеона III заключалась в том, что его амбиции превосходили его возможности. Трагедия Бисмарка была в том, что его умственные способности оказались выше способности общества воспринять их. Наполеон III оставил в наследство Франции стратегический паралич; Бисмарк оставил в наследство Германии величие, которое страна была неспособна воспринять.

¹⁷⁹ Emil Ludwig. *Bismarck: Geschichte eines Kampfers* (Людвиг Эмиль. *Бисмарк: история борца*). (Berlin, 1926), p. 494.

Глава 6

Реальная политика оборачивается против самой себя

Realpolitik, то есть реальная политика, – это внешняя политика, основанная на расчетах соотношения силы и национального интереса, – привела к объединению Германии. А объединение Германии привело к тому, что реальная политика обернулась против самой себя, приведя к реализации совершенно противоположного задуманному. Это происходит в силу того, что практика следования *Realpolitik* исключает гонку вооружений и войну только в том случае, если основные игроки международной системы вольны налаживать свои отношения с учетом меняющихся обстоятельств или их сдерживает некая система общих ценностей, или и то и другое одновременно.

После объединения Германия стала самой сильной державой на континенте и набирала мощь с каждым десятилетием, тем самым революционизируя европейскую дипломатию. С момента возникновения современной системы государств во времена Ришелье державы по краям Европы – Великобритания, Франция и Россия – оказывали давление на ее центр. Теперь же впервые центр Европы становился достаточно мощным, чтобы оказывать давление на периферию. Как будет справляться Европа с этим новым гигантом в центре?

География создала неразрешимую дилемму. В соответствии со всеми традициями реальной политики, скорее всего, должны были бы возникнуть европейские коалиции для сдерживания растущей и потенциально преобладающей мощи Германии. Находясь в центре континента, она ощущала себя в постоянной опасности того, что Бисмарк называл «*le cauchemar des coalitions*», – кошмаром враждебных, окружающих со всех сторон коалиций. Но если бы Германия попыталась защитить себя против какой-нибудь коалиции своих соседей – с запада и востока – одновременно, она обязательно угрожала бы им каждому в отдельности, что лишь ускорило бы формирование этих коалиций. Самоисполняющиеся пророчества¹⁸⁰ стали частью международной системы. То, что по-прежнему называлось «Европейским концертом», оказалось расколотым на две враждебные части: вражда между Францией и Германией, а также растущая враждебность между Австро-Венгерской и Российской империями.

Что касается Франции и Германии, то масштабы победы Пруссии в 1870 году породили у французов постоянное желание реванша, а германская аннексия Эльзас-Лотарингии придала этому негодованию осязаемое направление. Негодование вскоре стало смешиваться со страхом, поскольку французские руководители начали осознавать, что война 1870–1871 годов обозначила конец эпохи французского преобладания и бесповоротную смену расстановки сил. Система Ришелье, заключающаяся в сглаживании в раздробленной Центральной Европе различных немецких государств друг с другом, больше не срабатывала. Разрываемая между воспоминаниями и амбициями, Франция сосредоточила свои обиды на протяжении целых 50 лет на целенаправленное выполнение задачи возврата Эльзас-Лотарингии, так и не поняв, что успех в этом направлении может лишь успокоить французскую гордость, но не изменит основополагающей стратегической реальности. Франция сама по себе уже больше не была достаточно сильной, чтобы сдерживать Германию; из-за этого теперь ей для своей защиты всегда будут нужны союзники. Доказательством этого стало то, что Франция с готовностью предлагала себя в союзники любому потенциальному противнику Германии, тем самым ограничивая гибкость германской дипломатии и вызывая эскалацию любых кризисов, вовлекающих в себя Германию.

¹⁸⁰ Самосбывающееся пророчество американский социолог Роберт Мертон в 1948 году интерпретировал таким образом: «Изначально ложное определение ситуации порождает новое поведение, которое делает первичное ложное представление правдивым». – *Прим. перев.*

Второй европейский раскол между Австро-Венгерской империей и Россией также стал результатом объединения Германии. Став премьер-министром в 1862 году, Бисмарк попросил австрийского посла передать своему императору потрясающее предложение о том, чтобы Австрия, главное местоположение старинной Священной Римской империи, перенесла центр тяжести с Вены на Будапешт. Посол счел эту идею до такой степени нелепой, что в направленном в Вену докладе он приписал ее некоему нервному истощению Бисмарка. И все же, раз потерпев поражение в борьбе за преобладание в Германии, Австрия вынуждена была последовать совету Бисмарка. Будапешт стал равным, а временами и ведущим партнером в новообразованной двуединой Австро-Венгерской монархии.

После удаления из Германии единственным направлением для экспансии новой Австро-Венгерской империи оставались Балканы. Поскольку Австрия не принимала участия в колонизации заморских территорий, ее руководство пришло к заключению о том, что населенные славянскими народами Балканы являются естественной сценой для проявления политических амбиций – пусть даже только для того, чтобы не отставать от других великих держав. Подобная политика уже сама по себе была чревата конфликтом с Россией.

Здравый смысл должен был предостеречь австрийских лидеров от опасности провоцирования национализма на Балканах или превращения России в постоянного врага. Но в Вене здравый смысл не был сильно распространен, и еще меньше его было в Будапеште. Преобладал джингоистский национализм¹⁸¹ великодержавного, экспансионистского толка. Кабинет министров в Вене продолжал двигаться дальше по инерции во внутренней политике и в припадках истерии во внешней политике, что вело страну к постепенной изоляции еще со времен Меттерниха.

Германия не видела никаких национальных интересов на Балканах. Но она в высшей степени проявляла заинтересованность в сохранении Австро-Венгерской империи. Поскольку считалось, что коллапс этой двуединой монархии таил в себе риск разрушения всей бисмарковской немецкой политики. Немецкоязычные католики империи захотели бы тогда присоединиться к Германии, что поставило бы под угрозу преобладание протестантской Пруссии, ради чего Бисмарк столь упорно боролся. И развал Австрийской империи лишал бы Германию единственного надежного союзника. С другой стороны, хотя Бисмарк и хотел сохранить Австрию, у него не было ни малейшего желания бросать вызов России. Эту головоломку он в течение нескольких десятилетий умело задвигал в долгий ящик, но так и не смог ее разрешить.

Положение усугублялось еще и тем, что Оттоманская империя находилась в муках медленного распада, создавая частые столкновения между великими державами по поводу дележа добычи. Бисмарк как-то сказал, что, когда собираются пятеро игроков, лучше всего играть на стороне троих. Но с тех пор из пятерки великих держав – Англии, Франции, России, Австрии и Германии – Франция стала враждебной страной, Великобритания была недоступна из-за ее политики «блестящей изоляции», имела место двойственность в позиции России из-за ее конфликта с Австрией. В этой ситуации Германии нужен был альянс как с Россией, так и с Австрией для создания группировки трех. Только государственный деятель, обладающий бисмарковской силой воли и мастерством, мог бы просто обдумывать подобный номер балансировки. Таким образом, взаимоотношения между Германией и Россией стали ключом к европейскому миру.

Как только Россия появилась на международной арене, она с потрясающей быстротой заняла ведущие позиции. Еще при заключении в 1648 году Вестфальского мира Россия не считалась достаточно важной, из-за чего даже не была там представлена вообще. Однако с 1750

¹⁸¹ *Джинго*, *джингоизм* (от англ. *Jingo*) – термин, возникший в Великобритании во времена Дизраэли во второй половине XIX века и обозначающий консерваторов-тори, являвшихся сторонниками экспансионизма и шовинизма, идеи национального величия и создания колониальной империи. Ура-патриотический, шовинистический национализм. – *Прим. перев.*

года Россия становится активной участницей каждой значимой европейской войны. К середине XVIII века Россия уже стала вызывать у западных наблюдателей неясное беспокойство. В 1762 году французский поверенный в делах в Санкт-Петербурге докладывал:

«Если русские амбиции не сдерживать, то их последствия могут оказаться фатальными для соседних держав. ...Я знаю, что русскую мощь не следует мерить их экспансией и что их господство над восточными территориями скорее впечатляющая иллюзия, чем источник реальной силы. Но я также подозреваю, что нация, лучше любой другой способная справиться с непривычными крайностями времен года на чужбине вследствие суровости климата у себя дома, привыкшая к рабскому повиновению, довольствующаяся в жизни малым, в силу этого может начать войну при малых на то затратах... такая нация, как я полагаю, скорее всего, окажется завоевателем...»¹⁸²

Ко времени Венского конгресса Россия, как представляется, была самой мощной державой на континенте. К середине XX века она обрела статус одной из всего двух глобальных сверхдержав и пребывала в нем почти 40 лет, прежде чем развалиться, утратив многие из своих обширных приобретений предшествующих столетий всего за несколько месяцев.

Абсолютный характер царской власти позволял правителям России проводить внешнюю политику произвольно и весьма специфически. На протяжении шести лет, в промежутке между 1756 и 1762 годом, Россия успела вступить в Семилетнюю войну на стороне Австрии и вторгнуться в Пруссию, перейти на сторону Пруссии со смертью императрицы Елизаветы в январе 1762 года, а затем выйти из войны и объявить нейтралитет, когда Екатерина Великая свергла собственного мужа в июне 1762 года. Через 50 лет Меттерних заявит, что царь Александр I никогда не придерживался одних и тех же убеждений дольше пяти лет. Советник Меттерниха, Фридрих фон Генц, так описывал позицию царя: «Ни одно из препятствий, ограничивающих и срывающих планы других монархов – разделение властей, конституционные формы, общественное мнение и т. п., – не существует для императора России. То, что ему пригрезится ночью, он может исполнить утром»¹⁸³.

Парадоксальность была наиболее характерной чертой России. Постоянно воюя и расширяясь по всем направлениям, она, тем не менее, считала, что ей непрерывно угрожают. Чем более многоязыкой становилась империя, тем более уязвимой чувствовала себя Россия, отчасти еще и из-за необходимости изолировать множество своих национальностей от их соседей. Чтобы упрочить собственное правление и преодолеть напряженность между различными народностями, населяющими империю, все правители России использовали миф о какой-то мощной иноземной угрозе, которая со временем превращалась в самосбывающиеся пророчества, подвергая испытаниям стабильность в Европе.

По мере распространения России с территорий вокруг Москвы в направлении центра Европы, к берегам Тихого океана и в сторону Средней Азии, ее стремление обезопасить себя превратилось в экспансию как самоцель. Русский историк Василий Ключевский так описывает этот процесс: «...эти войны, изначально носившие оборонительный характер, незаметно и непреднамеренно для московских политиков превращались в войны захватнические – при-

¹⁸² Донесение Лорана Беранже из Санкт-Петербурга от 3 сентября 1762 года, в: George Vernadsky, ed. *A Source Book for Russian History: From Early Times to 1917* (Вернадский Георг. *Источники по русской истории с древнейших времен до 1917 года*), 3 vols. (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1972), vol. 2, p. 397.

¹⁸³ Friedrich von Gentz. *Considerations on the Political System in Europe (1818)* (Генц Фридрих фон. *Рассуждения по поводу политической системы в Европе (1818)*), в: Mack Walker, ed. *Metternich's Europe* (Уокер Мэк. *Европа Меттерниха*). (New York: Walker and Co., 1968), p. 80.

мое продолжение объединительной политики прежней [доромановской] династии, борьбы за русскую землю, которая раньше никогда не принадлежала Московскому государству»¹⁸⁴.

Россия постепенно превращалась в угрозу балансу сил в Европе точно так же, как она угрожала суверенитету соседей по своей обширной периферии. Независимо от размеров контролируемой ею территории, Россия неустанно отодвигала все дальше свои границы. Начиналось это из сугубо оборонительных соображений, когда князь Потемкин (более известный тем, что ставил по пути следования царицы фальшивые деревни) ратовал за завоевание принадлежавшего Турции Крыма в 1776 году, выдвигая разумный повод и полагая, что тем самым Россия получает наилучшую возможность защищать свои пределы¹⁸⁵. Однако к 1864 году безопасность и непрерывная экспансия стали синонимами. Канцлер Александр Горчаков объяснял русскую экспансию в Средней Азии постоянной обязанностью умирять периферию, будучи движимой одними только импульсами:

«Положение России в Средней Азии одинаково с положением всех образованных государств, которые приходят в соприкосновение с народами полудикими, бродячими, без твердой общественной организации. В подобном случае интересы безопасности границ и торговых сношений всегда требуют, чтобы более образованное государство имело известную власть над соседями...

Таким образом, государство должно решиться на что-нибудь одно: или отказаться от этой непрерывной работы и обречь свои границы на постоянные неурядицы... или же все более и более подвигаться в глубь диких стран... где величайшая трудность состоит в умении остановиться»¹⁸⁶.

Многие из историков припомнили эту цитату, когда Советский Союз вторгся в Афганистан в 1979 году.

Парадоксально, но верно также и то, что за последние 200 лет европейский баланс сил был в ряде случаев сохранен благодаря усилиям и героизму России. Без России Наполеон и Гитлер почти наверняка бы преуспели в создании мировых империй. Подобно двуликому Янусу, Россия была одновременно и угрозой балансу сил, и одним из его ключевых компонентов, важной для равновесия и все же не вполне его частью. На протяжении большей части своей истории Россия признавала только те пределы, которые ставились перед ней окружающим ее миром, и то с явной неохотой. И все же бывали периоды, самый заметный из которых – 40 лет по окончании Наполеоновских войн, когда Россия не извлекала выгоду из своей огромной мощи, а вместо этого использовала собственное могущество для защиты консервативных интересов в Центральной и Западной Европе.

Даже когда Россия выступала в поддержку легитимности, ее настрой был значительно более мессианским – и, следовательно, империалистическим, – чем у других консервативных дворов. Если западноевропейские консерваторы соотносили себя с философией самоограничения, то русские руководители записывали себя на службу в крестоносцы. Поскольку цари практически не сталкивались с проблемами собственной легитимности, они мало разбирались в республиканских движениях, просто считая их аморальными. Сторонники общих консервативных ценностей – по крайней мере, до Крымской войны – они были также готовы использовать легитимизм для расширения собственного влияния, из-за чего Николай I получил про-

¹⁸⁴ Ключевский В. О. *Курс русской истории. Семнадцатый век*. Перевод с русского Натали Даддингтон. (Chicago: Quadrangle Books, 1968), p. 97.

¹⁸⁵ Записка Потемкина «О Крыме», в: Вернадский. *Источники по русской истории*. Т. 2. С. 411.

¹⁸⁶ Циркуляр Горчакова. *Там же*. Т. 3. С. 610.

звище «Жандарм Европы». Во времена расцвета Священного союза Фридрих фон Генц так писал об Александре I:

«Император Александр, несмотря на все свое рвение и энтузиазм, выказываемый постоянно по поводу Великого альянса, является монархом, вполне способным без него обойтись. ... Для него Великий альянс это лишь орудие, при помощи которого он оказывает собственное воздействие по общим вопросам, что и составляет одно из основных направлений его амбиций. ... Его интерес в сохранении системы не является, как у Австрии, Пруссии или Англии, интересом, основывающимся на необходимости или страхе; это свободный и расчетливый интерес, от которого он всегда в состоянии отказаться, как только иная система предоставит ему большие преимущества»¹⁸⁷.

Как и американцы, русские считали свое общество исключительным. Сталкиваясь лишь с кочевыми или феодальными обществами, экспансия России в направлении Средней Азии обладала множеством черт американской экспансии на запад, и если вспомнить вышеприведенную цитату из Горчакова, то русское обоснование экспансии было аналогично американским объяснениям своего собственного «манифеста судьбы». Но чем ближе русские приближались к Индии, тем больше это вызывало подозрения у британцев, пока во второй половине XIX века русская экспансия в Среднюю Азию, в отличие от американского продвижения на запад, не превратилась в проблему внешней политики.

Открытость границ каждой из стран была одной из немногих общих черт американской и русской исключительности. Ощущение Америкой чувства собственной уникальности базировалось на концепции свободы; у России же оно проистекало из опыта совместно перенесенных страданий. Каждый мог приобщиться к ценностям Америки; ценности же России принадлежали только одной русской нации, за исключением большинства нерусских подданных. Исключительность Америки привела ее к изоляционизму, перемежаемому периодическими крестовыми походами морального свойства; исключительность России влекла за собой возникновение чувства долга, часто приводившего к военным авантюрам.

Русский публицист националистического толка Катков так определял противоположность между западными и русскими ценностями:

«...там все основано на договорных отношениях, а у нас на вере, и противоположность эта определилась первоначально положением, какое Церковь приняла на Западе и какое приняла она на Востоке. Там в основании двоевластие, у нас – единовластие Церкви...»¹⁸⁸

Националистические русские и панславистские писатели и представители интеллигенции безоговорочно приписывали так называемый альтруизм русской нации ее православному вероисповеданию. Великий романист и страстный националист Федор Достоевский толковал русский альтруизм, как обязанность освободить славянские народы от иноземного правления, если понадобится, бросив вызов всей Западной Европе. Во время кампании России на Балканах 1877 года Достоевский пишет:

«Спросите народ, спросите солдата: для чего они поднимаются, для чего идут и чего желают в начавшейся войне – и все скажут вам, как один человек, что идут, чтобы Христу

¹⁸⁷ Генц, *Рассуждения*, в: Уокер. *Европа Меттерниха*. С. 80.

¹⁸⁸ Катков М. Н. Передовая статья от 10 мая 1883 года, в: Вернадский. *Источники по русской истории*. Т. 3. С. 676. (Катков М. Н. *Величие власти русского царя*. // «Московские ведомости». № 129. 11 мая 1883.)

послужить и освободить угнетенных братьев... [Мы] будем надзирать за их же взаимным согласием и оборонять их свободу и самостоятельность, хотя бы от всей Европы»¹⁸⁹.

В отличие от государств Западной Европы, которыми Россия восхищалась, которых презирала и которым завидовала одновременно, Россия воспринимала себя не как нацию, а как процесс, идущий вне геополитики, приводимый в движение верой и удерживаемый вместе силой оружия. Достоевский не сводил роль России к одному лишь освобождению братьев-славян, он включил туда наблюдение за их взаимным согласием – такого рода социальная обязанность, которая легко может скатиться к доминированию. Для Каткова Москва была Третьим Римом:

«Русский царь есть более чем наследник своих предков; он преемник кесарей восточного Рима, строителей Церкви и ее соборов, установивших самый символ христианской веры. С падением Византии поднялась Москва и началось величие России»¹⁹⁰.

После революции миссионерскую страсть и пыл перенял Коммунистический интернационал.

Парадокс русской истории заключается в постоянной двойственной противоречивости между мессианством и всеподавляющим ощущением уязвимости. Доведенная до предела, эта противоречивость, эта двойственность порождает страх того, что, если империя не будет расширяться, она взорвется изнутри. Таким образом, когда Россия выступала в качестве главного инициатора раздела Польши, она действовала так отчасти именно из соображений безопасности и отчасти из характерного для XVIII века стремления к расширению. Столетием позже подобное завоевание приобрело самостоятельное значение. В 1869 году Ростислав Андреевич Фадеев, офицер-панславист, написал повлиявшее на многие умы сочинение под названием «Мнение по восточному вопросу», утверждая, что Россия должна продолжать свое продвижение на запад, чтобы защитить уже имеющиеся завоевания:

«Историческое движение наше с Днепра на Вислу (то есть раздел Польши) было объявлением войны Европе, вторгнувшейся в непринадлежащую ей половину материка. Мы стоим теперь посреди неприятельских линий – положение временное: или мы собьем неприятеля, или отступим на свою позицию... Россия распространит свое главенство до Адриатического моря или вновь отступит до Днепра...»¹⁹¹

Анализ Фадеева не слишком отличается от анализа Джорджа Кеннана, который был произведен по ту сторону разграничительной линии в весьма содержательной статье относительно источников советского поведения. В ней он предсказывал, что, если Советский Союз не преуспеет в осуществлении экспансии, он взорвется и рухнет¹⁹².

Восторженное представление России о самой себе редко разделялось окружающим миром. Несмотря на исключительные достижения в области литературы и музыки, Россия никогда не являлась для покоренных народов своеобразным культурным магнитом, в отличие от метрополий ряда других колониальных империй. И Российская империя никогда не воспри-

¹⁸⁹ Достоевский Ф. М. *Там же*. Т. 3. С. 681. (Достоевский Ф. М. *Дневник писателя. 1877 год. Апрель*. Глава первая.)

¹⁹⁰ Катков: передовая статья от 7 сентября 1882 года, в: *Там же*. Т. 3. С. 676. (Катков М. Н. *По поводу прибытия в Москву Государя и Государыни*. // «Московские ведомости». № 249. 7 сентября 1882.)

¹⁹¹ Цитируется в: В. Н. Sumner. *Russia and the Balkans, 1870–1880* (Самнер Б. Х. *Россия и Балканы, 1870–1880*). (Oxford: Clarendon Press, 1957), p. 72. (Фадеев Р. А. *Кавказская война. Мнение о восточном вопросе*. 1869).

¹⁹² George F. Kennan. *The Source of Soviet Conduct* (Кеннан Джордж Ф. *Истоки советского поведения*), *Foreign Affairs*, vol. 25, no. 4 (July 1947).

нималась как модель общественного устройства – ни другими обществами, ни собственными подданными. Для внешнего мира Россия была стихийной силой – таинственным экспансионистским присутствием, которого следовало бояться и сдерживать как при помощи включения в союзы, так и конфронтации с ней.

Меттерних пробовал путь подключения к союзам и на протяжении одного поколения по большей части добился успеха. Но после объединения Германии и Италии великие идеологические цели первой половины XIX века утратили объединительную силу. Национализм и революционное республиканство больше не воспринимались как угрозы европейскому порядку. Как только национализм стал преобладающим организующим принципом, коронованные главы России, Пруссии и Австрии все меньше и меньше нуждались в объединении в целях общей защиты принципа легитимности.

Меттерниху удалось создать некую модель европейского правительства благодаря тому, что правители Европы считали идеологическое единение необходимым волнорезом на пути революции. Но к 1870-м годам либо пропадал страх перед революцией, либо отдельные правительства стали полагать, что смогут справиться с ней без помощи извне. К тому времени сменились два поколения с момента казни Людовика XVI; удалось совладать с либеральными революциями 1848 года; Франция, даже будучи республикой, утратила пыл прозелитизма. Теперь уже никакая идеологическая общность не сдерживала все обостряющийся конфликт между Россией и Австрией на Балканах или между Германией и Францией по поводу Эльзас-Лотарингии. Когда великие рассматривали друг друга, они уже не видели партнеров по общему делу, а видели опасных, даже смертельных, врагов. Конфронтация превратилась в стандартный дипломатический метод.

На более раннем этапе Великобритания вносила свой вклад в дело сдерживания, играя роль регулятора европейского равновесия. И даже на тот момент только Великобритания из всех крупных европейских держав была в состоянии проводить дипломатию баланса сил, не будучи связанной непримиримой враждой к какой-либо другой державе. Но в Великобритании росло недоумение по поводу того, что же теперь представляет собой основную угрозу, и она не могла избавиться от смятения в течение нескольких десятилетий.

Баланс сил венской системы, с которой Великобритания была знакома, радикальным образом изменился. Объединенная Германия заполучила мощь, позволившую ей господствовать одной в Европе, – событие, появлению которого Великобритания всегда сопротивлялась в прошлом, когда речь шла о завоеваниях. Однако большинство британских руководителей, за исключением Дизраэли, не видели причин противостоять процессу национальной консолидации в Центральной Европе, который британские государственные деятели приветствовали на протяжении нескольких десятилетий, особенно когда кульминацией его оказалась война, в которой Франция, строго говоря, была агрессором.

С тех пор как сорока годами ранее Каннинг сделал так, чтобы Великобритания не соприкасалась с системой Меттерниха, политика «блестящей изоляции» Великобритании позволила ей играть роль защитника равновесия в значительной степени потому, что тогда ни одна из стран не была способна доминировать на континенте. После объединения Германия неуклонно приобретала такие возможности. И, к некоторому смятению, она добивалась могущества за счет развития своей территории, а не путем захватов. Стилем же политики Великобритании являлось вмешательство только тогда, когда баланс сил находился под угрозой уже фактически, а не тогда, когда возникала перспектива подобной угрозы. Поскольку потребовались десятилетия, чтобы германская угроза европейскому балансу сил стала очевидной, озабоченность Великобритании внешнеполитического свойства до самого конца столетия была сосредоточена на Франции, чьи колониальные амбиции сталкивались с британскими, особенно в Египте, а также на русском продвижении к проливам, Персии, Индии, а позднее в направлении Китая. Все эти проблемы носили колониальный характер. Применительно же к европейской дипло-

матии, породившей кризисы и войны XX века, Великобритания продолжала придерживаться политики «блестящей изоляции».

Бисмарк, таким образом, оставался ведущей фигурой европейской дипломатии, пока не был отправлен в отставку в 1890 году. Он хотел мира для вновь образованной Германской империи и не искал конфронтации ни с одной другой нацией. Но в отсутствие моральных связей между европейскими государствами он столкнулся с поистине титанической задачей. Он был обязан удержать как Россию, так и Австрию от вступления в лагерь своего врага Франции. Для этого требовалось пресекать вызовы Австрии против легитимизации русских целей и одновременно удерживать Россию от подрыва Австро-Венгерской империи. Ему были нужны хорошие отношения с Россией, не вызывающие настороженность у Великобритании, которая подозрительно отслеживала русские намерения в отношении Константинополя и Индии. Даже такой гений, как Бисмарк, не мог до бесконечности поддерживать такое шаткое и неустойчивое равновесие; усиливающееся давление на международную систему становилось все менее и менее управляемым. Тем не менее за те 20 лет, в течение которых Бисмарк стоял во главе Германии, он проводил *Realpolitik*, которую он проповедовал с таким спокойствием и такой ловкостью, что баланс сил ни разу не нарушался.

Целью Бисмарка было не дать ни одной другой державе – за исключением неугомной Франции – ни единого повода вступить в союз, направленный против Германии. Заявляя об «удовлетворенности» объединенной Германии и отсутствии у нее новых территориальных амбиций, Бисмарк стремился успокоить Россию тем, что у Германии нет своего интереса на Балканах. Все Балканы, по его словам, не стоят костей даже одного померанского гренадера. Имея в виду Великобританию, Бисмарк не выступал ни с какими претензиями на континенте, которые могли бы вызвать британскую озабоченность в плане равновесия, причем он также удержал Германию от колониальной гонки. «Здесь Россия, тут Франция, а мы в середине. Это и есть моя карта Африки», – таким был ответ Бисмарка одному из сторонников германского колониализма¹⁹³ – совет, который собственные политики позднее вынудили его откорректировать.

Заверения, однако, оказалось недостаточно. Германии нужен был союз одновременно как с Россией, так и с Австрией, как бы невероятно это ни выглядело на первый взгляд. И все же Бисмарку удалось выработать такой альянс в 1873 году – первый так называемый «Союз трех императоров». Провозглашая единение трех консервативных дворов, он в значительной степени походил на Священный союз Меттерниха. Неужели Бисмарк неожиданно воспылал страстью к системе Меттерниха, для разрушения которой он сделал так много? Ведь времена изменились во многом благодаря успехам Бисмарка. И хотя Германия, Россия и Австрия дали клятвенное обещание сотрудничать действительно в духе Меттерниха в подавлении подрывных тенденций в собственных владениях, общая антипатия к политическим радикалам не могла больше удерживать воедино три восточных двора. В первую очередь потому, что каждый из них был уверен в том, что справится с внутренними неурядицами без посторонней помощи.

Более того, Бисмарк утратил свои прочные легитимные полномочия. Хотя его переписка с Герлахом (смотри пятую главу) не публиковалась в открытой печати, мотивировки его установок были общеизвестны. Будучи защитником реальной политики на протяжении всей своей карьеры на государственной службе, он не мог вдруг проявлять приверженность легитимности доверия. Резко обостряющееся геополитическое соперничество России и Австрии оказалось превыше единения консервативных монархов. Каждый жаждал добычи на Балканах от распадающейся Турецкой империи. Панславизм и устарелый экспансионизм способствовали проведению Россией рискованной политики на Балканах. Это порождало откровенный страх в

¹⁹³ Бисмарк. в: Gordon A. Craig. *Germany: 1866–1945* (Крэйг Гордон Э. *Германия: 1866–1945*) (New York: Oxford University Press, 1978), p. 117.

Австро-Венгерской империи. Таким образом, если на бумаге германский император находился в союзе с такими же консервативными монархами в России и Австрии, то на деле эти два брата уже вцепились друг другу в глотку. И вопрос о том, как быть с обоими партнерами, которые воспринимали друг друга как смертельную угрозу, должен был постоянно давить на систему альянсов Бисмарка всю оставшуюся жизнь.

Первый «Союз трех императоров» научил Бисмарка тому, что он больше не может контролировать им же выпущенные на свободу силы, апеллируя к принципам внутреннего устройства Австрии и России. С тех пор он пытался манипулировать ими, делая акцент на силе и собственной выгоде.

Два события главным образом продемонстрировали тот факт, что *Realpolitik* превратилась в господствующую тенденцию этого периода. Первое случилось в 1875 году в форме псевдокризиса, надуманной военной паники, вызванной передовой статьей в одной из ведущих германских газет под провокационным заголовком «Является ли война неизбежной?». Передовица была опубликована в ответ на увеличение французских военных расходов и закупки французской армией большого количества лошадей. Бисмарк при помощи такого газетного трюка, бесспорно, хотел лишь создать видимость военной паники, не имея в виду пойти дальше этого, поскольку не было даже частичной мобилизации германских сил или угрожающих передвижений войск.

Столкновение с несуществующей угрозой является простым способом укрепления позиций своей страны. Умная французская дипломатия создала видимость того, что Германия готовит упреждающий удар. Французское министерство иностранных дел стало распространять информацию о беседе царя с французским послом, в ходе которой он-де отметил, что поддержит Францию во франко-германском конфликте. Великобритания, всегда чутко реагирующая на угрозу господства одной державы над всей Европой, начала какие-то шевеления. Премьер-министр Дизраэли дал указания своему министру иностранных дел лорду Дерби обратиться к русскому канцлеру Горчакову с идеей припугнуть Берлин:

«Мое собственное впечатление таково, что нам следует организовать совместное выступление для сохранения мира в Европе, как это сделал Пэм (лорд Пальмерстон), когда помешал Франции и изгнал египтян из Сирии. Не исключаю альянс между Россией и нами по этому конкретному поводу, да и другие державы, такие, как Австрия и, возможно, Италия, могли бы быть приглашены примкнуть...»¹⁹⁴

Тот факт, что Дизраэли, сильно озабоченный честолюбивыми имперскими амбициями России, готов был даже сделать намек на возможность англо-русского альянса, показал всю серьезность, с какой он отнесся к перспективе германского господства в Западной Европе. Страх перед войной стих так же быстро, как и возник, поэтому план Дизраэли так и не был проверен на деле. Хотя Бисмарк не знал деталей предпринятого Дизраэли маневра, он был слишком проницателен, чтобы не почувствовать всю глубину озабоченности Великобритании.

Как наглядно доказал Джордж Кеннан¹⁹⁵, общественный резонанс был намного сильнее, чем сам по себе этот кризис. Бисмарк не имел намерения начинать войну через столь короткий срок после унижения Франции, хотя и не возражал бы, чтобы у Франции оставалось такое впечатление, что он мог бы так поступить, если зайдет слишком далеко. Царь Александр II вовсе не намеревался давать гарантии республиканской Франции, хотя и не был против того,

¹⁹⁴ Цитируется в: Robert Blake. *Disraeli* (Блэйк Роберт, *Дизраэли*). (New York: St. Martin's Press, 1966), p. 574.

¹⁹⁵ George F. Kennan. *Decline of Bismarck's European Order* (Кеннан Джордж Ф. *Упадок европейского порядка Бисмарка*). (Princeton: Princeton University Press, 1979), p. 11ff.

чтобы передать Бисмарку, что такой вариант вполне реален¹⁹⁶. Таким образом, Дизраэли отреагировал на проблему, оказывавшуюся чистой воды фантазией. И все же сочетание британского беспокойства, французского маневрирования и русской двойственности убедило Бисмарка в том, что только активная политика может предотвратить создание коалиции, которая осуществится поколением позже в лице Антанты – Тройственного согласия, направленного против Германии.

Второй кризис был вполне настоящим. Он оказался еще одним балканским кризисом, который продемонстрировал, что ни философская, ни идеологическая общность не могут удержать воедино «Союз трех императоров» перед лицом глубинной конфликтности национальных интересов. А поскольку он обнажил конфликт, который в конечном счете привел к краху европейский порядок Бисмарка и вверг Европу в Первую мировую войну, то будет рассмотрен здесь подробнее.

Восточный вопрос, не выпячиваемый с Крымской войны, вновь стал ведущим в повестке дня в первых сериях запутанно-сложного спектакля, который с ходом времени становился таким же шаблонно-стереотипным, как и представления японского театра Кабуки. Одно почти случайное событие способно было вызвать кризис; Россия могла бы выступить с угрозами, а Великобритания направила бы Королевский военно-морской флот. Россия оккупировала бы какую-то часть Оттоманских Балкан и удерживала бы ее как заложника. Великобритания стала бы угрожать войной. Начались бы переговоры, в процессе которых Россия отказалась бы от части требований, и в этот самый момент все бы взлетело на воздух.

В 1876 году болгары, которые в течение нескольких столетий жили под властью турок, восстали, и к ним присоединились другие балканские народы. Турция ответила с потрясающей жестокостью, а Россия, охваченная панславистскими чувствами, пригрозила вмешательством.

В Лондоне реакция России вызвала чересчур знакомый призрак русского контроля над проливами. Со времен Каннинга британские государственные деятели следовали основополагающему предположению, что, если Россия установит контроль над проливами, она будет господствовать в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, тем самым ставя под угрозу позиции Великобритании в Египте. Следовательно, согласно британским стереотипам, Оттоманскую империю, какой бы одряхлевшей и антигуманной она ни была, следовало сохранить, даже несмотря на риск войны с Россией.

Такое положение дел поставило Бисмарка перед сложным выбором. Русское продвижение, способное вызвать британский вооруженный ответ, могло также, по всей вероятности, побудить Австрию ввязаться в драку. А если Германия будет вынуждена выбирать между Австрией и Россией, внешняя политика Бисмарка будет полностью расстроена вместе с крахом «Союза трех императоров». При любом раскладе Бисмарк рисковал восстановить против себя либо Австрию, либо Россию, а также, весьма вероятно, навлечь на себя гнев всех сторон, если займет нейтральную позицию. «Мы всегда избегали, – сказал Бисмарк в рейхстаге в 1878 году, – в случае расхождения во мнениях между Австрией и Россией, создания большинства из двоих против одного, вставая на чью-то сторону...»¹⁹⁷

Сдержанность была классической чертой Бисмарка, хотя она и создавала проблему выбора по мере развертывания кризиса. Первым шагом Бисмарка стала попытка укрепить связи внутри «Союза трех императоров» посредством выработки общей позиции. В начале 1876 года «Союз трех императоров» составил так называемый «Берлинский меморандум» с предупреждением Турции в отношении продолжения репрессий. Как представляется, он подразумевал, что при определенных оговорках Россия вмешается на Балканах от имени «Евро-

¹⁹⁶ Там же.

¹⁹⁷ Бисмарк, 19 февраля 1878 года, в: Horst Kohl, ed. *Politische Reden* (Коль. *Политические речи*), vol. 7 (Aalen, West Germany: Scientia Verlag, 1970), p. 94.

пейского концерта» точно так же, как созывавшиеся по инициативе Меттерниха конгрессы в Вероне, Лайбахе и Троппау определяли какую-либо европейскую державу для выполнения их решений.

Однако существовало огромное различие между осуществлением таких действий тогда и их реализацией сейчас. Во времена Меттерниха Каслри был британским министром иностранных дел, который поддерживал вмешательство со стороны Священного союза, даже если Великобритания отказывалась принимать в них участие. Но теперь премьер-министром был Дизраэли, а он интерпретировал Берлинский меморандум как первый шаг к демонтажу Оттоманской империи без участия Великобритании. Это было почти на грани с европейской гегемонией, против которой Великобритания выступала столетиями. Жалуясь Шувалову, русскому послу в Лондоне, Дизраэли посетовал: «С Англией обращаются так, словно мы Черногория или Босния»¹⁹⁸. А своему постоянному адресату леди Брэдфорд он писал:

«Баланса нет, и если мы не постараемся изо всех сил, чтобы действовать совместно с тремя северными державами, они смогут обойтись без нас, что не приемлемо для государства, подобного Англии»¹⁹⁹.

Перед лицом продемонстрированного Санкт-Петербургом, Берлином и Веной единства было бы исключительно трудно для Великобритании противостоять их какой бы то ни было совместной договоренности. По-видимому, у Дизраэли не было иного выбора, кроме как присоединиться к северным дворам, когда Россия наносила удар по Турции.

Тем не менее Дизраэли в традициях Пальмерстона решил поиграть британскими мускулами. Он ввел военно-морской флот Великобритании в восточное Средиземноморье и публично заявил о своих протурецких настроениях – тем самым гарантируя, что Турция будет непреклонно стоять на своем, и являя наружу скрытые разногласия, существующие в «Союзе трех императоров». Никогда не славившийся чрезмерной скромностью, Дизраэли заявил королеве Виктории, что он разрушил «Союз трех императоров». Союз, как он полагал, «фактически более не существует и принадлежит прошлому, как римский триумvirат»²⁰⁰.

Бенджамин Дизраэли был одной из самых странных и невероятных фигур, когда-либо стоявших во главе британского правительства. Узнав, что будет назначен премьер-министром в 1868 году, он воскликнул: «Ура! Ура! Я взобрался на верхушку намазанного жиром столба!» А вот когда постоянный оппонент Дизраэли Уильям Эварт Гладстон был в том же году призван в качестве преемника Дизраэли, то разразился многословными рассуждениями на тему ответственности, налагаемой властью, и священных обязанностей перед Богом, которые включали молитву о том, чтобы Всемогущий наделил его твердостью духа, необходимой для исполнения серьезных обязанностей премьер-министра.

Эти высказывания двух великих людей, определявших британскую политику второй половины XIX века, характеризуют противоположность их натур: Дизраэли – это действующий напоказ, блестящий и живой человек; Гладстон – образованный, набожный и серьезный. Самая большая ирония заключалась в том, что консервативная партия тори Викторианской эпохи, состоящая из деревенских сквайров и преданных англиканской вере аристократических семей, выдвинула в качестве своего лидера очень умного еврейского авантюриста и что партия типичных членов общества вывела на мировую авансцену типичного чужака. Никогда ни один еврей не достигал таких высот британской политики. Столетием позднее вновь, казалось бы, именно узко мыслящие тори, а не робкая, но прогрессивная лейбористская партия выдвинули

¹⁹⁸ Тэйлор. *Борьба за главенство*. С. 236.

¹⁹⁹ Цитируется в: Блэйк, *Дизраэли*. С. 580.

²⁰⁰ Цитируется в: Тэйлор, *Борьба за главенство*. С. 237.

на эту должность Маргарет Тэтчер – дочь зеленщика, которая оказалась еще одним замечательным лидером и первой женщиной премьер-министром Великобритании.

Карьера Дизраэли была необычной. Романист в молодости, он скорее принадлежал к кругу литераторов, чем активных политиков, и, вероятнее всего, окончил бы свою жизнь скорее искрометным писателем и рассказчиком, чем одной из судьбоносных фигур британской политики XIX века. Как и Бисмарк, Дизраэли стоял за наделение избирательным правом простого человека, поскольку был убежден, что средние классы в Англии поддержат консерваторов.

Как лидер тори, Дизраэли провозгласил новую форму империализма, отличающуюся, по существу, от коммерческой экспансии, которой Великобритания занималась начиная с XVII века, – посредством которой, как обыкновенно говорили, в приступе рассеянности она построила империю. Для Дизраэли империя была не экономической, а духовной необходимостью и предпосылкой величия его страны. «Вопрос этот нельзя считать незначительным, – заявил он в 1872 году во время своей знаменитой речи в Хрустальном дворце. – Он состоит в следующем: будете ли вы довольны существованием в благоустроенной Англии, смоделированной и отлитой по континентальным принципам и спокойно ожидающей со временем свою неизбежную судьбу, или вы станете великой страной – имперской страной, – страной, в которой ваши сыновья, когда они вырастут, дойдут до самых высоких позиций и обретут не только почтение своих соотечественников, но и уважение всего остального мира»²⁰¹.

Придерживаясь подобных убеждений, Дизраэли был обязан выступить против угрозы Оттоманской империи со стороны России. Во имя европейского равновесия он не мог принять предписания «Союза трех императоров», а во имя Британской империи он мог лишь возражать против возложения на Россию роли исполнителя по проведению в жизнь европейского консенсуса на подступах к Константинополю. Поскольку в течение XIX века глубоко укоренилось представление о том, что Россия является главнейшей угрозой положению Великобритании в мире, Великобритания видела угрозу своим заморским интересам в клещеобразном продвижении России, одна клешня которой была нацелена на Константинополь, а другая через Среднюю Азию на Индию. В ходе среднеазиатской экспансии во второй половине XIX века Россия отработала методику завоеваний, которая стала стереотипной. Жертва всегда находилась настолько далеко от мировых центров, что мало кто на Западе имел точное представление о том, что происходит. Они могли в таком разе прибегать к заранее выработанному мнению о том, что царь на деле желает всем только добра, а вот его подчиненные были людьми воинственными, превращающими расстояние и неразбериху в инструменты русской дипломатии.

Из всех европейских держав только Великобритания была озабочена ситуацией в Средней Азии. По мере того как русская экспансия продвигалась все дальше на юг по направлению к Индии, протесты Лондона отклонялись канцлером князем Александром Горчаковым, который зачастую и не подозревал, что делают русские войска. Лорд Огастес Лофтус, британский посол в Санкт-Петербурге, предполагал, что российское давление на Индию «исходит не от суверена, хотя он и абсолютный монарх, но скорее является причиной той главенствующей роли, которую играет военная администрация. Там, где имеется огромная постоянная армия, ее абсолютно необходимо чем-то занять. ... А когда устанавливается система завоеваний, подобно той, что в Средней Азии, то каждое приобретение территории влечет за собой следующее, и трудность заключается в том, где остановиться»²⁰². Конечно, это наблюдение почти дословно повторяет уже приведенные выше слова самого Горчакова. С другой стороны, британскому каби-

²⁰¹ Речь Дизраэли от 24 июня 1872 года, в: Joel P. Wiener, ed. *Great Britain: Foreign Policy and the Span of Empire, 1689–1971*, vol. 3 (New York/London: Chelsea House in association with McGraw-Hill, 1972), p. 2500. (Уинер Джоел Х. *Великобритания: внешняя политика и масштабы империи, 1689–1971 годы*).

²⁰² Lord Augustus Loftus. *Diplomatic Reminiscences*. (Лофтус Огастес, лорд. *Дипломатические воспоминания*), 2nd ser. (London, 1892), vol. 2, p. 46.

нету было безразлично, угрожала ли Россия Индии в наступательном порыве или преследовала нескрываемые империалистические цели.

Один и тот же шаблон повторялся вновь и вновь. С каждым годом русские войска все глубже и глубже проникали в самое сердце Средней Азии. Великобритания требовала объяснений и получала всевозможные заверения на тот счет, что царь не собирается аннексировать ни одного квадратного метра земли. Вначале такого рода успокоительные слова помогали закрыть этот вопрос. Но он неизбежно вновь открывался с каждым новым продвижением русских войск. Например, после того как русская армия оккупировала Самарканд (в нынешнем Узбекистане) в мае 1868 года, Горчаков заявил британскому послу сэру Эндрю Бьюкенену о том, что «российское правительство не только не желало оккупации этого города, но глубоко сожалеет по этому поводу, и что его заверили в том, что этот город не будет удерживаться постоянно»²⁰³. Самарканд, конечно, остался под суверенитетом России, и это продолжалось вплоть до распада Советского Союза, спустя более столетия.

В 1872 году аналогичный фарс повторился в нескольких стах километров к юго-востоку от Хивинского ханства, на границе с сегодняшним Афганистаном. Граф Шувалов, адъютант царя, был направлен в Лондон для того, чтобы заверить британцев в том, что Россия не имеет намерений аннексировать новые территории в Средней Азии:

«Намерения императора не только были далеки от овладения Хивой, но, напротив, был готов прямой приказ не допустить этого, и были даны указания, чтобы выдвинутые условия были таковыми, что они не могли бы привести к продолжительной оккупации Хивы»²⁰⁴.

Едва эти заверения были произнесены, как прибыло известие, что русский генерал Кауфман разгромил Хиву и навязал ей договор, который резко контрастировал с утверждениями Шувалова.

В 1875 году те же методы были применены к Коканду, еще одному пограничному с Афганистаном ханству. По такому случаю канцлер Горчаков посчитал необходимым как-то оправдать разрыв между заверениями и действиями России. Со всей гениальностью он придумал беспрецедентное разграничение между односторонними заверениями (которые, согласно его определению, не носили обязательственного характера) и официальными двухсторонними обязательствами. «Кабинет в Лондоне, – писал он в ноте, – по-видимому, исходит из того факта, что мы в ряде случаев спонтанно и дружественно передавали ему наши взгляды в отношении Средней Азии и особенно нашу решимость не следовать политике захватов и аннексий, убежденность в том, что мы взяли на себя определенные обязательства в отношении него по данному вопросу»²⁰⁵. Другими словами, Россия упорно настаивала на свободе действий в Средней Азии, сама себе ставила пределы и не была связана даже собственными заверениями.

Дизраэли не собирался позволить повторение подобных методов на подступах к Константинополю. Он подстрекал оттоманских турок отклонить «Берлинский меморандум» и продолжать бесчинства на Балканах. Несмотря на подобную демонстрацию британской твердости, Дизраэли испытывал сильнейшее давление внутри страны. Зверства турок настроили против них британское общественное мнение, а Гладстон во весь голос выступал против аморальности внешней политики Дизраэли. Тогда Дизраэли счел себя обязанным подписаться под Лондонским протоколом 1877 года, по которому он присоединялся к призыву трех северных дворов к Турции покончить с бойней на Балканах и произвести реформу своей администрации в

²⁰³ Цитируется в: Firuz Kazemzadeh. "Russia and the Middle East" (Казем-Заде Фируз. *Россия и Средний Восток*), в: Ivo Lederer, ed. *Russian Foreign Policy* (под ред. Ледерер Иво. *Российская внешняя политика*). (New Haven and London: Yale University Press, 1962), p. 498.

²⁰⁴ Там же. С. 499.

²⁰⁵ Там же. С. 500.

этом регионе. Султан, однако, будучи уверен в том, что Дизраэли на его стороне, независимо от предъявленных к нему официальных требований, отверг даже и этот документ. Ответом России было объявление войны.

На какое-то время даже показалось, будто Россия выиграла дипломатическую игру. Ее поддержали не только два остальных северных двора, но и Франция, в дополнение к значительной поддержке британского общественного мнения. Руки у Дизраэли оказались связаны; выступление в войне на стороне Турции могло бы привести к падению его правительства.

Но, как и во многих предыдущих кризисах, русские руководители переоценили свои возможности. Под предводительством блестящего, но бесшабашного генерала и дипломата Николая Игнатьева русские войска очутились у ворот Константинополя. Австрия начала пересматривать свою прежнюю поддержку русской кампании. Дизраэли ввел британские военные корабли в Дарданеллы. В этот момент Игнатьев потряс всю Европу, объявив об условиях Сан-Стефанского договора, согласно которому Турция становилась бы нежизнеспособной и создавалась «Большая Болгария». Это распростершееся до Средиземного моря огромное государство находилось бы, как это предполагалось всеми, под господством России.

С 1815 года, согласно общепринятой точке зрения в Европе, считалось, что судьба Оттоманской империи может быть определена лишь «Европейским концертом» в целом, а не какой-либо отдельной державой и меньше всего Россией. Сан-Стефанский договор Игнатьева увеличивал возможности русского контроля над проливами, что было неприемлемо для Великобритании, и русского контроля над балканскими славянами, что было неприемлемо для Австрии. И поэтому как Великобритания, так и Австро-Венгрия объявили о непризнании договора.

Внезапно Дизраэли перестал быть в одиночестве. Для российских руководителей его шаги ознаменовали дурной знак возврата к коалиции времен Крымской войны. Когда министр иностранных дел лорд Солсбери обнародовал в апреле 1878 года свой знаменитый меморандум, где объяснялось, почему Сан-Стефанский договор должен быть пересмотрен, даже Шувалов, русский посол в Лондоне и давний соперник Игнатьева, согласился с этим. Великобритания угрожала войной, если Россия вступит в Константинополь, а Австрия угрожала войной, если начнется дележ добычи на Балканах.

Взращенный Бисмарком «Союз трех императоров» балансировал на грани краха. До этого момента Бисмарк был исключительно осторожен. В августе 1876 года, за год до того как русские армии двинулись на Турцию «за православие и славянство», Горчаков предложил Бисмарку, чтобы немцы провели конгресс для урегулирования Балканского кризиса. Если Меттерних или Наполеон III с жаром ухватились бы за возможность сыграть роль главного посредника в «Европейском концерте», то Бисмарк колебался, считая, что такого рода конгресс сможет только сделать явными разногласия внутри «Союза трех императоров». Он сообщил в доверительном порядке, что все участники такого конгресса, включая Великобританию, уйдут с него «враждебно настроенными против нас, так как ни один из них не найдет у нас поддержки, на которую он рассчитывает»²⁰⁶. Бисмарк также счел неразумным сводить вместе Горчакова и Дизраэли – «министров, равно опасного тщеславия», как он их назвал.

Так или иначе, но так как становилось все яснее, что Балканы станут фитилем, способным разжечь общеевропейский военный пожар, Бисмарк неохотно организовал конгресс в Берлине, единственной столице, куда готовы были приехать русские руководители. И все же он предпочел держаться в стороне от повседневных организационно-дипломатических вопросов, убедив министра иностранных дел Австро-Венгрии Андраши организовать рассылку приглашений.

²⁰⁶ Цитируется в: Allan Palmer. *The Chancelleries of Europe* (Палмер Алан. *Канцлерства Европы*). (London: George, Allen and Unwin, 1983), p. 155.

Созыв конгресса был намечен на 13 июня 1878 года. Но еще до его начала Великобритания и Россия разрешили ключевые вопросы в соглашении между лордом Солсбери и новым русским министром иностранных дел Шуваловым, подписанном 30 мая. «Большая Болгария», созданная Сан-Стефанским договором, заменялась тремя новыми образованиями: значительно меньшим по масштабам независимым государством Болгария; государством Восточная Румелия, автономной единицей, формально находящейся под властью турецкого губернатора, но реально управляемой под надзором европейской комиссии (прообраз миротворческих проектов Организации Объединенных Наций в XX веке); остальная часть Болгарии возвращалась под турецкое правление. Русские приобретения в Армении были значительно урезаны. В секретных соглашениях Великобритания обещала Австрии, что поддержит австрийскую оккупацию Боснии-Герцеговины, и заверила султана, что гарантирует целостность азиатской Турции. В ответ султан предоставил Англии право использовать Кипр как военно-морскую базу.

Ко времени начала конгресса опасность войны, вынудившая Берлин сыграть роль хозяина встречи, в значительной степени рассеялась. Основной функцией конгресса стало дать европейское благословение на то, что уже было согласовано. Сомнительно, пошел ли бы Бисмарк на риск выступать в заведомо опасной роли посредника, если бы мог предвидеть такой результат. Конечно, похоже на то, что неизбежность созыва конгресса побудила Россию и Англию провести быстрое сепаратное урегулирование, чтобы не подвергать себя опасности превратностей исхода европейского конгресса, когда выгоды было гораздо легче получить друг от друга на прямых переговорах.

Разработка деталей уже заключенного соглашения не является таким уж героическим трудом. Все крупные страны, за исключением Великобритании, были представлены своими министрами иностранных дел. Впервые в британской истории оба, и премьер-министр, и министр иностранных дел, приняли участие в международном конгрессе за пределами Британских островов, поскольку Дизраэли не желал, чтобы успех завершения в основном уже одобренных крупных дипломатических достижений достался одному Солсбери. Престарелый тщеславный Горчаков, который еще более полувека назад вел переговоры с Меттернихом на конгрессах в Лайбахе и Вероне, избрал Берлинский конгресс для своего последнего появления на международной арене. «Я не хочу угаснуть, как лампа. Я хочу закатиться, как светило», – объявил он по прибытии в Берлин²⁰⁷.

Когда Бисмарка спросили, кто, по его мнению, является центральной фигурой конгресса, тот указал на Дизраэли: «*Der alte Jude, das ist der Mann*» («Этот старый еврей и есть тот самый человек»)²⁰⁸. Хотя их происхождение настолько сильно отличалось друг от друга, эти два человека стали восхищаться друг другом. Оба стали сторонниками *Realpolitik* и терпеть не могли то, что они называли «морализаторским жаргоном». Религиозные обертоны высокопарных высказываний Гладстона (человека, которого презирали оба, и Дизраэли, и Бисмарк) представлялись им чистейшим вздором. Ни Бисмарк, ни Дизраэли не испытывали ни малейшего сочувствия к балканским славянам, которых считали постоянными вспылчивыми возмутителями спокойствия. Оба деятеля были склонны к подкалыванию и циничным остроумам, широким обобщениям и саркастическим уколам. Умирая от тоски из-за раздражающих деталей, Бисмарк и Дизраэли предпочитали разрешать политические проблемы смелыми, решительными приемами.

Можно даже утверждать, что Дизраэли являлся единственным государственным деятелем, которому когда-либо удалось превзойти Бисмарка. Дизраэли прибыл на конгресс и занял непоколебимую позицию человека, уже добившегося своих целей, – позицию, которой Каслри наслаждался в Вене, а Сталин – после Второй мировой войны. Оставшиеся вопросы касались

²⁰⁷ Там же. С. 157.

²⁰⁸ Цитируется в: Блэйк, *Дизраэли*. С. 646.

деталей реализации предшествующей договоренности между Великобританией и Россией, а также сугубо технический военный вопрос, касающийся того, кто – Турция или новая Болгария – будет контролировать балканские перевалы. Для Дизраэли стратегической проблемой конгресса было снизить порог недовольства Великобританией России за то, что ей пришлось отказаться от ряда своих завоеваний.

И Дизраэли это удалось, поскольку собственная позиция Бисмарка была такой сложной. Бисмарк не видел никаких германских интересов на Балканах и не имел никаких приоритетов по поводу неотложных вопросов, за исключением необходимости практически любой ценой предотвратить войну между Австрией и Россией. Он описывал собственную роль на конгрессе, как функцию «*ehrlicher Makler*» (честного брокера), и предварял почти каждое заявление на конгрессе словами: «*L'Allemagne, qui n'est liée par aucun intérêt direct dans les affaires d'Orient...*» («Германия, которая не имеет никаких прямых интересов в любых восточных вопросах...»)²⁰⁹.

Хотя Бисмарк слишком хорошо понимал, какая идет игра, он, тем не менее, чувствовал себя человеком из кошмарного сна, который видит надвигающуюся опасность, но не в состоянии ее избежать. Когда немецкий парламент заставил Бисмарка занять более твердую позицию, он резко ответил, что предпочитает вообще держаться в стороне. Бисмарк обратил внимание на риски, связанные с ролью посредника, сославшись на одно событие в 1851 году, когда царь Николай I выступил посредником между Австрией и Пруссией, по существу, на стороне Австрии:

«Тогда царь Николай сыграл ту самую роль, которую [мой оппонент] желал бы предложить Германии; он [Николай] пришел и сказал: «Я застрелю первого, кто выстрелит первым», и в результате мир был сохранен. Кому на пользу и кому во вред, это уже рассудит история, и я не хочу обсуждать это здесь. Я просто задаюсь вопросом: получил ли царь Николай хоть какую-то признательность за сыгранную им роль, когда он поддержал одну из сторон? Уж, конечно, не от нас в Пруссии! ...А отблагодарила ли царя Николая Австрия? Через три года началась Крымская война, и к этому я ничего добавлять не собираюсь»²¹⁰.

Он мог бы еще добавить, что вмешательство царя также не помешало Пруссии окончательно объединить Северную Германию, в чем и заключался смысл того события 1851 года.

Бисмарк использовал складывавшуюся ситуацию с максимальной эффективностью. Его подход, как правило, состоял в поддержке России в вопросах, касавшихся восточной части Балкан (типа аннексии Бессарабии), и в поддержке Австрии в вопросах, имевших отношение к западной их части (типа оккупации Боснии-Герцеговины). Только по одному вопросу он выступил против России. Когда Дизраэли пригрозил покинуть конгресс, если у Турции будут отняты горные перевалы в направлении Болгарии, Бисмарк обратился непосредственно к царю через голову ведущего переговоры от имени России Шувалова.

Таким образом, Бисмарк избежал отдаления от России, случившегося с Австрией после Крымской войны. Но целым и невредимым он из этой ситуации все-таки не вышел. Многие ведущие русские политики испытывали ощущение, будто у них обманом отняли победу. Россия могла отказаться от территориальных приобретений во имя легитимности (как это сделал Александр I во время греческого восстания в 1820-е годы, а Николай I во время революции 1848 года), но Россия никогда не отказывалась от конечной цели или признавала компромисс

²⁰⁹ W. N. Medlicott. *The Congress of Berlin and After* (Медликотт В. Н. *Берлинский конгресс и после него*). (Hamden, Conn.: Archon Books, 1963), p. 37.

²¹⁰ Бисмарк, в: Коль. *Политические речи*. Т. 7. С. 102.

как таковой. Действия по сдерживанию русского экспансионизма всегда вызывали сердитое негодование.

Так, после Берлинского конгресса Россия возложила вину за неудачи в достижении всех поставленных перед собою целей скорее на «Европейский концерт», чем на собственные чрезмерные амбиции; не на Дизраэли, который организовал коалицию против России и угрожал войной, а на Бисмарка, который руководил конгрессом с тем, чтобы избежать европейской войны. Россия привыкла к британской оппозиции; но принятие на себя таким традиционным союзником, как Германия, роли честного брокера воспринималось панславистами как оскорбление. Русская националистическая пресса именовала конгресс «европейской коалицией против России под предводительством князя Бисмарка»²¹¹, из которого сделали козла отпущения за провал России в деле достижения непомерных целей.

Руководитель русской делегации в Берлине Шувалов, который в силу своего положения знал реальное состояние дел, по окончании конгресса так определил сущность русских джингоистских подходов:

«Кое-кто предпочитает, чтобы народ жил с безумными иллюзиями по поводу того, что интересам России был нанесен ужасный урон действиями определенных иностранных держав, и в таком ключе развязывается вредная агитация. Все хотят мира; состояние страны настоятельно требует этого, но кое-кто хочет свалить на внешний мир воздействия недовольства, вызванного фактически ошибками политической деятельности кое-кого»²¹².

Шувалов, однако, не отражал русское общественное мнение. Хотя сам царь никогда не рисковал заходить так же далеко, как его джингоистская пресса или радикальные панслависты, он так же не был вполне доволен результатами конгресса. В течение последующих десятилетий германское вероломство в Берлине станет главной темой множества русских политических документов, включая ряд появившихся перед самым началом Первой мировой войны. «Союз трех императоров», основанный на единстве консервативных монархов, в прежнем виде больше существовать не мог. Отсюда, если в международных отношениях должна существовать связующая сила, то ею должна была бы стать реальная политика, *Realpolitik*.

В 1850-е годы Бисмарк отстаивал политику, которая была континентальным эквивалентом собственной политики Англии «блестящей изоляции». Он настаивал на необходимости уклоняться от обязательств до тех пор, пока не понадобится бросить все силы Пруссии в помощь той стороне, которая наилучшим образом служит национальному интересу Пруссии в конкретный данный момент. Такой подход исключал альянсы, сковывающие свободу действий, и, более того, давал Пруссии больше возможностей, чем любому из ее потенциальных соперников. В 1870-е годы Бисмарк стремился закрепить объединение Германии путем возвращения к традиционному союзу с Австрией и Россией. Но в 1880-е годы сложилась беспрецедентная ситуация. Германия стала слишком сильной, чтобы оставаться в стороне, так как это могло бы объединить Европу против нее. Не могла она также больше полагаться и на историческую, почти автоматическую, поддержку со стороны России. Германия стала гигантом, нуждающимся в друзьях.

Бисмарк разрешил эту дилемму путем полного изменения предшествующего подхода к внешней политике. Если он больше не мог регулировать баланс сил, беря на себя меньше обязательств, чем его потенциальный оппонент, он установит разнообразные отношения с большим количеством стран, чем любой из возможных оппонентов, и тем самым получает возможность выбрать из множества союзников, как того требуют обстоятельства. Отказавшись

²¹¹ См. в: Меддикотт. *Берлинский конгресс*.

²¹² Цитируется в: Кеннан. *Упадок европейского порядка*. С. 70.

от свободы маневра, что было характерно для его дипломатии в течение предыдущих 20 лет, Бисмарк начал создавать систему альянсов, тонко задуманных для того, чтобы, с одной стороны, не допустить объединения потенциальных противников Германии, а с другой стороны, чтобы сдерживать действия партнеров Германии. В каждой из бисмарковских, иногда довольно противоречивых, коалиций Германия всегда была ближе к каждому отдельно взятому партнеру, чем они сами по отдельности друг другу; отсюда, Бисмарк всегда обладал правом вето в отношении совместных действий, а также возможностью действовать самостоятельно. В течение десятилетия ему удалось заключить пакты с противниками своих союзников, так что он оказался в состоянии сдерживать напряженность в отношении всех сторон.

Бисмарк начал эту новую политику в 1879 году с заключения тайного союза с Австрией. Зная о недовольстве России после Берлинского конгресса, он теперь надеялся выстроить преграду дальнейшей русской экспансии. Не желая, однако, допустить использования Австрией немецкой поддержки для того, чтобы бросить вызов России, он также обеспечил себе вето по поводу австрийской политики на Балканах. Теплота, с которой Солсбери приветствовал австро-германский альянс – в библейском духе возвещанной «благой вести», – убедила Бисмарка в том, что не ему одному хочется сдерживать русский экспансионизм. Солсбери, без сомнения, надеялся на то, что теперь Австрия, поддержанная Германией, примет на себя британское бремя противостояния российской экспансии в направлении проливов. Ведение боев за чужие национальные интересы не было характерно для Бисмарка. Ему особенно претило заниматься этим на Балканах, поскольку он глубоко презирал ссоры в данном регионе. «Этим похитителям овец надо дать ясно понять, – бурчал он как-то по поводу Балкан, – что европейским правительствам незачем потворствовать их вожделям и обращать внимание на их междоусобную борьбу»²¹³. К несчастью для мира в Европе, его преемники забыли эти слова предостережения.

Бисмарк предлагал сдерживать Россию на Балканах через союзы, а не конфронтацией. Со своей стороны, и царя беспокоила перспектива оказаться в изоляции. Рассматривая Великобританию как главного противника России и считая Францию все еще слишком слабой и, более того, слишком приверженной республиканским принципам, чтобы быть надежным союзником, царь согласился возродить «Союз трех императоров», на этот раз на основе реальной политики.

Выгода от альянса с основным оппонентом не сразу была понята австрийским императором. Он предпочел бы входить в одну группировку с Великобританией, с которой у него был общий интерес заблокировать продвижение России к проливам. Но поражение Дизраэли в 1880 году и приход к власти Гладстона поставили крест на такой перспективе; участие Великобритании, даже косвенное, в протурецком антирусском союзе теперь было совершенно невероятно.

Второй «Союз трех императоров» более не делал вид, что его заботят какие-то моральные принципы. Выраженный в четкой обусловленности принципами реальной политики, он обязывал своих участников соблюдать позитивный нейтралитет на тот случай, когда кто-то из его членов вступит в войну с четвертым государством – к примеру, если Англия начнет войну с Россией или Франция с Германией. Германия, таким образом, была защищена от возможности войны на два фронта, а Россия была защищена от возможности восстановления Крымской коалиции (Великобритании, Франции и Австрии), в то время как обязательства Германии защищать Австрию на случай агрессии оставались в силе. Ответственность за сдерживание русского экспансионизма на Балканах перекладывалась на Великобританию, тем самым исключалась возможность вступления Австрии в направленную против России коалицию – по крайней мере, на бумаге. Балансируя частично уравновешенными союзами, Бисмарк оказался в

²¹³ Цитируется в: *Там же*. С. 141.

состоянии получить почти ту же самую свободу действий, которой он обладал на более раннем этапе дипломатической индифферентности. Более того, он устранил побудительные мотивы, которые могли бы превратить местный кризис во всеобщую войну.

В 1882 году, на второй год после образования второго «Союза трех императоров», Бисмарк раскинул свои сети еще шире, убедив Италию преобразовать Двойственный союз между Австрией и Германией в Тройственный союз, включавший Италию. В общем и целом Италия стояла в стороне от дипломатической активности в Центральной Европе, но на тот момент она негодовала из-за захвата Францией Туниса, опередившей ее собственные планы в Северной Африке. Точно так же непрочная итальянская монархия полагала, что некоторая демонстрация дипломатии великой державы могла бы дать ей возможность лучше сдерживать растущую волну республиканизма. Со своей стороны, Австрия искала дополнительную страховку на тот случай, если «Союз трех императоров» окажется неспособным сдерживать Россию. Формируя Тройственный союз, Германия и Италия пообещали оказать содействие друг другу на случай французского нападения, в то время как Италия дала обещание соблюдать нейтралитет по отношению к Австро-Венгрии на случай ее войны с Россией, облегчая тревоги Австрии по поводу войны на два фронта. Наконец, в 1887 году Бисмарк уговорил двух своих союзников – Австрию и Италию – заключить так называемые Средиземноморские соглашения с Великобританией, согласно которым участники соглашения договаривались совместно сохранять статус-кво в районе Средиземного моря.

В результате бисмарковской дипломатии появилось несколько взаимно переплетающихся альянсов, частью совпадающих по целям, а частью соперничающих друг с другом, что страховало Австрию от русского нападения, Россию от австрийского авантюризма, а Германию от окружения, и также вовлекало Англию в дело защиты от русской экспансии в направлении Средиземного моря. Чтобы свести к минимуму вызов столь сложной системе, Бисмарк делал все, что было в его силах, дабы удовлетворять французские амбиции повсеместно, за исключением Эльзас-Лотарингии. Он поддерживал французскую колониальную экспансию, отчасти для того, чтобы отвлечь французскую энергию от Центральной Европы, но в гораздо большей степени для того, чтобы столкнуть Францию с соперниками по колониальным приобретениям, особенно с Великобританией.

В течение десятилетия такой расчет оказался точным. Франция и Великобритания практически схватились друг с другом по поводу Египта. Франция отделилась от Италии из-за Туниса, а Великобритания продолжала противостоять России в Средней Азии и на подступах к Константинополю. Не желая вступать в конфликт с Англией, Бисмарк тщательно избегал колониальной экспансии до самой середины 1880-х годов, ограничивая внешнюю политику Германии континентом, где его целью было сохранение статус-кво.

Но, в конце концов, стало слишком трудно соблюдать все требования *Realpolitik*. Со временем конфликт между Австрией и Россией на Балканах стал неуправляемым. Если бы баланс сил оперировал в чистом виде, Балканы были бы разделены на русскую и австрийскую сферы влияния. Но общественное мнение было уже в достаточной степени возмущено подобной политикой, даже в самых автократических государствах. Россия не могла согласиться с такими сферами влияния, которые оставляли славянское население во власти Австрии, а Австрия не согласилась бы с тем, что она рассматривала как подвластные России «славянские территории» на Балканах.

Кабинетная дипломатия Бисмарка в стиле XVIII века становилась несовместимой с эпохой подключения широкого общественного мнения. Оба представительных правительства, как Великобритании, так и Франции, реагировали на общественное мнение в своих странах, как на само собой разумеющееся явление. Во Франции это означало рост давления по поводу возврата Эльзас-Лотарингии. Но наиболее разительный пример новой, жизненно важной роли общественного мнения оказался в Великобритании, когда Гладстон победил Дизраэли в 1880

году во время единственных в стране выборов, в которых спор велся преимущественно по вопросам внешней политики, а придя к власти, пересмотрел балканскую политику Дизраэли.

Гладстон, возможно, главная политическая фигура британской политики в XIX веке, рассматривал внешнюю политику примерно в таком же духе, что и американцы после Вильсона. Применяя к ней моральные, а не геополитические критерии, он возражал, что национальные чаяния болгар были на самом деле законны и что Великобритания, как братская христианская нация, обязана поддержать болгар в их борьбе с мусульманами-турками. Турок следует заставить вести себя прилично, по утверждениям Гладстона, при помощи коалиции государств, которая и примет на себя ответственность за управление Болгарией. Гладстон выдвигал ту же самую концепцию, которая при президенте Вильсоне стала известна как принцип «коллективной безопасности»: Европе следует действовать совместными усилиями, в противном случае Великобритания не будет действовать вообще.

«Это необходимо сделать, и это может быть сделано без риска совместными действиями держав Европы. Ваша мощь велика; но превыше всего, самым главным является то, что ум и сердце Европы в этом деле должны быть как один. Мне сейчас нужно говорить только о шестерке стран, которых мы называем великими державами: о России, Германии, Австрии, Франции, Англии и Италии. Союз между всеми ими не только важен, но и почти обязателен для достижения полного успеха и удовлетворения»²¹⁴.

В 1880 году обиженный упором Дизраэли на геополитику Гладстон начал свою знаменитую Мидлотианскую кампанию. Это была первая в истории разъездная избирательная кампания с остановками во всех подряд населенных пунктах и первая кампания, во время которой вопросы внешней политики были вынесены непосредственно на суд избирателей. Будучи уже пожилым человеком, Гладстон неожиданно получил признание как публичный оратор. Утверждая, что мораль является единственной основой здоровой внешней политики, Гладстон настаивал на том, что христианская добропорядочность и уважение к правам человека должны стать путеводной звездой британской внешней политики, а вовсе не баланс сил и национальный интерес. Во время одной остановки он объявил:

«Помните, что святость человеческой жизни в горных селениях Афганистана так же нерушима в глазах Господа Всемогущего, как и святость жизни вашей. Помните, что Тот, Кто объединил вас всех, создав разумными существами из одной плоти и крови, соединил вас узами взаимной любви... не ограничивающимися пределами христианской цивилизации...»²¹⁵

Гладстон проложил путь, которому позднее последовал Вильсон, заявив, что не может быть различия между моралью поведения отдельной личности и моралью государства. Как и Вильсон на одно поколение позже, он полагал, что обнаружил глобальную тенденцию к мирным переменам, происходящим под контролем мирового общественного мнения:

«Определенно то, что новый закон наций постепенно овладевает умами людей и становится руководящим на практике, распространяясь по всему миру. Это закон, признающий независимость, с неодобрением относящийся к агрессии, поощряющий мирное, а не кровавое разрешение споров, имеющий целью урегулирование постоянного, а не временного характера,

²¹⁴ Речь Гладстона «Осуждение болгарских злодеяний, творимых Турцией» от 9 сентября 1876 года, в: Уинер. *Великобритания: внешняя политика*. Т. III. С. 2448.

²¹⁵ Цитируется в: А. N. Wilson. *Eminent Victorians* (Уилсон Э. Н. *Знаменитые викторианцы*). (New York: W. W. Norton, 1989), p. 122. (Первое издание).

и, что самое главное, признающий в качестве наиболее полномочного высшего суда Страшный Суд цивилизованного человечества»²¹⁶.

Каждое слово в этом параграфе могло бы быть произнесено Вильсоном, и смысловое содержание, разумеется, было очень близким его обоснованию создания Лиги Наций. Когда в 1879 году Гладстон попытался обозначить различия между собственной политикой и политикой Дизраэли, он подчеркивал, что вместо поддержания баланса сил он бы стремился к тому, чтобы «европейские державы сохраняли свое единство. А зачем? Затем, что, поддерживая единство их всех, вы нейтрализуете и связываете эгоистические устремления каждой из них. ... Совместное действие фатально для эгоистических целей...»²¹⁷ Конечно, неспособность сплотить всю Европу была точной причиной роста напряженности. Не было ни одной предсказуемой проблемы – и уж, конечно, не проблема будущего Болгарии, – которая могла бы помирить Францию с Германией или Австрию с Россией.

Ни один британский премьер-министр до Гладстона не пользовался подобным языком. Каслри относился к «Европейскому концерту» как к инструменту реализации венских договоренностей. Пальмерстон видел в нем инструмент для сохранения баланса сил. Гладстон же, будучи далеким от того, чтобы видеть в «Европейском концерте» обеспечивающую статус-кво силу, предназначал ему революционную роль создателя совершенно нового мирового порядка. Этим идеям суждено было пребывать не востребованными до тех пор, пока поколением позднее на сцену не выступил Вильсон.

Бисмарку такие взгляды были просто ненавистны. Неудивительно, что эти две титанические фигуры всем сердцем ненавидели друг друга. Отношение Бисмарка к Гладстону напоминало отношение Теодора Рузвельта к Вильсону: он считал великого викторианца частично мошенником, частично чистым наказанием. В письме германскому императору в 1883 году «Железный канцлер» отмечал:

«Наша задача была бы намного легче, если бы в Англии окончательно не вымерла раса тех великих государственных деятелей прежних времен, имевших понятие о европейской политике. Невозможно вести политику, при которой можно было бы учитывать позицию Англии, со столь неспособным политиком, как Гладстон, который является всего лишь большим оратором»²¹⁸.

Точка зрения Гладстона на своего противника была гораздо более прямолинейной, например, когда он назвал Бисмарка «воплощением зла»²¹⁹.

Гладстоновские идеи по поводу внешней политики постигла та же участь, что и идеи Вильсона, потому что и те, и другие побудили их соотечественников скорее устраниваться от дел глобального характера, чем участвовать в них. На уровне повседневной дипломатии приход Гладстона к власти в 1880 году мало что изменил в имперской политике Великобритании в Египте и к востоку от Суэца. Но зато он помешал Великобритании стать каким-то фактором на Балканах и в целом в вопросах европейского равновесия.

²¹⁶ Гладстон, цитируется в: Carsten Holbraad. *The Concert of Europe: A Study in German and British International Theory, 1815–1914* (Холбраад Карстен. *Европейский концерт: очерки немецкой и британской теорий международных отношений, 1815–1914 годы*). (London: Longmans, 1970), p. 166.

²¹⁷ Там же. С. 145.

²¹⁸ Бисмарк – кайзеру Вильгельму, 22 октября 1883 года, в: Otto von Bismark. *Die Gesammelten Werke*, vol. 6 (Berlin, 1935), pp. 282–83. (Бисмарк Отто фон. *Собр. соч.* Т. 6. С. 282–283).

²¹⁹ Гладстон – лорду Гренвиллю, 22 августа 1873 года, в: Agatha Ramm, ed. *The Political Correspondence of Mr. Gladstone and Lord Granville: 1868–1876* (Политическая переписка г-на Гладстона и лорда Гренвилла: 1868–1876), vol. 2. (Oxford: Clarendon Press, 1952), p. 401.

Таким образом, второй срок пребывания Гладстона на своем посту (1880–1885 годы) имел парадоксальный эффект, который заключался в том, что была убрана страховочная сетка из-под Бисмарка, самого умеренного из государственных деятелей на континенте. Точно так же отход Каннинга от европейских дел подтолкнул Меттерниха к царю. Пока в британской внешней политике господствовали воззрения Пальмерстона/Дизраэли, Великобритания могла служить последним средством сдерживания на тот случай, если Россия слишком далеко заходила на Балканах или на подступах к Константинополю. При Гладстоне такая гарантия закончилась, что поставило Бисмарка в еще большую зависимость от становящегося все большим анахронизмом треугольника с Австрией и Россией.

Восточные дворы, все еще остававшиеся бастионами консерватизма, в определенном смысле оказались даже более восприимчивыми к националистическому общественному мнению, чем представительные правительства. Внутренняя структура Германии была задумана Бисмарком с таким расчетом, чтобы давать ему возможность применять на практике основополагающие принципы дипломатии баланса сил, но в ней оказалась заложена тенденция прибегать к демагогии. Несмотря на то что рейхстаг избирался на основе самого широкого по охвату избирательного права в Европе, германские правительства назначались императором и были подотчетны ему, а не рейхстагу.

Лишившись, таким образом, ответственности, депутаты рейхстага могли свободно предаваться самой экстремальной риторике. Тот факт, что военный бюджет ставился на голосование раз в пять лет, порождал у правительств искушение создавать кризисы как раз в тот самый важный для него год, когда ставилась на голосование оборонная программа. По прошествии достаточного времени эта система могла бы перерасти в конституционную монархию с правительством, подотчетным парламенту. Но в решающие годы формирования новой Германии правительства легко поддавались националистической пропаганде и слишком охотно шли на измышления относительно опасностей извне, чтобы собрать за собой своих избирателей.

Русская политика также страдала от безудержной пропаганды панславистов, основной темой которой был призыв к агрессивной политике на Балканах и открытому противостоянию Германии. Один русский вельможа в беседе с австрийским послом, состоявшейся в 1879 году, уже к концу царствования Александра II, так объяснял ситуацию:

«Люди здесь просто *боятся* националистической прессы. . . Именно флаг национализма, которым они прикрываются, защищает их и гарантирует им мощную поддержку. С тех самых пор, как националистические тенденции вышли так заметно на первый план, и особенно с того времени, как им удалось возобладать, вопреки здравому смыслу, в вопросе о вступлении в войну [с Турцией], так называемая «национальная» партия. . . стала настоящей силой, потому что в нее входит вся армия»²²⁰.

Австрия, еще одна многоязычная империя, находилась в аналогичном положении.

При таких обстоятельствах Бисмарку становилось все труднее совершать свое неустойчивое балансирование. В 1881 году на трон в Санкт-Петербурге взошел новый царь, Александр III, не сдерживавший себя идеологией консерватизма, как его дед Николай I, или личной приязнью к стареющему германскому императору, как его отец Александр II. Медлительный в делах и автократичный, Александр III не доверял Бисмарку, отчасти потому, что политика Бисмарка была чересчур сложной для его понимания. Как-то он даже сказал, что он, как только находит в депеше упоминание о Бисмарке, ставит крест рядом с его именем. Подозрительность царя подогревалась его женой-датчанкой, которая не могла простить Бисмарку отторжения Шлезвиг-Гольштейнии от ее родной страны.

²²⁰ Цитируется в: Кеннан. *Упадок европейского порядка*. С. 39.

Болгарский кризис 1885 года обострил все эти мотивации донельзя. Очередное восстание привело к возникновению еще большего по размерам болгарского государства, о чем Россия так страстно мечтала десятилетие назад и чего так опасались Великобритания и Австрия. Наглядно свидетельствуя, как история способна обмануть самые глубинные устремления, новая Болгария не только не оказалась под владычеством России, но объединилась под властью германского по происхождению князя. Санкт-Петербургский двор обвинял Бисмарка в том, чего на самом деле германский канцлер охотно постарался бы избежать. Русский двор был возмущен, а панслависты, которым мерещился заговор в любом уголке западнее Вислы, стали распространять слух, что Бисмарк стоит за дьявольским антирусским заговором. В такой обстановке Александр отказался возобновить в 1887 году «Союз трех императоров».

Бисмарк, однако, был не готов отказаться от русского варианта. Он знал, что если оставить Россию предоставленной самой себе, то она рано или поздно втянется в союз с Францией. И все же в условиях, сложившихся в 1880-е годы, когда Россия и Великобритания постоянно находились на грани войны, такого рода курс увеличил бы риски для России в отношении Германии и не снял бы британской враждебности. Более того, Германия все еще могла рассчитывать и на британский вариант, особенно теперь, когда Гладстон покинул свой пост. Во всяком случае, Александр имел все основания сомневаться в том, что Франция рискнет вступить в войну из-за Балкан. Иными словами, русско-германские связи все еще отражали вполне реальное, пусть и уменьшающееся, совпадение национальных интересов, а не просто предпочтения Бисмарка, – хотя, конечно, без его дипломатического таланта эти общие интересы не нашли бы формального выражения.

Будучи гениальным человеком, Бисмарк теперь выступил со своей последней крупной инициативой, так называемым «Договором перестраховки». Германия и Россия пообещали друг другу оставаться нейтральными в войне с третьей стороной, за исключением нападения Германии на Францию или России на Австрию. Теоретически Россия и Германия получали теперь гарантии от войны на два фронта, при условии, что будут обороняющейся стороной. Однако очень многое зависело от определения агрессора, особенно в связи с тем, что мобилизацию стали все в большей степени отождествлять с объявлением войны (смотри восьмую главу). А поскольку этот вопрос никогда не ставился, то имели место явные лимиты сферы применения Договора перестраховки, применению которого вредила настойчивость царя на сохранении его в секретности.

Секретность данного соглашения была ярчайшим подтверждением конфликта между требованиями кабинетной дипломатии и требованиями, предъявляемыми все больше демократизирующейся внешней политикой. Вопросы до такой степени усложнились, что внутри секретного Договора перестраховки наличествовали целые две степени секретности. На втором, более высоком уровне секретности находилось строго конфиденциальное приложение, в котором Бисмарк обещал не чинить помех русским попыткам обретения Константинополя и содействовать расширению русского влияния в Болгарии. Ни одна из этих гарантий не пришлась бы по вкусу союзнику Германии Австрии, не говоря уже о Великобритании, – хотя Бисмарк вряд ли опечалился, если бы Великобритания и Россия впутались в спор по поводу будущего проливов.

Несмотря на все эти сложности, Договор перестраховки обеспечивал столь необходимую связь между Санкт-Петербургом и Берлином. К тому же он заверял Санкт-Петербург в том, что, хотя Германия и будет защищать целостность Австро-Венгерской империи, она не будет ей помогать в экспансии в ущерб России. Германия, таким образом, получала, по крайней мере, отсрочку в вопросе создания франко-русского союза.

Тот факт, что Бисмарк поставил свою сложнейшую внешнюю политику на службу сдерживания и сохранения мира, подтверждается его реакцией на давление со стороны немецких военных руководителей, требовавших упреждающей войны против России после ликви-

дации «Союза трех императоров» в 1887 году. Бисмарк погасил такого рода спекуляции своим выступлением в рейхстаге, в котором он попытался поддержать на высоте репутацию Санкт-Петербурга ради предотвращения франко-русского альянса:

«Мир с Россией не будет нарушен с нашей стороны; и я не верю в то, что Россия нападет на нас. Не верю я и в то, что русские ищут повсюду союзников для того, чтобы совместно с другими напасть на нас, или что они намереваются воспользоваться трудностями, которые могли бы у нас возникнуть на противоположном направлении, с тем, чтобы без труда напасть на нас»²²¹.

Тем не менее, несмотря на всю гибкость и сдержанность, балансирование Бисмарка должно было вскоре прекратиться. Манипуляции становились слишком сложными даже для такого мастера. Перекрывающие друг друга союзы, предназначенные для обеспечения сдержанности, вместо этого вызвали подозрения, в то время как растущее значение общественного мнения сковывало всем свободу маневрирования.

Какой бы умелой ни была дипломатия Бисмарка, необходимость в таких усложненных до максимума манипуляциях была подтверждением тех перегрузок, которые мощная объединенная Германия возложила на европейский баланс сил. Даже когда Бисмарк еще находился у руля, имперская Германия вызывала беспокойство. И действительно, интриги Бисмарка, задуманные с целью обеспечения всеобщего успокоения, со временем приобрели непривычно беспокойный характер, отчасти от того, что его современники с таким трудом понимали суть все более запутанных комбинаций. Боясь, что их переиграют, они стали страховаться от непредвиденных ситуаций. Но такого рода действия также ограничивали гибкость, эту главную движущую силу реальной политики, как подмену конфликта.

Хотя дипломатия в стиле Бисмарка, возможно, уже была обречена к концу срока его пребывания на своем посту, вовсе не обязательно было, чтобы ей на смену пришла бездумная гонка вооружений и жесткая система союзов, сопоставимая скорее с холодной войной, чем с традиционным поддержанием баланса сил. В течение почти 20 лет Бисмарк сохранял мир и ослаблял международную напряженность, демонстрируя сдержанность и гибкость. Но он заплатил свою цену за это непонятое величие, поскольку его преемники и предполагаемые подражатели не смогли из его урока извлечь ничего лучшего, как нарастить вооружения и развязать войну, которая едва не стала причиной самоубийства европейской цивилизации.

К 1890 году концепция баланса сил исчерпала весь свой потенциал. Это стало неизбежностью, прежде всего, в результате появления множества государств из пепла средневековых устремлений к всемирной империи. В XVIII веке ставший следствием этого принцип главенства интересов государства, *raison d'état*, приводил к многочисленным войнам, главной задачей которых было не допустить возникновения какой-то господствующей державы и воссоздания европейской империи. Баланс сил сохранял свободу отдельных государств, но не сохранил мир в Европе.

²²¹ Там же. С. 258.

Глава 7

Политическая машина Судного дня. Европейская дипломатия перед Первой мировой войной

К концу первого десятилетия XX века «Европейский концерт», поддерживавший мир в течение столетия, по целому ряду практических причин прекратил свое существование. Великие державы в беспечной слепоте увлеклись биполярной борьбой группировок, приведшей к формированию двух организованных по жесткому принципу блоков, что явилось предтечей расстановки сил в холодной войне через 50 лет. Имелась, однако, одна существенная разница. В век ядерных вооружений предотвращение войны явилось главной, быть может, даже основной, внешнеполитической целью. В начале XX века войны еще могли начинаться с определенной долей беспечности. Действительно, отдельные европейские мыслители придерживались того взгляда, будто периодические кровопускания носят очистительный характер типа катарсиса – наивная гипотеза, которую грубейшим образом разрушила Первая мировая война.

В течение десятилетий историки спорят, кто должен нести ответственность за возникновение Первой мировой войны. И тем не менее ни одна страна не может быть обвинена за этот безумный рывок к катастрофе. Каждая из великих держав внесла свой вклад близорукости и безответственности, причем делала это с такой удивительной беззаботностью, какая уже никогда не сможет повториться, так как эта сотворенная ими катастрофа врезалась в коллективную память Европы. Они позабыли предупреждение Паскаля в «Мыслях» – если они вообще его знали – «Мы беспечно устремляемся к пропасти, заслонив глаза, чем попало, чтобы не видеть, куда бежим».

А виноватых было, разумеется, хоть пруд пруди. Европейские нации превратили баланс сил в гонку вооружений, не понимая, что современные технологии и всеобщая воинская повинность превратили всеобщую войну в величайшую угрозу их собственной безопасности и европейской цивилизации в целом. Хотя все нации Европы собственной политикой внесли свой вклад в приближение катастрофы, именно Германия и Россия в силу своей природы подорвали чувство сдержанности.

На протяжении процесса объединения Германии никто не задумывался относительно потенциального влияния объединения на баланс сил. В течение 200 лет Германия была жертвой, а не инициатором войн в Европе. Во время Тридцатилетней войны Германия понесла потери, оцениваемые в размере 30 процентов всего населения того времени, а самые решающие битвы династических войн XVIII столетия и Наполеоновских войн проходили на германской земле.

Отсюда почти неизбежно следовало, что объединенная Германия поставит перед собой цель предотвратить повторение всех этих трагедий. Но вовсе не было неизбежным то, что новое немецкое государство должно было воспринять этот вызов в основном как военную проблему или что немецкие дипломаты после Бисмарка должны были бы проводить внешнюю политику со столь пугающей самоуверенностью. Если Пруссия Фридриха Великого была самой слабой из великих держав, то вскоре после объединения Германия стала самой сильной и, будучи таковой, оказалась вызывающей беспокойство у своих соседей. Для принятия участия в «Европейском концерте» ей требовалось проявлять особую сдержанность во внешней политике²²². К сожалению, после ухода Бисмарка сдержанность была тем качеством, которого больше всего недоставало Германии.

²²² Franz Schnabel. *Das Problem Bismarck* (Шнабель Франц. *Проблема Бисмарка*) в: *Hochland*, vol. 42 (1949–1950), p. 1–27.

Причиной, по которой германские государственные деятели были одержимы идеей грубой силы, было то, что Германия, в отличие от других национальных государств, не обладала интеграционной философской базой. Ни один из идеалов, формировавших национальные государства в остальной части Европы, в бисмарковских построениях не присутствовал – ни акцент Великобритании на традиционные свободы, ни призыв Великой французской революции к всеобщей вольности, ни даже мягкий универсалистский империализм Австрии. Строго говоря, бисмарковская Германия вообще не была воплощением чаяний о создании национального государства, поскольку он преднамеренно исключил из нее австрийских немцев. Бисмарковское германское государство, рейх, *Reich*, было некоей уловкой, в основном представляющей собой Большую Пруссию, чьей главной целью было усиление собственной мощи.

Отсутствие интеллектуальных корней было принципиальной причиной нецелесообразности германской внешней политики. Память о том, что Германия в течение столь долгого времени служила главным полигоном Европы, внушила немецкому народу глубоко укоренившееся чувство отсутствия безопасности. Хотя империя Бисмарка была теперь сильнейшей державой на континенте, германским руководителям всегда казалось, что их поджидает какая-то неясная угроза, о чем свидетельствовала их одержимость постоянной боеготовностью, отягощенная воинственной риторикой. Германские военные стратеги всегда исходили из необходимости отбиться от комбинации *всех* соседей Германии одновременно. Готовя себя к наихудшему из сценариев, они способствовали превращению его в реальность. Поскольку Германия, способная победить коалицию из всех своих соседей, могла, само собой разумеется, без труда получить преобладание над каждым из них в отдельности. При виде военного колосса у своих границ соседи Германии объединялись в целях взаимной защиты, превращая германское стремление к безопасности в фактор, способствующий возникновению ощущения отсутствия безопасности.

Мудрая и сдержанная политика, возможно, отсрочила бы, а то и вовсе предотвратила надвигающуюся опасность. Но преемники Бисмарка, отбросив его сдержанность, все больше и больше полагались на силу как таковую, что подтверждалось в одном из их излюбленных высказываний – что Германия должна служить молотом, а не наковальней европейской дипломатии. Получалось, что Германия потратила так много энергии на достижение государственного статуса, что у нее не оказалось времени понять, какой же цели будет служить это новое государство. Имперской Германии никогда не удавалось выработать концепцию собственного национального интереса. Под влиянием эмоций момента и из-за полнейшего отсутствия понимания чужой психологии немецкие руководители после Бисмарка сочетали свирепость с нерешительностью, ввергая свою страну вначале в изоляцию, а затем и в войну.

Бисмарк приложил огромные усилия для понижения значения утверждений о немецкой мощи, используя сложнейшую систему альянсов для сдерживания множества своих партнеров и предотвращения перерастания присущих им несовместимостей в войну. У преемников Бисмарка не хватало терпения и искусности для решения задач такой сложности. Когда император Вильгельм I умер в 1888 году, его сын Фридрих, либерализм которого так тревожил Бисмарка, правил всего лишь девяносто восемь дней, умерев от рака горла. Его преемником стал его сын, Вильгельм II, который своей театральной манерой вызывал у наблюдателей неловкое ощущение того, что правитель самой могучей нации Европы ведет себя как незрелый и неустойчивый человек. Психологи объясняли беспокойную агрессивность Вильгельма попыткой компенсировать рождение с деформированной рукой – серьезный удар для члена прусской королевской семьи с ее возвеличенными военными традициями. В 1890 году безбашенный молодой император отправил в отставку Бисмарка, не желая править в тени столь влиятельной личности. С тех пор именно кайзеровская дипломатия стала самой главной для дела мира в Европе. Уинстон Черчилль передал суть личности Вильгельма в язвительно-сардоническом стиле:

«Просто ходить гоголем и бряцать не вынутым из ножен мечом. Он желал только одного – чувствовать себя, как Наполеон, и быть похожим на Наполеона, но без необходимости сражаться в его битвах. Разумеется, на меньшее он бы не согласился. Если вы вершина вулкана, то самое меньшее, что вы делаете, вы дымитесь. Вот и он курился, как столп облачный днем и столп пламени ночью²²³, что и могли наблюдать те, кто стоял в стороне; медленно и верно эти встревоженные наблюдатели собирались вместе и объединялись ради совместной защиты.

...Но под всем этим позированием и внешними атрибутами находился весьма ординарный, тщеславный, однако в целом вполне благонамеренный человек, надеявшийся сойти за второго Фридриха Великого»²²⁴.

Кайзер больше всего хотел международного признания важности Германии и, превыше всего, ее мощи. Он пытался проводить то, что в его окружении называлось *Weltpolitik*, или «глобальной политикой», даже не определяя этот термин и не устанавливая его соотношение с немецким национальным интересом. Лозунги маскировали интеллектуальный вакуум: за воинственными речами пряталась внутренняя пустота; широковещательные слоганы скрывали нерешительность и отсутствие умения ориентироваться в разных ситуациях. Хвастливость вкупе с нерешительностью в поступках отражали наследие двухвекового германского провинциализма. Даже если бы немецкая политика была мудрой и ответственной, интеграция германского колосса в существовавшие международные рамки была бы непосильной задачей. Но взрывоопасная смесь известных личностей и внутренних институтов не допускала подобного курса, ведя вместо этого к бездумной внешней политике, которая специализировалась на том, чтобы на Германию сваливалось все то, чего она всегда боялась.

В продолжение 20 лет после отставки Бисмарка Германия умудрилась способствовать невероятной смене альянсов. В 1898 году Франция и Великобритания были на грани войны из-за Египта. Враждебные отношения между Великобританией и Россией являлись постоянным фактором международных отношений почти на всем протяжении XIX века. Великобритания в разное время искала союзников против России, пробуя привлечь на эту роль Германию, прежде чем остановилась на Японии. Никому тогда не пришло бы в голову, что Великобритания, Франция и Россия в итоге окажутся на одной стороне. И тем не менее через 10 лет именно это произошло в результате воздействия настойчивой и угрожающей германской дипломатии.

Несмотря на всю сложность своих маневров, Бисмарк никогда и не пытался выйти за рамки традиционного баланса сил. Однако его преемников явно не устраивал баланс сил, и они никогда даже не пытались понять, что чем больше они наращивают собственные силы, тем больше способствуют созданию компенсационных объединений и наращиванию вооружений, присущих системе европейского равновесия.

Немецкие руководители с негодованием относились к нежеланию других стран вступать в союз со страной, уже ставшей сильнейшей в Европе, чья мощь порождала страхи по поводу гегемонии Германии. Тактика запугивания представлялась этим руководителям наилучшим способом заставить своих соседей увидеть пределы их собственной мощи и, предположительно, понять выгоды дружбы с Германией. Но столь унижающий противную сторону подход возымел обратный эффект. Пытаясь добиться абсолютной безопасности для своей собственной страны, немецкие руководители, пришедшие к власти после Бисмарка, угрожали всем остальным европейским странам их полнейшей незащищенностью, практически автоматически вызывая противоборствующие коалиции. Нет ускоренных методов дипломатии, веду-

²²³ Аллюзия с Богом, который вел евреев в странствованиях по пустыне, идя перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном (Чис. 9:17). – Прим. перев.

²²⁴ Winston S. Churchill. *Great Contemporaries* (Черчилль Уинстон С. *Великие современники*). (Chicago; London: University of Chicago Press, 1973), p. 37ff.

щих к доминированию; только одна дорога ведет к нему, и это война. Такой урок провинциальные лидеры постбисмарковской Германии усвоили лишь тогда, когда было уже слишком поздно, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

По иронии судьбы на протяжении значительного времени существования императорской Германии основной угрозой миру считалась не Германия, а Россия. Вначале Пальмерстон, а потом Дизраэли были убеждены в том, что Россия намеревается проникнуть в Египет и в Индию. К 1913 году аналогичная боязнь немецких руководителей, что страну должны захлестнуть русские орды, достигла такого накала, что она в значительной степени способствовала их решению устроить роковое противостояние годом позже.

На самом деле было мало веских доказательств в подтверждение того, что Россия могла бы стремиться к созданию европейской империи. Утверждения немецкой военной разведки о наличии доказательства того, что Россия на самом деле готовится к подобной войне, были настолько верны, насколько они были безосновательны. Все страны из обоих альянсов, опьяненные новыми технологическими возможностями железных дорог и мобилизационных графиков, постоянно занимались военной подготовкой, не соответствующей масштабам спорных проблем. Но именно потому, что эти лихорадочные приготовления не могли быть сопряжены с какой-то конкретной целью, их истолковывали как признаки широкомасштабных, если не расплывчатых, амбиций. Характерно, что князь фон Бюлов, германский канцлер с 1900 по 1909 год, присоединился к точке зрения Фридриха Великого, утверждавшего, что «из всех соседей Пруссии именно Российская империя наиболее опасна как с точки зрения силы, так и ее местоположения»²²⁵.

Вся Европа, бесспорно, находила как нечто странное огромные просторы и упорство России. Все страны Европы пытались добиваться величия путем угроз и ответов на угрозы. Но Россия, казалось, движется вперед, повинаясь собственному ритму, сдерживаемому лишь превосходящими силами, как правило, посредством войны. В целом ряде многочисленных кризисов представлялось, что России зачастую вполне доступно разумное урегулирование, и результаты его были намного лучше получаемого на самом деле. И все же Россия всегда предпочитала риск поражения компромиссу. Это проявилось во время Крымской войны 1854 года, Балканских войн 1875–1878 годов, а также накануне русско-японской войны 1904–1905 годов.

Одним из объяснений подобной тенденции является тот факт, что Россия частью принадлежит Европе, частью Азии. На Западе Россия выступала составной частью «Европейского концерта» и участвовала в сложных правилах игры по сохранению баланса сил. Но даже в рамках этой организации русские руководители обычно с раздражением относились к призывам поддерживать равновесие и были склонны прибегнуть к войне, если их требования не удовлетворялись. К примеру, в преддверии Крымской войны 1854 года, во время Балканских войн и вновь уже в 1885 году, когда Россия чуть не вступила в войну с Болгарией. В Средней Азии Россия имела дело со слабыми ханствами, где принцип баланса сил был неприменим, а в Сибири – пока не натолкнулась на Японию – она имела полную возможность продвигаться в значительной степени точно так же, как Америка через слабозаселенный континент.

На европейских форумах Россия обычно прислушивалась к аргументам в пользу сохранения баланса сил, но не всегда следовала основополагающим принципам. В то время как европейские страны всегда утверждали, что судьбу Турции и Балкан должен решать лишь «Европейский концерт», Россия, со своей стороны, неизменно стремилась решать эти вопросы односторонне и с применением силы. Это видно по Адрианопольскому договору 1829 года, Ункяр-Искелесийскому договору 1833 года, конфликту с Турцией 1853 года, а также по Балканским войнам 1875–1878 и 1885 годов. Россия предполагала, что Европа будет реагиро-

²²⁵ Фридрих Великий, цитируется в: *Memoirs of Prince von Bulow: From Secretary of State to Imperial Chancellor (Мемуары князя фон Булова: от статс-секретаря до рейхсканцлера)*. (Boston: Little, Brown and Co, 1931), p. 52.

вать по-иному, и чувствовала себя оскорбленной, когда этого не происходило. Та же проблема повторилась после Второй мировой войны, когда западные союзники утверждали, что судьба Восточной Европы касается Европы в целом, а Сталин настаивал на том, что Восточная Европа, и особенно Польша, находится в пределах советской сферы влияния и в силу этого ее будущее должно решаться, не обращая внимания на западные демократии. И, как его предшественники-цари, Сталин действовал в одностороннем порядке. Однако неизбежно создавалась какая-то коалиция западных сил для оказания противодействия военным выпадам России и развала того, что было навязано Россией ее соседям. В период после Второй мировой войны понадобилось целое поколение, чтобы вновь утвердилась подобная историческая модель.

Россия на марше редко испытывала понимание предела. Когда ей препятствовали, она таила обиду и выжидала удобный момент для реванша: Великобритании – в течение большей части XIX века, Австрии – после Крымской войны, Германии – после Берлинского конгресса и Соединенным Штатам во время холодной войны. Остается дожидаться того, как новая постсоветская Россия будет реагировать на крах своей исторической империи и вовлеченных в ее орбиту спутников, когда полностью пройдет шок после распада.

В Азии чувство миссионерства у России в еще меньшей степени сдерживалось политическими или географическими препятствиями. В течение всего XVIII века и значительной части XIX Россия оказывалась одна на Дальнем Востоке. Она была первой европейской страной, вступившей в контакт с Японией, и первой, кто заключил договор с Китаем. Эта экспансия, осуществлявшаяся незначительными силами поселенцев и военных искателей приключений, конфликтов с европейскими державами не вызвала. Спорадические русские столкновения с Китаем не представлялись какими-то значительными. За содействие России в борьбе против воевавших между собой племен Китай передавал под русское управление значительные территории как в XVIII, так и в XIX веке, дав повод для ряда «неравноправных договоров», которые с тех пор осуждало каждое из китайских правительств, особенно коммунистическое.

Характерно, что с каждым новым приобретением, похоже, российский аппетит по отношению к азиатским территориям только рос. В 1903 году Сергей Витте, министр финансов и доверенное лицо царя, писал Николаю II: «С учетом нашей огромной границы с Китаем и нашего исключительно выгодного положения поглощение Россией значительной части Китайской империи является лишь вопросом времени»²²⁶. Так же, как и в отношении Оттоманской империи, русские руководители исходили из того, что Дальний Восток является внутренним делом России, и никто в мире не имеет права вмешиваться. Подчас продвижение России осуществлялось на всех фронтах одновременно; часто они перемещались вперед или назад, в зависимости от того, где экспансия казалась менее рискованной.

Механизм выработки политики имперской России отражал двойственный характер этой империи. Российское министерство иностранных дел²²⁷ являлось департаментом аппарата канцлера, и оно было укомплектовано независимыми чиновниками, ориентирующимися преимущественно на Запад²²⁸. Чаще всего прибалтийские немцы, эти чиновники рассматривали Россию как европейское государство с политикой, которая должна осуществляться в контексте

²²⁶ Цитируется в: Maurice Bompard. *Mon Ambassade en Russie, 1903–1908* (Бомпар Морис. *Мое посольство в России, 1903–1908*). (Paris, 1937), p. 40.

²²⁷ Как представляется, структура внешнеполитического органа Российской империи представлена не совсем точно. После Посольского приказа внешними делами в России формально с 1720 по 1832 год занималась Государственная коллегия иностранных дел, которую возглавлял государственный канцлер или министр иностранных дел, возглавляемое им ведомство называлось также министерством иностранных дел. Азиатский департамент был создан в 1819 году при министерстве иностранных дел. Канцелярия занималась перепиской с загранучреждениями и другими техническими вопросами. В соответствии с указом Николая I от 1832 года «Об образовании Министерства иностранных дел» к существовавшему в рамках ГКИД Азиатскому департаменту добавлялся также Департамент внешних сношений и другие подразделения. – *Прим. перев.*

²²⁸ В. Н. Sumner. *Russia and the Balkans 1870–1880* (Самнер Б. Х. *Россия и Балканы 1870–1880 годы*). (Hamden, Conn.: Shoe String Press, 1962), p. 23ff.

«Европейского концерта». Роль Канцелярии, однако, оспаривалась Азиатским департаментом, который был столь же независимым и отвечал за русскую политику по отношению к Османской империи, Балканам и Дальнему Востоку – другими словами, за каждый фронт, на котором Россия реально продвигалась вперед.

В отличие от аппарата канцлера, Азиатский департамент не считал себя частью «Европейского концерта». Рассматривая страны Европы как препятствия к осуществлению собственных планов, Азиатский департамент считал европейские страны не имеющими отношения к его деятельности и при всякой возможности стремился достигать поставленные Россией цели посредством односторонних договоров или путем войн, развязываемых без оглядки на Европу. Поскольку Европа настаивала на том, чтобы вопросы, связанные с Балканами и Османской империей, решались «концертом», частые конфликты были неизбежны, в то время как возмущение России росло по мере того, как ее планы все чаще срывались странами, которые она считала лезущими не в свое дело.

Частью оборонительная, частью наступательная, русская экспансия всегда носила двойственный характер, и эта ее двойственность порождала споры на Западе относительно истинных намерений России, которые продолжались и в течение советского периода. Одной из причин постоянных трудностей в понимании целей и задач России было то, что российское правительство, даже в коммунистический период, было более схоже с самодержавным двором XVIII века, чем с правительством супердержавы века XX. Ни императорская, ни коммунистическая Россия не породили великого министра иностранных дел. Такие, к примеру, министры иностранных дел, как Нессельроде, Горчаков, Гирс, Ламсдорф или даже Громыко, были подготовленными и способными людьми, но у них не было полномочий планировать долгосрочную политику. Они были чуть более чем слуги непостоянного и легко выходящего из себя самодержца, за благосклонность которого им приходилось соперничать с другими посреди множества узловых внутренних проблем. У императорской России не было ни Бисмарка, ни Солсбери, ни Рузвельта – короче говоря, ни одного практического министра, наделенного исполнительной властью по всем вопросам внешней политики.

И даже тогда, когда правящий царь был сильной личностью, автократическая система выработки в России политических решений мешала формированию согласованной внешней политики. Стоило кому-то из царей просто сработаться с каким-то министром иностранных дел, как последнего стремились удержать на посту до глубокой старости, как было с Нессельроде, Горчаковым и Гирсом. Все эти три министра работали на своем посту в течение большей части XIX века. Даже будучи престарелыми людьми, они оказывались неоценимо полезными для иностранных государственных деятелей, которые считали их единственными лицами, с которыми стоило встречаться в Санкт-Петербурге, потому что они были единственными сановниками, имевшими доступ к царю. Протокол запрещал практически всем, кроме них, просить аудиенцию у царя.

Процесс принятия решений в еще большей степени усложнялся тем, что исполнительная власть царя часто сталкивалась с его аристократическими представлениями о царственном образе жизни. Например, сразу же после подписания Договора перестраховки, в ключевой период в российских иностранных делах, Александр III уезжает из Санкт-Петербурга на целых четыре месяца, с июля по октябрь 1887 года, и катается на яхте, посещает маневры и наносит визиты к родственникам супруги в Дании. И в такой ситуации, когда единственное принимающее решения лицо находится вне пределов досягаемости, внешняя политика России испытывала большие трудности. При этом политические шаги царя не только часто были подвержены сиюминутным настроениям, но на них также оказывала огромное влияние националистическая пропаганда, раздуваемая военными. Авантюристически настроенные военные, типа генерала Кауфмана в Средней Азии, вряд ли вообще обращали внимание на министров

иностранных дел. Горчаков, вероятно, говорил правду о том, как мало он знает о происходящем в Средней Азии, в беседе с британским послом, описанной в предыдущей главе.

К временам Николая II, правившего с 1894 по 1917 год, Россия была вынуждена расплачиваться за внутренние деспотические институты. Вначале Николай втянул Россию в катастрофическую войну с Японией, а затем позволил собственной стране стать пленником системы альянсов, сделавшей войну с Германией практически неизбежной. В то время как энергия России была направлена в сторону завоеваний и расходовалась на сопутствующие внешнеполитические конфликты, ее социально-политическая структура становилась весьма непрочной. Поражение в войне с Японией в 1905 году должно было послужить предупреждением о том, что время для внутренней консолидации, – как утверждал великий реформатор Петр Столыпин, – на исходе. Россия нуждалась в передышке; получила же она очередное рискованное заграничное предприятие. Остановленная в Азии, она вернулась к панславистским мечтаниям и прорыву к Константинополю, но на этот раз все вышло из-под контроля.

Ирония заключалась в том, что на определенном этапе экспансионизм более не умножал мощь России, но привел ее к упадку. В 1849 году Россия всеми считалась сильнейшей страной Европы. Через 70 лет династия рухнула, и она временно выбыла из числа великих держав. В промежутке между 1848 и 1914 годом Россия была вовлечена в более чем шесть войн (помимо колониальных), намного больше, чем любая другая великая держава. В каждом из этих конфликтов, за исключением интервенции в Венгрию в 1849 году, финансово-политические потери России намного превышали ожидаемые выгоды. Хотя каждый из этих конфликтов собирал свою дань, Россия продолжала отождествлять свой статус великой державы с территориальной экспансией; она страстно желала все больше земель, которые ей не были нужны и которые она не могла освоить. Ближайший советник царя Николая II Сергей Витте обещал ему, что «с берегов Тихого океана и с вершин Гималаев Россия будет господствовать не только в делах Азии, но также и Европы»²²⁹. Экономическое и социально-политическое развитие принесло бы гораздо больше пользы для статуса великой державы в индустриальный век, чем превращение Болгарии в сателлита или установление протектората в Корее.

Немногие из русских руководителей, например Горчаков, были достаточно мудры, чтобы осознать, что для России «расширение территории это расширение слабости»²³⁰, но их точка зрения ни в коем разе не была способна умерить российскую манию относительно новых завоеваний. В итоге коммунистическая империя развалилась по тем же причинам, что и царская. Советскому Союзу было бы гораздо лучше оставаться в пределах границ, сложившихся после Второй мировой войны, а с другими странами установить отношения так называемой «спутниковой орбиты», наподобие тех, которые он поддерживал с Финляндией.

Когда два колосса – мощная, безудержная Германия и огромная, неугомонная Россия – сталкиваются друг с другом в самом центре континента, конфликт становится вероятным, независимо от того, что Германии нечего приобретать от войны с Россией, а Россия может потерять все в войне с Германией. В силу этого мир в Европе зависел от одной-единственной страны, которая на протяжении всего XIX века играла роль балансира так умело, проявляя при этом такую умеренность.

В 1890 году термин «блестящая изоляция» все еще являлся точной характеристикой британской внешней политики. Британские подданные с гордостью называли свою страну «маховиком» Европы, вес которого не давал возможности ни одной из коалиций континентальных держав стать господствующей. Участие в альянсах было традиционно почти так же неприемлемо для британских государственных деятелей, как и для американских изоляционистов. И

²²⁹ Витте Сергей, цитируется в: Hugh Seton-Watson. *The Russian Empire, 1801–1917* (Сетон-Уотсон Хью. *Российская империя, 1801–1917 годы*). (Oxford: Clarendon Press, 1967), p. 581–82.

²³⁰ Цитируется в: Lord Augustus Loftus. *Diplomatic Reminiscences* (Лофтус Огастес, лорд. *Дипломатические воспоминания*), 2nd ser., vol. 2 (London, 1892), p. 38.

тем не менее через 25 лет англичане будут сотнями тысяч умирать на топкой грязи болот Фландрии, воюя на стороне французского союзника против германского противника.

В британской политике произошли знаменательные перемены в промежутке между 1890 и 1914 годом. Нет ни малейшей иронии в том, что человек, проведший Великобританию через первый этап этого переходного периода, был олицетворением всего традиционного для Великобритании и британской внешней политики. Маркиз Солсбери был типичным англичанином. Он являлся отпрыском древнего рода Сесил, чьи предки служили первыми министрами британских монархов со времен королевы Елизаветы I. Известно, что король Эдуард VII, правивший с 1901 по 1910 год и происходивший из неожиданно выдвинувшейся семьи, по сравнению с Сесилами, то и дело сетовал по поводу снисходительного тона, к которому прибегал Солсбери в разговоре с ним.

Карьера Солсбери в мире политики была predetermined и не требовала каких-то усилий. Получив образование в колледже Крайст-Черч Оксфордского университета, юный Солсбери путешествовал по империи, совершенствовал свой французский, встречался с главами государств. К 48 годам, побывав в должности министра по делам Индии, он стал министром иностранных дел в кабинете Дизраэли и сыграл важную роль на Берлинском конгрессе, в ходе которого провел большую часть повседневных переговоров. После смерти Дизраэли Солсбери принял на себя лидерство в консервативной партии и, если не считать последнего периода пребывания Гладстона у власти в 1892–1894 годах, выступал как ведущая фигура британской политики в течение последних пятнадцати лет XIX века.

Позиция Солсбери в некоторых смыслах чем-то напоминала позицию президента Буша, хотя английский политик дольше занимал высший государственный пост в своей стране. Оба человека овладели миром, ставшим меньше к тому времени, когда они пришли к власти, хотя этот факт тогда ни для одного из них не был очевиден. Оба оставили свой след тем, что знали, как обращаться с тем, что они унаследовали. Взгляды Буша на мир были сформированы холодной войной, во время которой он достиг известности и завершением которой обстоятельства вынудили его руководить на самой вершине карьеры. Солсбери набирался опыта в эпоху Пальмерстона с ее абсолютным британским превосходством в заморских территориях и непримиримым англо-русским соперничеством, причем в период его руководства страной и то, и другое подходило к концу.

Правительство Солсбери должно было биться над проблемой ослабления относительного положения Великобритании. Ее огромная экономическая мощь теперь сравнялась с силой Германии; Россия и Франция расширяли свои имперские усилия и бросали вызов Британской империи практически повсюду. Хотя Великобритания все еще была ведущей державой, ее преобладание, которым она владела в середине XIX века, постепенно спадало. Точно так же, как Буш умело приспособился к тому, чего он не предвидел, к 1890-м годам лидеры Великобритании признали необходимость подстраивать традиционную политику под неожиданные реальности.

Тучный и помятый по своим физическим данным, лорд Солсбери скорее казался олицетворением приверженности Великобритании к статус-кво, чем носителем перемен. Автор выражения «блестящая изоляция», Солсбери на первый взгляд как бы обещал придерживаться традиционной британской политики, проводя твердую линию в заморских территориях против других имперских держав и вовлекая Великобританию в континентальные альянсы только в тех случаях, когда это было бы последним средством по недопущению изменения соотношения сил со стороны какого-то агрессора. Для Солсбери островное положение Англии означало, что идеальной политикой была бы активность на морских просторах и отсутствие прочных и обязывающих связей в привычных континентальных союзах. «Мы – рыбы», – прямо заявил он по какому-то поводу.

В конечном счете Солсбери вынужден был признать, что чересчур размахнувшаяся вширь Британская империя перенапрягается под натиском России на Дальнем и Ближнем Востоке и под натиском Франции в Африке. Даже Германия втягивалась в колониальную гонку. И хотя Франция, Германия и Россия то и дело вступали в конфликт друг с другом на континенте, они всегда сталкивались с Великобританией на заморских территориях. Причиной этому было то, что Великобритания владела не только Индией, Канадой и значительной частью Африки, но и отстаивала свое господство на обширных территориях, которые по стратегическим соображениям не желала отдавать в руки другой державе, даже если та не стремилась к прямому контролю. Солсбери определял такого рода требования как «нечто вроде клеймения территории, которую в случае распада Англии никак не хотелось бы отдавать во владение какой-либо другой державе»²³¹. К этим районам относились Персидский залив, Китай, Турция и Марокко. В течение всех 1890-х годов Великобританию неотступно преследовали бесконечные столкновения с Россией в Афганистане, по поводу проливов, в Северном Китае, а также с Францией в Египте и в Марокко.

С заключением Средиземноморских соглашений 1887 года Великобритания стала косвенно связана с Тройственным союзом Германии, Австро-Венгрии и Италии в надежде, что Италия и Австрия укрепят ее позицию в отношениях с Францией в Северной Африке и с Россией на Балканах. И все же Средиземноморские соглашения оказались только временной мерой.

Новая Германская империя, лишенная главного стратега, не знала, что делать с открывавшейся перед ней возможностью. Геополитические реальности постепенно выводили Великобританию из «блестящей изоляции», хотя по этому поводу было много стенаний со стороны традиционалистов. Первым шагом в сторону большей занятости делами на континенте было стремление к потеплению отношений с императорской Германией. Будучи убеждены в том, что Россия и Великобритания отчаянно нуждаются в Германии, авторы немецкой политики полагали, что они смогут заключить сделку с каждой из этих стран одновременно. При этом не уточняли характер сделки, заключить которую очень хотели, или даже не представляли, что сами подталкивают Россию и Великобританию к сближению друг с другом. А когда Германия натолкнулась на решительный отказ на такие напрасные инициативы, ее руководители рассердились, а потом быстро перешли на грубость. Подобный подход резко контрастировал с французским. Франция медленно и постепенно, шаг за шагом в течение 20 лет подводила Россию и еще дополнительно полтора десятилетия Великобританию к предложению подписать соглашение. Несмотря на весь тот шум, который производила постбисмарковская Германия, вся ее внешняя политика носила откровенно любительский, близорукий и даже неуверенный характер, когда она столкнулась с созданной ею самой же конфронтацией.

Первым дипломатическим шагом Вильгельма II по пути, который оказался обреченным, стал отказ в 1890 году, вскоре после отставки Бисмарка, от предложения царя продлить действие Договора перестраховки на трехлетний срок. Отвергая инициативу России в самом начале своего правления, кайзер и его советники выдернули, возможно, самую крепкую нить из ткани бисмарковской системы взаимно переплетающихся союзов. Они исходили из трех соображений как причин их поступка. Во-первых, они хотели сделать свою политику, насколько возможно, «простой и прозрачной» (новый канцлер Каприви как-то признался, что не обладает способностью Бисмарка жонглировать восемью шарами одновременно). Во-вторых, они хотели заверить Австрию, что союз с ней является наивысшим приоритетом. И, наконец, они считали «перестраховочный» Договор препятствием к предпочитаемому ими курсу на сколачивание союза с Великобританией.

²³¹ Цитируется в: Raymond Sontag, *European Diplomatic History, 1871–1932* (Зонтаг Реймонд. *Европейская дипломатическая история, 1871–1932 годы*) (New York: The Century Co., 1933), p. 59.

Каждое из этих соображений демонстрировало полное отсутствие геополитического мышления, из-за чего Германия Вильгельма II постепенно изолировала сама себя. Сложность предопределялась географическим положением и историей Германии; и никакая «простая» политика не способна была принимать во внимание многие ее аспекты. Именно двусмысленный характер одновременного наличия договора с Россией и альянса с Австрией позволял Бисмарку выступать в роли регулятора между австрийскими страхами и русскими амбициями в течение 20 лет, не порвав ни с одной из этих стран и не расширив присущих Балканам кризисов. Прекращение действия Договора перестраховки создавало ситуацию с точностью до наоборот: ограничение возможностей выбора для Германии поощряло австрийский авантюризм. Николай де Гирс, российский министр иностранных дел, сразу же поняв это, заметил так: «Посредством расторжения нашего договора [Договора перестраховки] Вена освободилась от мудрого и благожелательного, но одновременно жесткого контроля со стороны князя Бисмарка»²³².

Отказ от Договора перестраховки не только привел Германию к тому, что она лишилась рычагов воздействия на Австрию, но и, прежде всего, усилил русские опасения. Опора Германии на Австрию была истолкована в Санкт-Петербурге как новая предпосылка к поддержке Австрии на Балканах. Стоило Германии поставить себя в положение препятствия русским целям в регионе, который никогда не представлял для Германии жизненно важного интереса, как Россия непременно стала искать противовес, которым с превеликой охотой готова была стать Франция.

Соблазн, заставляющий Россию двигаться в направлении Франции, был подкреплён фактом заключения Германией колониального соглашения с Великобританией, что последовало почти немедленно после отказа кайзера возобновить «перестраховочный» договор. Великобритания получила от Германии истоки Нила и территории в Восточной Африке, включая остров Занзибар. В качестве *quid pro quo*, своего рода эквивалента, Германии досталась относительно незначительная полоска земли, соединяющая Юго-Западную Африку с рекой Замбези, так называемая «полоса Каприви», а также остров Хельголанд в Северном море, который, как считалось, имел определенное стратегическое значение для охраны немецкого побережья от нападения с моря.

Для каждой из сторон сделка была неплохой, хотя она превратилась в первое из серии недоразумений. Лондон воспринимал соглашение как средство урегулирования колониальных проблем в Африке; Германия же видела в нем прелюдию к заключению англо-германского союза; а Россия, пойдя даже еще дальше, истолковала его как первый шаг Англии к вступлению в Тройственный союз. Барон Стааль, русский посол в Берлине²³³, исходя из этого, с беспокойством докладывал о пакте между историческим другом России Германией и ее традиционным врагом Великобританией в следующих выражениях:

«Когда кто-то связан с кем-то еще многочисленными интересами и позитивными обязательствами в какой-то точке земного шара, то он почти наверняка будет действовать с другим согласованно по всем крупным вопросам, которые могут возникнуть на международном поприще. ... Фактически достигнуто дружеское согласие с Германией. Оно не может не оказать воздействия на отношения Англии с другими державами Тройственного союза»²³⁴.

²³² Гирс Николай де. Цитируется в: Ludwig Reiners. *In Europa gehen die Lichter aus: Der Untergang des Wilhelmischen Reiches* (Райнерс Людвиг. *Над всей Европой гаснут огни: закат вильгельмовской империи*). (Munich, 1981), p. 30.

²³³ Барон Стааль Егор Егорович с 1884 по 1902 год был послом России в Великобритании, до этого работал в миссиях в Вюртемберге, Баварии, Бадене и Гессене. – *Прим. перев.*

²³⁴ Стааль, барон, цитируется в: William L. Langer. *The Diplomacy of Imperialism* (Лангер Уильям Л. *Дипломатия империализма*), 1st ed. (New York: Alfred A. Knopf, 1935), p. 7.

Бисмарковский кошмар коалиций начинал превращаться в их череду, так как конец Договора перестраховки проложил путь для франко-русского альянса.

Германия считала, что Франция и Россия никогда не вступят в союз, поскольку России незачем воевать за Эльзас-Лотарингию, а Франции ни к чему братья за оружие из-за балканских славян. Однако выяснилось, что это одно из множества грубейших концептуальных заблуждений постбисмарковского руководства императорской Германии. Как только Германия безоговорочно встала на сторону Австрии, Франция и Россия на деле стали нуждаться друг в друге, как бы ни отличались их цели, поскольку ни одна из этих стран не смогла бы выполнить стоящие перед ними задачи стратегического характера, не победив вначале или хотя бы не ослабив Германию. Франции это требовалось потому, что Германия никогда бы не отдала Эльзас-Лотарингию без войны, а Россия знала, что ей ни за что не унаследовать славянские земли Австрийской империи, не победив Австрию, против чего Германия, как она дала ясно понять, будет сопротивляться, отказавшись возобновить Договор перестраховки. А у России не было шансов на успех в противостоянии Германии без помощи Франции.

В пределах года с момента отказа Германии возобновить «перестраховочный» договор Франция и Россия подписали договор о «сердечном согласии», об Антанте, обеспечивающий взаимную дипломатическую поддержку. Престарелый российский министр иностранных дел Гирс предупреждал, что это соглашение не разрешает фундаментальной проблемы, заключающейся в том, что Великобритания, а не Германия является принципиальным противником России. Отчаянно пытающаяся выйти из изоляции, которой ее предал Бисмарк, Франция согласилась добавить к франко-русскому соглашению статью, обязывающую Францию оказать России дипломатическую поддержку в случае какого-либо колониального конфликта с Великобританией.

Для французских руководителей эта антибританская статья представлялась небольшой входной платой для создания того, что потом обязательно должно было превратиться в антигерманскую коалицию. И впоследствии французские усилия будут направлены на превращение франко-русского соглашения в военный союз. Хотя русские националисты приветствовали подобный военный пакт, который ускорял расчленение Австрийской империи, русские традиционалисты чувствовали себя тревожно. Будущий преемник Гирса на посту министра иностранных дел граф Владимир Николаевич Ламсдорф пишет у себя в дневнике в начале февраля 1892 года:

«Они [французы] также готовятся забросать нас предложениями о заключении соглашения о совместных военных действиях на случай нападения третьей стороны. ...Но зачем излишним рвением портить хорошую вещь? Нам нужны мир и покой с учетом тягот вызванного неурожаем голода, неудовлетворительного состояния наших финансов, незавершенности нашей программы вооружений, ужасного состояния нашей транспортной системы и, наконец, возобновления активности в лагере нигилистов»²³⁵.

В конце концов, французским руководителям удалось рассеять сомнения Ламсдорфа либо на него оказал давление сам царь. В 1894 году была подписана военная конвенция, согласно которой Франция соглашалась помочь России в случае нападения на Россию Германии или Австрии совместно с Германией. Россия поддержит Францию в случае нападения Германии или Австрии совместно с Италией. Принимая во внимание то, что франко-русское соглашение 1891 года было дипломатическим инструментом и могло оправданно трактоваться как направленное против Великобритании так же, как и против Германии, единственным про-

²³⁵ Цитируется в: George F. Kennan. *The Fateful Alliance: France, Russia and the Coming of the First World War* (Кеннан Джордж Ф. *Роковой альянс: Франция, Россия и наступление Первой мировой войны*). (New York: Pantheon, 1984), p. 147.

тивником, упомянутым в военной конвенции, была Германия. То, что Джордж Кеннан позднее назовет «роковым альянсом» (франко-русская Антанта 1891 года, подкрепленная военной конвенцией 1894 года), знаменовало собой начало безудержной гонки Европы к войне.

Это было началом конца поддержания баланса сил. Баланс сил лучше всего работает, если в его основе лежит по меньшей мере одно из следующих условий. Первое условие, чтобы каждая страна имела возможность свободно объединяться с любым другим государством в зависимости от обстоятельств момента. На протяжении большей части XVIII века равновесие устанавливалось постоянно меняющимися союзами; точно так же обстояло дело во времена Бисмарка вплоть до 1890 года. Второе условие, когда при наличии постоянных союзов есть регулятор, следящий за тем, чтобы ни одна из существующих коалиций не получила преобладания, – подобная ситуация сложилась как раз после заключения франко-русского договора, когда Великобритания продолжала действовать в качестве регулятора и, по существу, ее обхаживали обе стороны. Третье условие, когда при наличии негибких союзов и отсутствии регулятора силы сцепления внутри союзов относительно слабы, так что по каждому конкретному поводу возможны либо компромиссы, либо перегруппировки в союзных отношениях.

Когда не действует ни одно из этих условий, дипломатия становится негибкой. Идет игра, ведущаяся с нулевым результатом, в которой любое достижение одной стороны воспринимается как проигрыш другой. Гонка вооружений и рост напряженности становятся неизбежны. Такова была ситуация во время холодной войны, и то же самое подразумевалось в Европе после того, как Великобритания присоединилась к франко-русскому союзу, тем самым сформировав Тройственное соглашение, начавшее свою деятельность в 1908 году.

Но, в отличие от периода холодной войны, мировой порядок после 1891 года не сразу стал жестким после единичного вызова. Потребовалось 15 лет, прежде чем одно за другим были уничтожены все три составляющих элемента гибкости. После оформления Тройственного соглашения перестало функционировать какое бы то ни было равновесие. Пробы сил стали правилом, а не исключением. Дипломатия как искусство компромисса прекратила свое существование. Выход событий из-под контроля в результате какого-либо кризиса стал всего лишь вопросом времени.

Но в 1891 году, когда Франция и Россия объединились против Германии, та по-прежнему надеялась, что ей удастся обеспечить уравнивающий альянс с Великобританией, которого сильно желал Вильгельм II, но который оказался невозможным в силу его импульсивного поведения. Колониальное соглашение 1890 года не привело к союзу, которого так опасался русский посол. Отчасти этому помешали внутрисполитические факторы в Великобритании. Когда уже пожилой Гладстон в 1892 году в последний раз занял пост премьер-министра, он ранил нежную душу кайзера тем, что наотрез отказался от какого-либо союза с авторитарной Германией или Австрией.

И все же главной причиной срыва ряда попыток организовать англо-германский союз явилось упорное непонимание немецким руководством сущности традиционной британской внешней политики, а также реальных требований собственной безопасности. В течение полутора столетий Великобритания отказывалась связывать себя открытым военным союзом. Она брала на себя лишь два типа обязательств: военные соглашения ограниченного характера по четко определенным, конкретно оговоренным угрожающим ситуациям или договоренности о дружеском соглашении типа Антанты, в котором шла речь о дипломатическом сотрудничестве по тем вопросам, где возникали параллельные интересы с другой страной. В некотором смысле британское определение Антанты, как соглашения, было, по существу, тавтологией: Великобритания согласна сотрудничать тогда, когда она захочет сотрудничать. Но соглашение производило эффект создания морально-психологических связей, а также допущение – если не договорное обязательство – совместных выступлений во время кризисов. Такого рода союз разделял бы Великобританию от Франции и России или, по крайней мере, усложнял бы сближение с ними.

Германия отвергла такие неофициальные процедуры. Вильгельм II настаивал на соглашении «континентального типа», как он его называл. В 1895 году он так и сказал: «Если Англия нуждается в союзниках или помощи, то она должна отказаться от своей политики нежелания принимать какие-либо обязательства и обеспечить гарантии континентального типа или соответствующие договора»²³⁶. Но что мог иметь в виду кайзер под гарантиями континентального типа? После почти столетия «блестящей изоляции» Великобритания явно не была готова принять на себя постоянные обязательства на континенте, которых она так последовательно избегала в течение 150 лет, особенно в связи с Германией, ускоренными темпами становившейся самой сильной страной континента.

Этот немецкий нажим по поводу официальных гарантий фактически был обречен на провал. И причина состояла в том, что Германия, по существу, в них не нуждалась, потому что была достаточно сильна, чтобы нанести поражение любому предполагаемому противнику или противникам на континенте в любом их сочетании, при условии, что Великобритания не выступит на их стороне. Германии следовало просить у Великобритании не союза, а благожелательного нейтралитета на случай войны на континенте, – а для такого случая договоренности о согласии типа Антанты было бы вполне достаточно. Запрашивая то, что ей не нужно, и предлагая то, в чем Великобритания не нуждалась (всеобъемлющие обязательства по защите Британской империи), Германия вызвала у Великобритании подозрения в стремлении к мировому господству.

Немецкое нетерпение лишь усугубило сдержанность британцев, которые стали испытывать серьезные сомнения по поводу здравомыслия их партнера. «Мне не хочется пренебрегать откровенно выраженным беспокойством моих немецких друзей, – писал Солсбери. – Но вряд ли было бы разумным до такой степени руководствоваться их советом. Их Ахитофел²³⁷ исчез. Они стали гораздо милее и приятнее в обиходе, но как же нам не хватает исключительной проницательности Старика [Бисмарка]»²³⁸.

В то время как немецкое руководство лихорадочно изыскивало возможности вступления в союзы, немецкая общественность требовала проведения еще более жесткой внешней политики. Только социал-демократы какое-то время держались твердо на своем, хотя, в конце концов, и они подчинились общественному мнению и поддержали объявление Германией войны в 1914 году. Руководящие классы Германии не имели опыта европейской дипломатии, а еще меньше представляли себе, что такое *Weltpolitik*, на проведении которой так громогласно настаивали. На юнкеров, приведших Пруссию к господству в рамках Германии, после двух мировых войн ляжет пятно позора, особенно в восприятии Соединенных Штатов. На самом же деле юнкеры представляли собой социальную группу, как раз менее всего виноватую в переоценке во внешней политике, ориентированной на внутриконтинентальную политику и мало интересующейся событиями за пределами Европы. Скорее, в этом плане следовало бы говорить о новых управленческих кадрах в промышленности и растущих кругах интеллигенции, которые стали эпицентром национальной агитации в отсутствие парламентского буфера, уже несколько столетий существовавшего в Великобритании и Франции. В этих западных демократиях сильные националистические течения направлялись через каналы парламентских институтов; в Германии они вынуждены были искать свое выражение во внепарламентских группах влияния.

²³⁶ Кайзер Вильгельм, цитируется в: Norman Rich. *Friedrich von Holstein: Politics and Diplomacy in the Era of Bismarck and Wilhelm* (Рич Норман. *Фридрих Голштинский: политика и дипломатия в эпоху Бисмарка и Вильгельма II*), (Cambridge: Cambridge University Press, 1965), p. 465.

²³⁷ Ахитофел, советник царя Давида, участвовал в заговоре против него, давая советы сыну царя Авессалому, поэтому его сравнивают с дьявольским искусителем, наделенным ложной мудростью. После срыва его планов покончил жизнь самоубийством, повесившись. Вторая книга Царств. – *Прим. перев.*

²³⁸ Солсбери, лорд, цитируется в: Крэйг. *Германия: 1866–1945*. С. 236.

Несмотря на всю автократичность Германии, ее руководство чутко прислушивалось к общественному мнению и находилось под сильнейшим воздействием националистических групп влияния. Эти круги воспринимали дипломатию и международные отношения, как будто это какие-то спортивные состязания, все время подталкивая правительство к занятию более жесткой линии, расширению территориальной экспансии, приобретению новых колоний, усилению армии, увеличению военно-морского флота. Националисты воспринимали нормальную дипломатию взаимных уступок и взаимных выгод или малейший намек на шаг в сторону партнера со стороны германской дипломатии как вопиющее унижение. Курт Рицлер, политический секретарь германского канцлера Теобальда фон Бетман-Гольвега, занимавшего этот пост в момент объявления войны, весьма уместно заметил: «Угроза войны в наше время проистекает... из внутренней политики тех стран, где слабому правительству противостоит сильное националистическое движение»²³⁹.

Такой эмоциональный и политический климат породил крупнейший германский политический промах – так называемую телеграмму Крюгеру, – в результате чего император подорвал саму возможность британского альянса, по крайней мере, до конца столетия. В 1895 году некий полковник Джеймсон, поддержанный британскими колониальными интересами и, самое главное, Сесилем Родсом, возглавил рейд на независимое бурское государство Трансвааль в Южной Африке. Набег окончился полнейшей неудачей и поставил в более чем неловкое положение правительство Солсбери, которое утверждало, что не имеет к нему никакого отношения. А немецкая националистическая пресса с ликованием требовала унижить британцев по полной.

Фридрих фон Гольштейн, главный советник и «серый кардинал» в министерстве иностранных дел, увидел в этом провалившемся рейде возможность показать британцам, какие преимущества дает дружественное отношение Германии, продемонстрировав им, каким она может быть колючим противником. Со своей стороны, кайзер не смог удержаться, чтобы не покуражиться. Вскоре после наступления нового 1896 года он направил телеграмму президенту Трансвааля Паулю Крюгеру и поздравил его с отражением «нападения извне». Это была прямая пощечина Великобритании. Возник призрак германского протектората в самом центре региона, который британцы считали сферой своих собственных интересов. На самом деле телеграмма Крюгеру не отражала ни немецких колониальных чаяний, ни немецкой внешней политики, поскольку она была чистой воды игрой на публику, и игра достигла своей цели: «Ни одно из действий правительства за многие годы, – писала либеральная „Альгемайне цайтунг“ 5 января, – не давало столь полного удовлетворения, как это. ...Это исходит из самой глубины души немецкого народа»²⁴⁰.

Близорукость и невосприимчивость Германии усугубили эту тенденцию. Кайзер и его окружение убедили себя в том, что если обхаживание Великобритании не смогло привести к заключению союза, то, может быть, высокая цена немецкого гнева окажется более убедительной. К сожалению, для Германии подобный подход не соответствовал историческому опыту, в котором полностью отсутствовали примеры британской уступчивости в ответ на запугивания.

То, что началось как преследование с целью демонстрации ценности немецкой дружбы, постепенно стало превращаться в настоящий стратегический вызов. Ни один вопрос не смог бы превратить Великобританию в столь непримиримого противника, как угроза ее господству на морях. Но именно этим как раз и занялась Германия, похоже, даже не отдавая себе отчета в том, что этот вызов уже нельзя будет взять назад. Начиная с середины 1890-х годов внутри Германии стало нарастать давление по поводу необходимости строительства крупного военно-морского флота. Оно подогревалось так называемыми «флотоводцами», одной из многих воз-

²³⁹ Цитируется в: Fritz Stern. *The Failure of Illiberalism* (Штерн Фриц. *Поражение нетерпимости к инакомыслию*). (New York: Columbia University Press, 1992), p. 93.

²⁴⁰ Цитируется в: Malcolm Carroll. *Germany and the Great Powers, 1866–1914* (Кэрролл Эбер Малколм. *Германия и великие державы, 1866–1914 годы*). (New York: Prentice-Hall Inc., 1938), p. 372.

никших тогда групп влияния, в составе которой были и промышленники, и морские офицеры. Поскольку «флотоводцы» были заинтересованы в росте напряженности в отношениях с Великобританией, чтобы оправдать ассигнования на военно-морские нужды, они восприняли телеграмму Крюгеру как манну небесную. Так же восприняли бы любой другой повод для конфликта с Великобританией в отдаленных уголках земного шара, начиная с вопроса о статусе Самоа и кончая проблемой границ Судана и будущего португальских колоний.

Так начался порочный круг, завершившийся конфронтацией. И все это ради того, чтобы построить военно-морской флот, который в будущей мировой войне всего лишь один раз сойдется с британским в Ютландском бою, не принесшем решающего успеха ни одной из сторон. Германия умудрилась добавить к растущему списку противников еще и Великобританию. А поскольку никто не сомневался, что Англия станет сопротивляться тому, что уже обладающая самой сильной армией в Европе континентальная страна начала нацеливаться на достижение паритета с Великобританией на морях.

И тем не менее кайзер, как представляется, не обращал внимания на результаты своей политики. Британское раздражение в связи с немецким бахвальством и строительством военно-морского флота поначалу не меняло того непреложного факта, что Франция оказывает на Англию давление в Египте, а Россия бросает ей вызов в Средней Азии. Что, если Россия и Франция решат сотрудничать, одновременно оказывая давление на Великобританию в Африке, Афганистане и Китае? Что, если к ним присоединятся немцы и организуют нападение на империю в Южной Африке? Британское руководство стало сомневаться, приемлема ли еще внешняя политика «блестящей изоляции».

Наиболее важным и громогласным представителем группировки сторонников пересмотра прежней политики был министр по делам колоний Джозеф Чемберлен. Лихой и бесшабашный, принадлежащий к следующему за Солсбери поколению, Чемберлен как бы олицетворял XX век, призывая к вступлению в какой-нибудь союз – предпочтительно с Германией, – в то время как стареющий патриций строго придерживался изоляционистских побуждений предшествующего столетия. В важном выступлении в ноябре 1899 года Чемберлен призывал к созданию «тевтонского» союза, куда бы входили Великобритания, Германия и Соединенные Штаты²⁴¹. Чемберлен до такой степени был одержим этой идеей, что передал этот план Германии без предварительного одобрения Солсбери. Однако немецкие руководители продолжали настаивать на официальных гарантиях и не обращали внимания на то, что такого рода условия не имеют никакого отношения к делу и что для них самым главным был британский нейтралитет в случае войны на континенте.

В октябре 1900 года ухудшившееся здоровье Солсбери вынудило его отказаться от поста министра иностранных дел, хотя он и сохранил за собой пост премьер-министра. Его преемником на посту министра иностранных дел стал лорд Лансдаун, соглашавшийся с Чемберленом в том, что Великобритания более не может обеспечить свою безопасность, проводя политику «блестящей изоляции». И все же Лансдауну не удалось обеспечить консенсус для полномасштабного официального союза с Германией. Кабинет не пожелал идти дальше договоренности типа общего согласия: «...понимания относительно политики, которую они (британское и германское правительства) могут проводить применительно к конкретным вопросам или в конкретных частях света, в которых они одинаково заинтересованы»²⁴². Это в основном была та же самая формула, которая несколько лет спустя использовалась при заключении с Францией договора «сердечного согласия» и оказалась вполне достаточной, чтобы Великобритания вступила в мировую войну на стороне Франции.

²⁴¹ Речь Чемберлена 30 ноября 1899 года, в: Винер. *Великобритания: внешняя политика и масштабы империи*. Т. I. С. 510.

²⁴² Цитируется в: Зонтаг. *Европейская дипломатическая история*. С. 60.

И вновь Германия, тем не менее, отвергла достижимое, погнавшись за тем, что со всей очевидностью оказалось недостижимым. Новый германский рейхсканцлер Бюлов отверг идею договоренности в стиле Антанты с Великобританией, поскольку был более обеспокоен общественным мнением, чем геополитическими перспективами, – особенно учитывая его предпочтение в плане необходимости убедить парламент проголосовать за большое увеличение немецкого военно-морского флота. Он готов был бы урезать военно-морскую программу, но лишь получив в обмен не меньше, чем присоединение Великобритании к Тройственному союзу в составе Германии, Австрии и Италии. Солсбери отверг разыгранную Бюловом партию в стиле «все или ничего», и в третий раз за это десятилетие англо-германское соглашение не было заключено.

Существенную несовместимость представлений Великобритании и Германии о сути внешней политики можно было видеть из того, как оба руководителя объясняют свою неспособность достичь договоренности. Бюлов весь был во власти эмоций, когда обвинял Великобританию в провинциализме, игнорируя тот факт, что Великобритания вела глобальную внешнюю политику на протяжении более столетия до объединения Германии:

«Английским политическим деятелям мало что известно о континенте. С точки зрения континента они знают столько же, сколько мы знаем об идеях в Перу или Сиаме. Они наивны в своем сознательном эгоизме и в определенной своей слепой уверенности. Им трудно поверить в наличие у других действительно дурных намерений. Они очень спокойны, очень флегматичны и очень оптимистично настроены...»²⁴³

Ответ Солсбери принял форму лекции и тщательно продуманного стратегического анализа, преподнесенного беспокойному и неуверенному в себе собеседнику. Прочитывая бестактное замечание германского посла в Лондоне, полагавшего, что Великобритания нуждается в союзе с Германией для того, чтобы избежать опасной изоляции, Солсбери написал:

«Обязательство защищать германские и австрийские границы против России тяжелее, чем обязательство *защищать Британские острова* против Франции... Граф Хатцфельд [немецкий посол] говорит о нашей «*изоляции*», как представляющей для нас серьезную опасность. *Разве мы ощущали когда-либо эту опасность на самом деле?* Если бы мы потерпели поражение в революционной войне, то наше падение не было бы по причине нашей изоляции. У нас было много союзников, но они не спасли бы нас, если бы французский император оказался в состоянии господствовать над Ла-Маншем. И, если исключить период его [Наполеона] правления, мы так никогда и не были в опасности; и поэтому мы не можем судить, содержит ли в себе «*изоляция*», от которой мы, как предполагается, страдаем, какие-либо элементы опасности. Едва ли было бы мудрым взять на себя новые и обременительнейшие обязательства, чтобы защищаться *от опасности, в существование которой у нас нет исторических оснований верить*»²⁴⁴.

Великобритания и Германия просто не имели достаточного количества параллельных интересов, чтобы оправдать официальный глобальный союз, которого так жаждала императорская Германия. Британцы опасались того, что новое приращение германской мощи превратит предполагаемого союзника в нечто вроде доминирующей державы, чему они противодейство-

²⁴³ Цитируется в: Valentin Chirol. *Fifty Years in a Changing World* (Чайрол Валентин. *50 лет в меняющемся мире*). (London, 1927), p. 284.

²⁴⁴ Меморандум маркиза Солсбери от 29 мая 1901 года, в: G. P. Gooch and Harold Temperley, eds. *British Documents on the Origins of the War* (Дж. П. Гуч и Гарольд Темперли. *Британские документы относительно первопринчин войны*), vol. II. (London, 1927), p. 68.

вали на протяжении всей своей истории. В то же время Германия вовсе не стремилась играть при Великобритании роли второго плана по вопросам, традиционно находившимся на периферии немецких интересов, таких, как угроза Индии, а Германия была слишком самонадеянна, чтобы понять все выгоды британского нейтралитета.

Следующий шаг министра иностранных дел Лансдауна продемонстрировал, что убеждение германского руководства в абсолютной необходимости собственной страны для интересов Великобритании было всего более делом повышенной самооценки. В 1902 году Лансдаун потряс Европу, заключив союз с Японией, впервые с установления деловых отношений Ришелье с оттоманскими турками, когда какая-то европейская страна обратилась к помощи вне пределов «Европейского концерта». Великобритания и Япония договорились о том, что если любая из них окажется вовлеченной в войну с *одной* посторонней державой по поводу Китая или Кореи, то другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет. Если, однако, любая из договаривающихся сторон будет атакована *двумя* противниками, то другая договаривающаяся сторона будет обязана оказать содействие своему партнеру. В силу того, что этот союз мог действовать только тогда, когда Япония воевала бы с двумя противниками, Великобритания, наконец, нашла себе союзника, который прямо-таки рвался сдерживать Россию, не заставляя своего партнера, однако, брать на себя лишние обязательства. Да еще такого партнера, чье дальневосточное географическое положение представляло гораздо больший стратегический интерес для Великобритании, чем русско-германская граница. И Япония получала защиту от Франции, которая, если бы не было подобного союза, могла бы попытаться использовать войну для усиления своих претензий на русскую поддержку. С тех пор Великобритания потеряла всякий интерес к Германии как к стратегическому партнеру; действительно, со временем Великобритания станет рассматривать Германию как геополитическую угрозу.

Еще в 1912 году существовала возможность урегулирования англо-германских разногласий. Лорд Холден, Первый лорд Адмиралтейства²⁴⁵, посетил Берлин, чтобы обсудить вопросы смягчения напряженности. Холден получил указания добиться договоренности с Германией на базе морского соглашения одновременно с заверениями в британском нейтралитете: «Если одна из высоких договаривающихся сторон (то есть Британия или Германия) окажется вовлеченной в войну, в которой ее не смогут охарактеризовать как агрессора, другая сторона будет по меньшей мере соблюдать по отношению к вовлеченной подобным образом державе благожелательный нейтралитет»²⁴⁶. Кайзер, однако, настаивал, чтобы Англия обязалась придерживаться нейтралитета, «если война будет навязана Германии»²⁴⁷. Это было воспринято Лондоном как требование, Великобритании остаться в стороне, если Германии вдруг вздумается начать упреждающие военные действия против России или Франции. А когда британцы отказались принять формулировку кайзера, тот, в свою очередь, отверг их текст; закон о флоте Германии был принят, а Холден вернулся в Лондон с пустыми руками.

Кайзер так и не понял, что Великобритания не пойдет далее молчаливой сделки, а именно это на самом деле только и было нужно Германии. «Если Англия намеревается протянуть нам руку лишь на условии ограничения нами собственного флота, – писал он, – то это безграничная наглость, в которой содержится еще и грубейшее оскорбление германскому народу и его императору. Такого рода предложения следует отвергать *сразу же*...»²⁴⁸ Как всегда убежденный, что запугает Англию и заставит ее пойти на официальный союз, кайзер хвалился: «Я показал

²⁴⁵ Автор ошибочно приписал виконту Ричарду Холдену должность военно-морского министра (в то время ее занимал Уинстон Черчилль). Лорд Холден с 1905 по 1912 год был военным министром, и Берлин он посетил в этом качестве, а с 1912 по 1915 год он занимал пост лорда-канцлера, то есть председателя палаты лордов. Был вынужден уйти с этого поста из-за обвинения в пронемецких симпатиях. – *Прим. перев.*

²⁴⁶ Цитируется в: Зонтаг. *Европейская дипломатическая история*. С. 169.

²⁴⁷ Там же. С. 170.

²⁴⁸ Кайзер Вильгельм, цитируется в: Райнерс. *Над всей Европой гаснут огни*. С. 106.

англичанам, что, когда они затрагивают наши вооружения, они тратят силу понапрасну. Возможно, этим я усилил их ненависть, но и завоевал их уважение, что и заставит их со временем возобновить переговоры, как можно надеяться, в более умеренном тоне и с более успешным результатом»²⁴⁹.

Импульсивное и настоятельное стремление кайзера заключить союз лишь усилило подозрительность Великобритании. Военно-морская программа Германии, принятая на гребне антибританских оскорблений во время англо-бурской войны 1899–1902 годов, привела к всестороннему пересмотру британской внешней политики. На протяжении полутора столетий Великобритания считала Францию главной угрозой европейскому равновесию, которой следовало противостоять при поддержке одного из немецких государств, по большей части Австрии, но порой и Пруссии. И она рассматривала Россию как серьезнейшую опасность для своей империи. Но как только был достигнут союз с Японией, Великобритания начала пересматривать исторически сложившиеся приоритеты. В 1903 году Великобритания стала прилагать систематические усилия по урегулированию нерешенных колониальных проблем с Францией, кульминацией которых стал так называемый договор «сердечного согласия» 1904 года – договоренность именно такого рода неформального сотрудничества, которую постоянно отвергала Германия. Почти сразу же Великобритания начала изучать возможности достижения аналогичной договоренности с Россией.

Поскольку Антанта официально была колониальным соглашением, она не означала технический перерыв в традиционной британской политике «блестящей изоляции». И тем не менее практическим результатом соглашения стал тот факт, что Великобритания отказалась от роли регулятора равновесия и присоединилась к одному из противоборствующих альянсов. В июле 1903 года, когда вопрос об Антанте находился в процессе обсуждения, французский представитель в Лондоне заявил Лансдауну, что в качестве *quid pro quo*, своего рода ответного шага, Франция сделает все от нее зависящее, чтобы избавить Великобританию от русского давления где бы то ни было: «... что наиболее серьезная угроза миру в Европе заключается в Германии, что доброе взаимопонимание между Францией и Англией является единственным средством осуществления контроля над немецкими планами и что, если такое взаимопонимание будет достигнуто, Англия поймет, что Франция в состоянии осуществлять благотворное воздействие на Россию и тем самым освободить нас от множества неприятностей, связанных с той страной»²⁵⁰.

За какое-то десятилетие Россия, прежде связанная с Германией Договором перестраховки, превратилась в военного союзника Франции, в то время как Великобритания, предмет постоянных попыток Германии превратить ее в своего партнера, присоединилась к французскому дипломатическому лагерю. Германия проявила потрясающее искусство, изолировав себя и сблизив трех бывших противников в нацеленную именно против нее самой и враждебную ей коалицию.

Государственный деятель, знающий о надвигающейся опасности, обязан принять принципиальное решение. Если он считает, что угроза возрастет с течением времени, то обязан сделать все, чтобы задуть ее в зародыше. Но если он посчитает, что маячащая угроза реализуется лишь при случайном и даже неожиданном стечении обстоятельств, ему лучше переждать в надежде на то, что время устранил риск. 200 лет назад Ришелье увидел опасность во враждебном окружении Франции – и, действительно, стремление ее избежать стало основой его политики. Но он также понял разные составные части этой потенциальной опасности. Он решил, что поспешные и непродуманные действия сведут окружающие Францию государства

²⁴⁹ Кайзер Вильгельм, цитируется в: Крэйг. *Германия*. С. 331.

²⁵⁰ Маркиз Лансдаун – сэру Э. Монсону 2 июля 1903 года, в: Зонтаг. *Европейская дипломатическая история*. С. 293.

вместе. И тогда он сделал своим союзником время, ожидая, пока не проявятся открыто подспудные разногласия среди противников Франции. И только тогда, когда эти разногласия становились устоявшимися, он позволял Франции вступать в схватку.

Кайзер и его советники не обладали ни терпением, ни проницательностью для проведения подобной политики – хотя державы, в которых Германия видела угрозу для себя, были не чем иным, как ее естественными союзниками. А реакцией Германии на предполагаемое окружение была активизация как раз той самой дипломатии, которая в первую очередь и породила подобную опасность. Она попыталась расколоть еще молодую Антанту, ища предлог для конфронтации с Францией и тем самым показать, что британская поддержка является или иллюзорной, или неэффективной.

Возможность для Германии испытать на прочность Антанту представилась в Марокко, где французские планы являли собой нарушение договора, закреплявшего независимость Марокко, и где у Германии имелись существенные коммерческие интересы. Кайзер выбрал для соответствующего заявления свой круиз в марте 1905 года. Высадившись в Танжере, он объявил о решимости Германии поддержать независимость Марокко. Немецкие руководители пошли на авантюру, предположив, во-первых, что Соединенные Штаты, Австрия и Италия поддержат политику открытых дверей. Во-вторых, они полагали, что в результате русско-японской войны Россия будет не в состоянии вмешаться в том регионе. И, в-третьих, они надеялись, что Великобритания с превеликой радостью пожелает снять с себя обязательства перед Францией на международной конференции.

Все эти предположения оказались неверными, поскольку страх перед Германией оказался выше всех прочих соображений. Во время первого же брошенного Антанте вызова Великобритания поддержала Францию во всех отношениях и никак не соглашалась на призыв Германии принять участие в конференции до тех пор, пока на это не дала согласие Франция. Австрия и Италия весьма сдержанно отнеслись к предложениям, которые могли бы их поставить на грань войны. Тем не менее в этом нарастающем споре немецкое руководство поставило на карту весь свой престиж и исходило из того, что для него будет катастрофой нечто меньшее, чем дипломатическая победа, демонстрирующая ничтожность Антанты.

На протяжении всего своего правления кайзер лучше всего начинал создавать кризисы, чем с ними справлялся. Драматические столкновения казались ему захватывающими, но ему не хватало нервов для продолжительной конфронтации. Вильгельм II и его советники были правы в своих оценках того, что Франция не готова воевать. Но, как выяснилось, не были готовы и они. Добиться им удалось только одного, а именно смещения французского министра иностранных дел Делькассе, что явилось лишь символической победой, потому что Делькассе вскоре вернулся в другом качестве, сохранив за собой важную роль в деле осуществления французской политики. Что касается самой сути спора, то германские руководители, не обладавшие на деле той самой смелостью, которой изобиловала их хвастливая риторика, позволили себе ограничиться конференцией, намеченной через полгода в испанском городе Альхесирасе. Когда страна угрожает войной, а затем отступает в пользу конференции, которая будет проведена в какой-то поздний срок, она автоматически снижает вероятность собственной угрозы. (Именно таким способом западные демократии разрядили через полвека Берлинский ультиматум Хрущева.)

Степень самоизоляции Германии наглядно проявилась в момент открытия Альхесирасской конференции в январе 1906 года. Эдвард Грей, министр иностранных дел Великобритании в новом правительстве от либеральной партии, предупредил германского посла в Лондоне по поводу того, что в случае войны Великобритания выступит на стороне Франции: «... в случае нападения на Францию Германии, возникающее из нашего Марокканского соглашения

общественное мнение в Англии будет таким сильным, что не позволит ни одному британскому правительству оставаться нейтральным...»²⁵¹

Излишняя эмоциональность немецкого руководства и неспособность определять долгосрочные цели превратили Альхесирас в дипломатический разгром их страны. Соединенные Штаты, Италия, Россия и Великобритания – все отказались встать на сторону Германии. Результатом первого Марокканского кризиса была полная противоположность тому, чего немецкие руководители стремились достичь. Вместо раскола Антанты, этот кризис привел к франко-британскому военному сотрудничеству и придал стимул к созданию англо-русской Антанты 1907 года.

После Альхесираса Великобритания пошла на военное сотрудничество с континентальной державой, чего она избегала столь долгое время. Начались консультации между командованием британского и французского ВМФ. Кабинет был не в своей тарелке из-за такого нового поворота событий. Грей писал Полю Камбону, французскому послу в Лондоне, пытаясь защитить свои ставки от риска:

«Мы договорились, что консультации между экспертами не рассматриваются и не должны рассматриваться как вовлеченность, обязывающая каждое из правительств к действию в обстоятельствах, которые еще не возникли и могут никогда не возникнуть...»²⁵²

Это была традиционная британская оговорка о том, что Лондон юридически не считает себя связанным конкретными обстоятельствами, при которых он был бы *обязан* принять военные меры. Франция проглотила эту подачку и передала ее на парламентский контроль, будучи убеждена, что штабные переговоры создадут некую новую реальность, независимо от юридических обязательств. В течение полутора десятилетий руководители Германии отказывались предоставить Великобритании такого рода люфт. Французам хватило политической прозорливости смириться с британской двойственностью и исходить из убежденности в том, что вырабатывается моральный долг, который, если произойдет кризис, принесет успех.

С возникновением англо-франко-русского блока 1907 года в игре европейской дипломатии остались лишь две силы: Тройственное согласие и альянс между Германией и Австрией. Окружение Германии стало полным. Как и англо-французская Антанта, британское соглашение с Россией началось как колониальное соглашение. В течение ряда лет Великобритания и Россия медленно разрешали свои колониальные споры. Победа Японии над Россией в 1905 году успешно разрушила дальневосточные амбиции России. К лету 1907 года Великобритания вполне легко смогла предложить России щедрые условия в Афганистане и Персии, поделив Персию на три сферы влияния: русским отдали северный регион, центральный регион был объявлен нейтральным, а Великобритания оставила за собой контроль над южным. Афганистан вошел в британскую сферу влияния. Англо-русские отношения, которые 10 лет назад были омрачены спорами, затрагивавшими треть территории земного шара от Константинополя до Кореи, в итоге стали спокойными. Степень британской озабоченности Германией наглядно демонстрирует тот факт, что для обеспечения российского сотрудничества Великобритания была готова отказаться от решительного противодействия доступа России к Дарданеллам. Как заметил министр иностранных дел Грей, «добрые отношения с Россией означали, что от нашей

²⁵¹ Сэр Эдвард Грей сэру Ф. Берти, 31 января 1906 года, в: Viscount Grey. *Twenty-Five Years, 1892–1916* (Грей, виконт. *Двадцать пять лет, 1892–1916 годы*). (New York: Frederick A. Stokes Co., 1925), p. 76.

²⁵² Сэр Эдвард Грей Камбону, французскому послу в Лондоне, 22 ноября 1912 года, в: *Там же*. С. 94–95.

давней политики закрытия для нее проливов и противодействия ей на каждой из конференций великих держав следует отказаться»²⁵³.

Некоторые историки²⁵⁴ утверждают, что фактически Антанта – Тройственное соглашение представляют собой два неверно истолкованных колониальных соглашения и что Великобритания хотела защитить свою империю, а не окружать Германию. Однако существует классический документ, так называемый «Меморандум Кроу». Он не оставляет никаких разумных сомнений в том, что Великобритания сознательно вступила в Тройственное соглашение, дабы положить конец тому, что она полагала германским стремлением к мировому господству. 1 января 1907 года сэр Айра Кроу, известный аналитик британского министерства иностранных дел, объяснил, почему, с его точки зрения, примирение с Германией невозможно, а соглашение с Францией было единственно возможным вариантом. В «Меморандуме Кроу» присутствует такая высокая степень анализа, которой никогда не достигал ни один документ пост-бисмарковской Германии. Конфликт возник между стратегией и грубой силой – а до тех пор, пока существует огромный перевес в силе, чего нельзя было сказать о сложившейся ситуации, стратег имеет преимущество, потому что он может планировать свои действия, в то время как его противник вынужден импровизировать. Признавая существование крупных расхождений, имеющих у Великобритании, как Францией, так и Россией, Кроу, тем не менее, оценил их как такие, по которым может быть достигнут компромисс, поскольку эти расхождения касаются поддающихся определению, а следовательно, ограниченных целей. Германскую же внешнюю политику угрожающей делало как раз отсутствие распознаваемого рационального начала, стоящего за бесконечными глобальными выпадами, которые простирались даже до таких столь отдаленных регионов, как Южная Африка, Марокко и Ближний Восток. В дополнение к этому германское стремление стать сильнейшей морской державой было «несовместимо с выживанием Британской империи».

По мнению Кроу, необузданное поведение Германии гарантированно вело к конфронтации: «Объединение внутри одного государства крупнейшей сухопутной армии и крупнейшего военно-морского флота вынудит мир объединиться, чтобы избавиться от такого кошмара»²⁵⁵.

Оставаясь верным основным положениям реальной политики, *Realpolitik*, Кроу утверждал, что структура, а не мотивация, определяет стабильность: намерения Германии не имеют никакого значения, имеют значение только ее возможности. И он выдвигает две гипотезы:

«Либо Германия четко и ясно нацеливается на всеобщую политическую гегемонию и достижение господства на морях, угрожая независимости соседей, а в итоге и самому существованию Англии. Либо Германия, не отягощенная подобными ясно выраженными амбициями и думающая в настоящее время только об использовании своего законного положения и влияния как одной из ведущих держав в совете наций, стремится обеспечить возможности для своей внешней торговли, распространения благ германской культуры, расширения масштабов приложения национальной энергии и создания новых германских интересов по всему миру, где бы и когда бы для этого ни представлялась мирная возможность...»²⁵⁶

Кроу настаивал на том, что эти различия не имеют никакого значения, поскольку, в конце концов, над ними возобладают искушения, присущие самому процессу роста мощи Германии:

²⁵³ Цитируется в: Тэйлор. *Борьба за главенство*. С. 443.

²⁵⁴ См., например, в: Paul Schroeder. *World War I as Galloping Gertie: A Reply to Joachim Remack* (Шредер Пол. *Первая мировая война как Галопирующая Герти: ответ Иоахиму Ремарку*). *Journal of Modern History*, vol. 44 (1972), p. 328.

²⁵⁵ Меморандум Кроу от 1 января 1907 года, в: Kenneth Bourne and D. Cameron Watt, gen. eds. *British Documents of Foreign Affairs* (Борн Кеннет и Уотт Кэмерон. *Британские документы по внешней политике*). (Frederick, Md.: University Publications of America, 1983), part I, vol. 19, p. 367ff.

²⁵⁶ Там же. С. 384.

«...Ясно, что второй вариант (полунезависимой эволюции и не без помощи искусства управления государством) может на любой стадии слиться с первым или с каким-либо сознательно продуманным планом. Более того, даже если на практике воплотится эволюционный план, позиция, доставшаяся таким образом Германии, будет, несомненно, представлять собой столь же ощутимую угрозу всему остальному миру, как и представлял бы преднамеренный захват аналогичного положения с «обдуманном злым умыслом»²⁵⁷.

И хотя «Меморандум Кроу» не шел на деле далее возражений против достижения взаимопонимания с Германией, направленность его удара была очевидна: если Германия не оставит попыток добиться превосходства на морях и не умерит своей так называемой *Weltpolitik* мировой политики, Великобритания обязательно объединится с Россией и Францией в деле противостояния ей. И сделает это с тем же неутомимым упорством, с каким покончила с французскими и испанскими претензиями в предшествующих столетиях.

Великобритания дала ясно понять, что не потерпит дальнейшего наращивания германского могущества. В 1909 году министр иностранных дел Грей подчеркнул это обстоятельство в ответ на немецкое предложение *замедлить* (но не прекратить полностью) программу наращивания своих ВМФ, если Великобритания согласится оставаться нейтральной в войне Германии против Франции и России. Предлагаемое соглашение, как доказывал Грей, «...послужит установлению германской гегемонии в Европе и продлится не более, чем это потребуется для достижения данной цели. На самом деле это приглашение помочь Германии в деле проведения европейской комбинации, которая может быть направлена против нас, как только ей понадобится ее использовать. ...Если мы пожертвуем другими державами ради Германии, в конечном счете на нас тоже нападут»²⁵⁸.

После создания Тройственного согласия игра в кошки-мышки, которой Германия и Великобритания занимались в 1890-е годы, стала абсолютно серьезной и превратилась в схватку между державой, придерживающейся принципа статус-кво, и державой, требующей перемен в системе баланса сил. С учетом того, что дипломатическая гибкость перестала играть свою роль, единственным способом нарушения баланса сил стало наращивание вооружений или достижение победы в войне.

Два альянса стояли лицом к лицу по обеим сторонам пропасти растущего взаимного недоверия. В отличие от периода холодной войны обе группировки собственно войны не боялись; они на деле были более озабочены сохранением своей целостности, чем предотвращением разборок. Конфронтация стала стандартным методом дипломатии.

Тем не менее еще существовал шанс избежать катастрофы, поскольку на самом деле было не так уж много поводов, которые оправдывали бы войну, разделяющую альянсы. Ни один из участников Тройственного согласия не вступил бы в войну, чтобы помочь Франции вернуть Эльзас и Лотарингию; Германия, даже пребывая в крайне экзальтированном состоянии, вряд ли стала бы оказывать поддержку агрессивной войне Австрии на Балканах. Политика сдержанности, возможно, отсрочила бы войну и даже позволила бы неестественным альянсам постепенно распастись – особенно с учетом того, что Тройственное согласие возникло в первую очередь из страха перед Германией.

К концу первого десятилетия XX века баланс сил выродился во враждебные коалиции, негибкость которых была сродни отчаянному пренебрежению теми факторами, которые содействовали их созданию. Россия была связана с Сербией, кишевшей националистическими и

²⁵⁷ Там же.

²⁵⁸ Цитируется в: Зонтаг. *Европейская дипломатическая история*. С. 140.

даже террористическими группировками, которая ничего не теряла и поэтому не испытывала никакой озабоченности в связи с риском всеобщей войны. Франция предоставила карт-бланш России, стремящейся восстановить самоуважение после русско-японской войны. Германия точно то же самое сделала для Австрии, отчаянно защищавшей свои славянские провинции от агитации, идущей из Сербии, в свою очередь, поддержанной Россией. Страны Европы позволили себе стать заложниками своих безрассудных балканских сателлитов. И вместо того чтобы сдерживать необузданные страсти этих стран, обладающих ограниченным чувством глобальной ответственности, они позволили, чтобы их втянули в паранойю ощущения того, что их беспокойные партнеры могут поменять союзы, если они не получают то, что они хотят. В течение нескольких лет кризисы удавалось преодолевать, хотя каждый последующий приближал неизбежное столкновение. А реакция Германии на появление Антанты-Тройственного соглашения доказывала ее упрямую решимость повторять одну и ту же ошибку вновь и вновь; каждая проблема превращалась в испытание мужественности с целью доказать, что Германия решительна и сильна, в то время как ее оппонентам не хватает решимости и мощи. И тем не менее с каждым немецким вызовом узы, связывавшие Тройственное соглашение, скреплялись все крепче.

В 1908 году разразившийся международный кризис по поводу Боснии и Герцеговины заслуживает отдельного рассказа, так как он является наглядной иллюстрацией исторической тенденции к повторениям. Босния и Герцеговина всегда была захолустьем Европы, ее судьба оказалась в двусмысленном состоянии на Берлинском конгрессе, потому что никто по сути не представлял себе, что с ней делать. Эта ничья земля, лежащая между Оттоманской и Габсбургской империями, где жили католики, православные и мусульмане, а население состояло из хорватов, сербов и мусульманских народностей, она никогда не была не только государством, но и даже самоуправляющейся территорией. Она лишь казалась управляемой, если ни от одной из групп не требовалось подчиниться другим. В течение 30 лет Босния и Герцеговина находилась под турецким сюзеренитетом, под управлением Австрии, а также имела местную автономию. Какое-то время не возникало каких-либо серьезных проблем для этого многонационального соглашения, которое оставляло вопрос окончательного суверенитета нерешенным. Австрия выжидала 30 лет, чтобы решиться на прямую аннексию, так как страсти многоязычной смеси были слишком сложными, что даже австрийцам было нелегко в них разобраться, несмотря на их большой опыт управления среди хаоса. И когда они, в конце концов, аннексировали Боснию и Герцеговину, то сделали это скорее ради того, чтобы выиграть очко у Сербии (и косвенно России), а не для того, чтобы достичь какой-либо логически последовательной политической цели. В результате Австрия нарушила зыбкий баланс, ведущий к ненависти.

Тремя поколениями позднее, в 1992 году, те же неудержимые страсти прорвались наружу в связи с возникновением сходных проблем, что повергло в изумление всех, кроме непосредственно связанных с ситуацией фанатиков, а также тех, кто хорошо знаком с весьма нестабильной историей этого региона. И вновь резкое изменение управления превратило Боснию и Герцеговину в кипящий котел. Как только Босния была объявлена независимым государством, все национальности набросились друг на друга в борьбе за главное положение, причем сербы стали сводить старые счета особенно зверским образом.

Пользуясь слабостью России после русско-японской войны, Австрия легкомысленно воспользовалась секретным приложением 30-летней давности, заключенным в ходе Берлинского конгресса, по которому все державы разрешали Австрии аннексировать Боснию и Герцеговину. С той поры Австрия вполне довольствовалась фактическим контролем, поскольку ей не хотелось приобретать новых славянских подданных. Однако в 1908 году Австрия пересмотрела то решение, опасаясь, что империя может распасться под воздействием сербской пропаганды, и полагая, что ей нужен какой-то конкретный успех, чтобы продемонстрировать свое превосходство на Балканах. За прошедшие три десятилетия Россия утратила свое господствующее положение в Болгарии, а «Союз трех императоров» распался. Небезосновательно Россия была

возмущена и оскорблена тем, что почти забытое соглашение было вытащено на свет, чтобы позволить Австрии приобрести территорию, освобожденную в результате русской войны!

Но одно только возмущение не гарантирует успеха, особенно когда его объект уже завладел соответствующим призом. Впервые Германия откровенно и открыто поддержала Австрию, дав понять, что готова пойти на риск европейской войны, если Россия выступит против аннексии. Затем, нагнетая дополнительное напряжение, Германия потребовала официального признания Россией и Сербией действий Австрии. России ничего не осталось, как проглотить это унижение, поскольку Великобритания и Франция еще не были готовы участвовать в войне из-за Балкан, и поскольку Россия была не в состоянии воевать одна после поражения в Русско-японской войне.

Германия, таким образом, встала на пути России, да еще в районе, где у нее никогда не было жизненно важных интересов – фактически там, где Россия прежде всегда могла рассчитывать на Германию в обуздании амбиций Австрии. Германия продемонстрировала не только собственное безрассудство, но и серьезнейшее забвение исторической памяти. Всего лишь полстолетия назад Бисмарк точнейшим образом предсказал, что Россия никогда не простит Австрии унижения в Крымской войне. Теперь Германия совершала ту же самую ошибку, усугубляя разрыв с Россией, начатый на Берлинском конгрессе.

Унижать великую страну, но при этом ее не ослабив, это всегда опасная игра. Хотя Германия считала, что учит Россию ценить важность германской доброй воли, Россия решила никогда не допускать, чтобы ее заставляли врасплох. Таким образом, две великие континентальные державы стали играть в игру, именуемую на американском сленге «трус», когда два водителя едут на своих машинах друг другу лоб в лоб, при этом каждый надеется, что другой струсит и отвернет в последний момент, а также рассчитывает на крепость собственных нервов. К сожалению, в эту игру в Европе перед Первой мировой войной уже играли несколько раз по разному поводу. Всякий раз столкновение предотвращалось, всеобщая уверенность в конечной безопасности подобной игры усиливалась, заставляя всех забыть, что единственная неудача может повлечь за собой непоправимую катастрофу.

Германия, как будто желая быть абсолютно уверенной в том, что не упустила возможность подразнить очередного потенциального противника, или дала всем им достаточный повод сплотиться еще теснее для самообороны, бросила очередной вызов Франции. В 1911 году Франция, фактически взявшая в свои руки гражданское управление Марокко, отреагировала на местные беспорядки, направив войска в Фес, откровенно нарушив Альхесирасское соглашение. Под бешеные аплодисменты немецкой националистической прессы кайзер отреагировал на это посылкой канонерки «Пантера» в марокканский порт Агадир. «Ура! Дело сделано! – писала 2 июля 1911 года «Райниш-Вестфалише цайтунг». – Наконец-то действие, освободительный акт, который должен рассеять облако пессимизма повсюду»²⁵⁹. «Мюнхенер нойесте нахрихтен» рекомендовала правительству двигаться вперед изо всех сил, «даже если в результате подобной политики сложатся обстоятельства, которые мы не сможем предугадать сегодня»²⁶⁰. То, что германская пресса считала тонкостью, на самом деле было подталкиванием газетой Германии к войне из-за Марокко.

Этот высокопарно поименованный «прыжок пантеры» завершился точно так же, как и предыдущие попытки Германии прорвать ею же самой установленную блокаду. В очередной раз Германия и Франция оказались на грани войны, причем цели Германии были, как всегда, недостаточно четко определены. Какого рода компенсацию она искала на этот раз? Марокканский порт? Часть Атлантического побережья Марокко? Колониальные приобретения в каких-

²⁵⁹ Цитируется в: Кэрролл. *Германия и великие державы*. С. 657.

²⁶⁰ Цитируется в: Klaus Wernecke. *Der Wille zur Weltgeltung: Aussenpolitik und Öffentlichkeit am Vorabend des Ersten Weltkrieges* (Вернеке Клаус. *Воля к обретению мировой значимости: внешняя политика и общественность накануне Первой мировой войны*). (Dusseldorf, 1970), p. 33.

то еще местах? Она просто хотела запугать Францию, но не смогла найти другого действенного способа для достижения этой цели.

В соответствии с уровнем развивающихся взаимоотношений Великобритания поддержала Францию гораздо тверже, чем в Альхесирасе в 1906 году. Сдвиг британского общественного мнения был наглядно продемонстрирован отношением к происшедшему со стороны тогдашнего канцлера казначейства Дэвида Ллойд Джорджа, имевшего заслуженную репутацию пацифиста и сторонника добрых отношений с Германией. По этому случаю, однако, он выступил с важным докладом, в котором содержалось предупреждение о том, что «...нам может быть навязана ситуация, в которой мир может быть сохранен отказом от великой и благотворной позиции, которую мы добывали себе веками героизма и достижений... и тогда я категорически заявляю, что мир, достигнутый такой ценой, стал бы унижением, не выносимым для такой великой страны, как наша»²⁶¹.

Даже Австрия холодно отнеслась к выходке своего могучего союзника, не видя смысла рисковать собственным выживанием из-за североафриканской авантюры. Германия отступила, приняв большой, но бесполезный участок земли в Центральной Африке. Эта сделка вызвала стоны и оханья в германской националистической прессе. «Мы практически шли на риск мировой войны ради нескольких конголезских болот», – писала «Берлинер тагеблатт» 3 ноября 1911 года²⁶². Критиковать, однако, следовало не качество нового приобретения, но разумность угроз войны другой стране каждые несколько лет, не имея при этом возможности определить значимую цель, всякий раз усиливая тот самый страх, который изначально и привел к созданию враждебных коалиций.

Если к тому времени немецкая тактика сделалась стереотипной, то таким же стала и англо-французская ответная реакция. В 1912 году Великобритания, Франция и Россия начали военно-штабные переговоры, важность которых лишь формально ограничивалась обычной британской оговоркой на тот счет, что они не влекут за собой никаких юридических обязательств. Но даже это ограничение в какой-то мере уже снималось англо-французским морским соглашением 1912 года, согласно которому французский флот перемещался в Средиземное море, а Великобритания брала на себя ответственность за защиту французского Атлантического побережья. Через два года это соглашение будет применено как моральное обязательство Великобритании вступить в Первую мировую войну, поскольку, как было заявлено, Франция оставила побережье пролива Ла-Манш незащищенным в надежде на британскую поддержку. (Спустя 28 лет, в 1940 году, такого же рода соглашение между Соединенными Штатами и Великобританией даст возможность Великобритании перевести свой Тихоокеанский флот в Атлантический океан, а на Соединенные Штаты ляжет моральное обязательство защищать расположенные рядом азиатские владения Великобритании от японского нападения.)

В 1913 году германское руководство завершило процесс отрыва России очередными своими судорожными и бессмысленными маневрами. На этот раз Германия дала согласие на реорганизацию турецкой армии и направила немецкого генерала, чтобы он взял на себя командование в Константинополе. Вильгельм II усугубил этот шаг, сопроводив командирование учебно-тренировочной миссии типичными напыщенно-цветистыми словесными выкрутасами, выразив надежду, что «вскоре немецкие флаги будут висеть над крепостями на Босфоре»²⁶³.

Не так уж много событий могло бы до такой степени вывести из себя Россию, как предъявление претензии Германией на то самое положение в проливах, в котором Европа отказывала

²⁶¹ Речь канцлера казначейства Дэвида Ллойд Джорджа 12 июля 1911 года, в: Винер. *Великобритания: внешняя политика*. Т. I. С. 577.

²⁶² Цитируется в: Кэрролл. *Германия и великие державы*. С. 643.

²⁶³ Цитируется в: D. C. V. Lieven. *Russia and the Origins of the First World War* (Ливен Доминик Ч. Б. *Россия и причины Первой мировой войны*). (New York: St. Martin's Press, 1983), p. 46.

России в течение столетия. Россия, хотя и с трудом, но соглашалась с контролем над проливами со стороны такой слабой страны, как оттоманская Турция, но она никогда бы не смирилась с господством на Дарданеллах другой великой державы. Российский министр иностранных дел Сергей Сазонов писал царю в декабре 1913 года: «Отдать проливы сильному государству было бы равнозначно подчинению экономического развития всей Южной России этой державе»²⁶⁴. Николай II заявил британскому послу, что «Германия намеревается занять такую позицию в Константинополе, которая позволит ей полностью запереть Россию в Черном море. И если она попытается проводить подобную политику, он будет сопротивляться изо всех сил, даже если единственным выходом будет война»²⁶⁵.

Хотя Германия нашла спасующую престиж юридическую формулировку для того, чтобы убрать немецкого командующего из Константинополя (произведя его в фельдмаршалы, что, согласно немецкой традиции, означало, что он больше не может командовать войсками в боевой обстановке), непоправимый вред был уже нанесен. Россия поняла, что немецкая поддержка Австрии в вопросе о Боснии и Герцеговине не была каким-то заблуждением. Кайзер, рассматривая эти события как испытание его собственной мужественности, заявил своему канцлеру 25 февраля 1914 года: «Русско-прусским отношениям наступил конец раз и навсегда! Мы стали врагами!»²⁶⁶ Через полгода разразилась Первая мировая война.

Возникла такая международная система, жесткость которой и конфронтационный стиль можно сравнить с более поздним периодом холодной войны. Но на самом деле сложившийся перед Первой мировой войной международный порядок был гораздо более переменчивым, чем в мире времен холодной войны. В ядерный век только Соединенные Штаты и Советский Союз обладали техническими средствами, достаточными, чтобы развязать всеобщую войну, в которой риски были до такой степени катастрофичными, что ни одна из сверхдержав не осмеливалась делегировать столь устрашающие полномочия ни одному из союзников, каким бы близким он ни был. В противоположность этому перед Первой мировой войной каждый из членов двух основных коалиций был в состоянии не только самостоятельно начать войну, но и шантажировать своих союзников, чтобы те его поддержали.

Какое-то время система альянсов обеспечивала некоторую сдержанность. Франция удерживала Россию в конфликтах, преимущественно включавших Австрию; подобную же роль играла Германия в связи с отношениями Австрии с Россией. В Боснийском кризисе 1908 года Франция дала ясно понять, что не будет воевать из-за балканского вопроса. Во время Марокканского кризиса 1911 года французскому президенту Кайо²⁶⁷ было твердо сказано, что любая французская попытка разрешить колониальный кризис при помощи силы не получит русской поддержки. Еще в Балканскую войну 1912 года Германия предупреждала Австрию, что у немецкой поддержки есть свои пределы, а Великобритания оказывала давление на Россию с требованием умерить свои действия по поручению непостоянного и непредсказуемого в своих действиях Балканского союза, возглавляемого Сербией. На Лондонской конференции 1913 года Великобритания помогла разрушить планы Сербии в отношении аннексии Албании, что было бы нетерпимо для Австрии.

На Лондонской конференции 1913 года, однако, была сделана последняя попытка со стороны международной системы ослабить напряженность. Сербия проявила недовольство прохладной поддержкой России, а Россия обиделась на выступление Великобритании в роли беспристрастного арбитра и на явное нежелание Франции принимать участие в войне. Австрия,

²⁶⁴ Цитируется в: Тэйлор. *Борьба за главенство*. С. 507.

²⁶⁵ Цитируется в: Ливен. *Россия*. С. 69.

²⁶⁶ Цитируется в: Тэйлор. *Борьба за главенство*. С. 510.

²⁶⁷ Автор ошибся, поскольку в указанный им период президентом Франции был Арман Фальер (1906–1913 годы), а Жозеф Кайо (Caillaux) с июня 1911 по январь 1912 года занимал посты премьер-министра и министра внутренних дел одновременно. – *Прим. перев.*

находившаяся на грани распада под давлением России и южных славян, была расстроена тем, что Германия не оказала ей более энергичной поддержки. И Сербия, и Россия, и Австрия – все они ожидали гораздо более решительной поддержки со стороны своих союзников; Франция, Великобритания и Германия опасались, что они потеряют своих партнеров, если во время следующего кризиса не поддержат их более решительно.

Затем каждую из великих держав внезапно охватила паника, вызванная тем, что примиренческая позиция создаст о них впечатление слабости и ненадежности и заставит их партнеров оставить их один на один перед лицом враждебной коалиции. И отдельные страны стали идти на такой уровень риска, который не предопределялся ни исторически сложившимися национальными интересами, ни разумными долгосрочными стратегическими целями. Правило Ришелье, утверждавшего, что средства должны быть соразмерны целям, нарушалось почти повседневно. Германия готова была пойти на риск мировой войны, чтобы ее считали сторонником поддержки австрийской политики в отношении южных славян, где у Германии не было никакого национального интереса. Россия готова была схватиться не на жизнь, а на смерть с Германией, чтобы выглядеть самым стойким союзником Сербии. Между Германией и Россией никаких крупных конфликтов не было; конфронтация между ними осуществлялась как бы по доверенности.

В 1912 году новый французский президент Раймон Пуанкаре²⁶⁸ известил русского посла в отношении Балкан, что, «если Россия вступит в войну, Франция тоже это сделает, поскольку нам известно, что в этом вопросе за Австрией стоит Германия»²⁶⁹. Обрадованный русский посол докладывал о «совершенно новом французском подходе», заключающемся в том, что «территориальные захваты Австрии отрицательно влияют на общий баланс в Европе и, следовательно, на интересы Франции»²⁷⁰. В том же году заместитель британского министра иностранных дел сэр Артур Никольсон писал британскому послу в Санкт-Петербурге: «Не знаю, как долго мы еще будем в состоянии следовать нашей нынешней политике лавирования и избегать выбора той или иной определенной линии. Меня преследует тот же страх, что и вас – вдруг Россия устанет от нас и сторгуется с Германией»²⁷¹.

Не желая, чтобы его кто-нибудь переплюнул в безрассудстве, кайзер в 1913 году пообещал Австрии, что в случае возникновения следующего кризиса Германия, если понадобится, вступит в войну вслед за ней. 7 июля 1914 года германский канцлер объяснил политику, которая менее чем через четыре недели привела к настоящей войне: «Если мы заставим их [австрийцев] идти дальше, то они заявят, что это мы их подтолкнули; если мы станем их убеждать, тогда это будет вопросом о том, что мы их бросили в тяжком положении. Тогда они обратятся к западным державам, чьи объятия всегда раскрыты, а мы потеряем нашего последнего союзника, каким бы он ни был»²⁷². Конкретная выгода, которую Австрия смогла бы извлечь из альянса с Тройственным соглашением, так и не была четко определена. Да и Австрия вряд ли вступила бы в одну группировку с Россией, старавшейся подорвать положение Австрии на Балканах. С исторической точки зрения союзы заключались для усиления положения той или иной страны на случай войны; по мере приближения Первой мировой войны основным мотивом вступления в войну было стремление укрепить союзы.

Руководители всех крупных стран просто не сумели ухватить сути находящейся в их распоряжении технологии или смысла союзов, лихорадочно ими создаваемых. Они, похоже, забыли об огромных потерях, которые принесла недавняя гражданская война в Америке, и

²⁶⁸ Раймон Пуанкаре был президентом Франции с 1913 по 1920 год, сразу после Армана Фальера. – *Прим. перев.*

²⁶⁹ Там же. С. 492–493.

²⁷⁰ Цитируется в: Ливен. *Россия*. С. 48.

²⁷¹ Цитируется в: Зонтаг. *Европейская дипломатическая история*. С. 185.

²⁷² Цитируется в: Крэйг. *Германия*. С. 335.

рассчитывали на краткий и окончательный конфликт. Им не приходило в голову, что неспособность придать своим альянсам разумные политические цели может привести к разрушению той цивилизации, какой они ее знали. Каждый из союзов ставил на карту слишком многое, чтобы позволить вступить в действие традиционной дипломатии «Европейского концерта». Вместо этого великие державы сумели создать дипломатическую машину Судного дня, хотя они и не ведали, что сотворили.

Глава 8

В водовороте событий. Военная машина Судного дня

Удивительным аспектом начала Первой мировой войны является вовсе не то, что кризис, меньший по значимости, чем множество уже преодоленных, вызвал в итоге глобальную катастрофу, а то, что для этого понадобилось так много времени. К 1914 году конфронтация между Германией и Австро-Венгрией, с одной стороны, и Антантой, с другой, стала до чрезвычайности серьезной. Государственные деятели всех ведущих стран внесли свой вклад в создание дипломатического механизма Судного суда, делавшего постепенно каждый последующий кризис более трудноразрешимым, чем предыдущий. А их военное руководство в значительной степени усугубило опасность посредством разработки таких стратегических планов, которые сокращали время для принятия решения. Поскольку военные планы зависели от скорости их осуществления, а дипломатическая машина была настроена на традиционный неторопливый ход, становилось невозможным разрешить кризис из-за дефицита времени. Дело усугублялось еще и тем, что авторы военных планов не объясняли своим политическим коллегам должным образом их смысловой подтекст.

Военное планирование, в сущности, стало автономным. Первый шаг в этом направлении был сделан в ходе переговоров о заключении франко-русского военного союза в 1892 году. Вплоть до того времени на переговорах о союзе речь шла о «казус белли», иными словами, уточнялось, какие конкретные действия противника должны обязать союзника вступить в войну. И почти всякий раз попытка определения «казус белли» упиралась в то, кого же следовало рассматривать в качестве зачинщика схватки.

В мае 1892 года ведший переговоры от имени России генерал-адъютант Николай Николаевич Обручев направил письмо министру иностранных дел Гирсу с объяснениями, почему традиционный способ определения формального повода для объявления войны, или «казус белли», неприемлем в век современных технологий. Обручев настаивал: более важно то, кто первым объявил мобилизацию, а не то, кто сделал первый выстрел. «Приступ к мобилизации не может уже ныне считаться как бы мирным еще действием, это самый решительный акт войны»²⁷³.

Сторона, проявляющая медлительность при мобилизации, может лишиться всех преимуществ наличия союза и дать возможность противнику нанести поражение каждому из своих союзников по очереди. Необходимость одновременной мобилизации для всех членов одного альянса прочно засела в умах европейских лидеров, что превратилась в основной принцип торжественных дипломатических взаимодействий. Целью союзов теперь уже была не гарантия поддержки *после* начала войны, а гарантия того, что каждый из союзников проведет мобилизацию как можно скорее и, как ожидалось, раньше любого из противников. И когда таким образом сформированные союзы начинали противостоять друг другу, угрозы, опирающиеся на мобилизацию, уже были необратимы, потому что остановить мобилизацию на полпути еще губительнее, чем вовсе ее не начинать. Если одна из сторон остановилась, в то время как вторая продолжила начатое, то для первой неблагоприятные факторы с каждым днем будут нарастать. Если же обе стороны попытаются остановиться одновременно, то сделать это будет очень трудно ввиду технических проблем, из-за чего мобилизация почти наверняка завершится еще до того, как дипломаты сумеют договориться о способах ее прекращения.

²⁷³ Памятная записка Н. Н. Обручева Гирсу от 7/19 мая 1892 года, цитируется в: George F. Kennan. *The Fateful Alliance: France, Russia and the Coming of the First World War* (Кеннан Джордж Ф. *Роковой альянс: Франция, Россия и наступление Первой мировой войны*). (New York: Pantheon, 1984), Арренх II, р. 264. (Айрапетов О. Р. *Забывтая карьера «русского Мольтке»*. Николай Николаевич Обручев (1830–1904) в: *Дневник В. Н. Ламздорфа (1891–1892)*. М.: Л., 1934. С. 336).

Эта процедура Судного дня эффективно вывела «казус белли» из-под какого бы то ни было политического контроля. Каждый кризис имел встроенный усилитель войны – решение об объявлении мобилизации, – и каждая война, несомненно, должна была стать мировой.

И совсем не осуждавший перспективу включения автоматического усилителя Обручев с энтузиазмом его приветствовал. Меньше всего он уповал на локальные конфликты. Поскольку, если бы Германия оставалась в стороне во время войны между Россией и Австрией, она бы попросту возникла позднее и уже была бы в состоянии диктовать условия мира. Согласно фантазиям Обручева, именно это и совершил Бисмарк на Берлинском конгрессе:

«Меньше всего наша дипломатия может рассчитывать на изолированный конфликт, к примеру, с Германией, или Австрией, или Турцией по отдельности. Берлинский конгресс явился достаточным для нас уроком, и он научил нас, кого нам следует считать своим самым опасным противником, – того, кто напрямую сражается с нами, или того, кто выжидает нашего ослабления, чтобы затем диктовать условия мира?..»²⁷⁴

По словам Обручева, именно в интересах России было сделать так, чтобы каждая война становилась всеобщей. Польза для России от правильно организованного союза с Францией заключалась бы в том, чтобы не допустить возможность локальной войны:

«При возникновении каждой европейской войны у дипломатов всегда возникает огромное искушение локализовать конфликт и, насколько возможно, ограничить его последствия. Но при нынешнем состоянии вооружений и степени возбуждения в континентальной Европе Россия должна рассматривать любую подобную локализацию войны с особенным скептицизмом, поскольку это может безмерно усилить возможности не только наших противников, которые еще колеблются и не выступают открыто, но и нерешительных союзников»²⁷⁵.

Иными словами, оборонительная война с ограниченными целями *противоречила* национальному интересу России. Любая война должна быть всеобщей, и составители военных планов не должны предоставлять политическим лидерам иного выбора:

«Как только мы окажемся втянутыми в войну, мы должны будем вести ее всеми нашими силами и против обоих наших соседей, и никак иначе. Перед лицом готовности всех вооруженных народов воевать, никакой другой войны нельзя предвидеть, кроме как войны самого решительного свойства – войны, которая определит на продолжительный срок политическое положение европейских держав и особенно России и Германии»²⁷⁶.

Сколь бы тривиальной ни была ее причина, война обязана быть всеобщей; и если ее предлюдия затрагивала только одного соседа, Россия должна была бы проследить за тем, чтобы оказался втянут и другой. Как бы гротескно это ни выглядело, российский генеральный штаб *предпочитал* сражаться с Германией и Австро-Венгрией одновременно, а не по отдельности. Военная конвенция, воплотившая в себе идеи Обручева, была подписана 4 января 1894 года. Франция и Россия договорились провести одновременную мобилизацию, если мобилизацию предпримет *любой* из членов Тройственного союза вообще по *любой* причине. Машина Судного дня была готова. К примеру, стоит Италии, союзнику Германии, провести мобилизацию против Франции по поводу Савойи, Россия обязана будет осуществить мобилизацию против

²⁷⁴ Там же. С. 265.

²⁷⁵ Там же.

²⁷⁶ Там же. С. 268.

Германии; если Австрия объявит мобилизацию в связи с Сербией, Франции теперь придется провести мобилизацию против Германии. Учитывая, что было совершенно очевидно, что в какой-то момент любая страна может провести мобилизацию по той или иной причине, всеобщая война становилась лишь делом времени, так как достаточно было *одной* мобилизации, проведенной одной крупной державой, чтобы дать старт машине Судного дня для всех них.

По крайней мере, царь Александр III понял, что игра ведется по самым высоким ставкам. Когда Гирс спросил его: «...что мы выиграем, если поможем Франции разбить Германию?», он ответил так: «Мы выиграем то, что Германия как таковая исчезнет. Она рассыпется на множество маленьких, слабых государств, как это было когда-то»²⁷⁷. Военные цели Германии были в равной степени широкомасштабными и расплывчатыми. Часто используемое европейское равновесие превратилось в битву не на жизнь, а на смерть, хотя ни один из имеющих к этому отношение государственных деятелей не мог вразумительно объяснить, какая именно цель оправдывает подобный нигилизм или осуществлению каких политических задач послужит всеобщий пожар.

То, что российские штабисты выдвигали как теорию, германский генеральный штаб переводил в плоскость оперативного планирования как раз в тот самый момент, когда Обручев вел переговоры по поводу заключения франко-русского военного союза. И с учетом немецкой педантичности императорские генералы доводили концепцию мобилизации до абсолютного предела. Начальник германского генштаба Альфред фон Шлиффен был так же одержим мобилизационными графиками, как и его русский и французский коллеги. Но в то время как франко-русские военные руководители были озабочены определением обязательств по проведению мобилизации, Шлиффен сфокусировал все свое внимание на практическом претворении в жизнь этой концепции.

Не желая полагаться на капризы политических кругов, Шлиффен попытался создать безупречный план выхода Германии из столь устрашающего для нее враждебного окружения. Точно так же, как преемники Бисмарка отказались от его сложной дипломатии, так и Шлиффен сбросил, как балласт, стратегические концепции Гельмута фон Мольтке, военного архитектора трех быстрых побед Бисмарка в период между 1864 и 1870 годом.

Мольтке разработал стратегию, которая оставляла открытыми различные варианты политического решения выхода из бисмарковского кошмара по поводу враждебных коалиций. На случай войны на два фронта Мольтке планировал разделить немецкую армию на более или менее две равные части на востоке и на западе и вести оборонительные действия на обоих фронтах. С учетом того, что основной целью Франции был возврат Эльзас-Лотарингии, то удар, непременно, будет нанесен туда. Если Германии удастся нанести поражение при этом наступлении, Франция будет вынуждена пойти на компромиссный мир. Мольтке особо предупреждал относительно возможностей перенесения военных операций в Париж, уяснив себе во время франко-прусской войны, как трудно бывает заключить мир, когда осаждаешь столицу противника.

Мольтке предложил ту же самую стратегию для Восточного фронта – а именно, разгромить русское наступление и развивать успех, отталкивая русскую армию на стратегически безопасное расстояние, а затем предложить компромиссный мир. Те силы, которые первыми одержат победу, могли бы быть использованы для оказания помощи войскам на другом фронте. Таким образом, сохранялся бы в некотором роде баланс и в отношении масштабов войны, и количества жертв, и в плане политических решений²⁷⁸.

Но точно так же, как преемники Бисмарка чувствовали себя неуверенно в отношении двойственного характера взаимно пересекающихся альянсов, так и Шлиффен отверг план

²⁷⁷ Цитируется в: Там же. С. 153.

²⁷⁸ См.: Gerhart Ritter. *The Schlieffen Plan* (Риттер Герхарт. *План Шлиффена*). (New York: Frederick A. Praeger, 1958).

Мольтке, так как он оставлял военную инициативу за противниками Германии. Не одобрил Шлиффен и предпочтение Мольтке политического компромисса в противоположность тотальной победе. Преисполненный решимости навязать такие условия мира, которые были, по существу, безоговорочной капитуляцией, Шлиффен разработал план решительной и быстрой победы на одном фронте, а затем переброски сил против другого противника, тем самым достигая убедительного исхода на обоих фронтах. Поскольку быстрый и решительный удар на Востоке был невозможен вследствие медленных темпов русской мобилизации, которая, как предполагалось, могла бы занять шесть недель, и из-за обширности русской территории, Шлиффен решил разгромить французскую армию первой еще до того, как русская полностью отоблизуется. Для того чтобы обойти тяжелые французские крепостные укрепления на германской границе, Шлиффен внес предложение нарушить нейтралитет Бельгии, проведя германские войска флангом через ее территорию. Тогда он захватил бы Париж и запер французскую армию в приграничных крепостях, окружив ее с тыла. Тем временем на востоке Германия вела бы оборонительные бои.

План был столь же блестящ, сколь безрассуден. Минимальное знание истории могло бы ему подсказать, что Великобритания, непременно, вступила бы в войну, если будет совершено вторжение в Бельгию, – этот факт, похоже, почти полностью ускользнул от внимания как кайзера, так и германского генерального штаба. В течение 20 лет с момента разработки плана Шлиффена в 1892 году немецкие руководители делали бесчисленные предложения Великобритании, чтобы заручиться ее поддержкой – или хотя бы нейтралитетом – в европейской войне, но все они были сочтены германским военным планированием как иллюзорные. Как раз именно независимость Нидерландов и была тем, за что Великобритания всегда боролась упорно и непримиримо. А поведение Великобритании в войнах против Людовика XIV и Наполеона показало четкую приверженность этому принципу. Вступив в бой, Великобритания воевала бы до конца даже в случае поражения Франции. Вдобавок план Шлиффена исключал вероятность неудачи. Если бы Германия не смогла разгромить французскую армию – что было вполне возможно, поскольку французы обладали внутренними оборонительными линиями и сетью железных дорог, радиально расходящихся из Парижа, в то время как немецкой армии пришлось бы двигаться в пешем порядке по дуге через разоренные сельские районы, – то Германия была бы вынуждена прибегнуть к стратегии Мольтке, которая сводилась к обороне на два фронта, после сведения на нет возможности политического компромисса из-за оккупации Бельгии. В то время как основной целью политики Бисмарка было избежать войны на два фронта, а военной стратегии Мольтке свести ее к минимуму, Шлиффен настаивал на ведении всесторонней войны на оба фронта одновременно.

При том, что Германия делала акцент на развертывание боевых порядков против Франции, при том, что наиболее вероятным местом возникновения конфликта была Восточная Европа, преследовавший Бисмарка кошмарный вопрос: «что будет, если война будет идти на два фронта?» трансформировался в кошмарный вопрос Шлиффена: «что будет, если война не будет идти на два фронта?» Если бы Франция заявила о своем нейтралитете в балканской войне, то Германия могла бы оказаться перед лицом опасности объявления войны Францией *по завершении* русской мобилизации, как это уже разъяснил Обручев, находясь по ту сторону разграничительной линии. Если бы, с другой стороны, Германия проигнорировала предложенный Францией нейтралитет, то план Шлиффена поставил бы Германию в крайне неудобное положение из-за своего нападения на невоюющую Бельгию, чтобы нанести удар по невоюющей Франции. Тогда Шлиффену предстояло бы изыскать предлог для нападения на Францию, даже если бы она осталась в стороне. Он сотворил немислимый критерий признания Германией нейтралитета Франции. Германия будет считать Францию нейтральной только тогда, когда та согласится передать Германии одну из своих главнейших крепостей, – иными словами, только

в том случае, если Франция отдаст себя на милость Германии и откажется от своего статуса великой державы.

Полнейшая путаница из общих политических альянсов и взрывоопасных военно-стратегических планов гарантировала обильное кровопускание. Баланс сил лишился даже подобия гибкости, наличествовавшей на протяжении XVIII и XIX веков. Где бы ни разразилась война (а наиболее вероятным местом ее возникновения были бы Балканы), план Шлиффена предусматривал, чтобы сражения начального этапа происходили на Западе, причем между странами, практически не имеющими никаких интересов непосредственно в данном кризисе. Внешняя политика была принесена в жертву военной стратегии, сводившейся на этот раз к игре, в которой фишки выбрасываются только один раз. Более бездумного технократического подхода к войне даже трудно было себе представить.

И хотя военные руководители обеих сторон настаивали на войне максимально разрушительного типа, они хранили зловещее молчание по поводу политических последствий их военно-технических решений. Как будет выглядеть Европа в результате войны такого масштаба? Какие перемены оправдывают запланированное ими побоище? Не существовало ни единой конкретной претензии со стороны России к Германии или хотя бы одного требования со стороны Германии к России, которые заслуживали бы развязывания войны местного значения, не говоря уже о всеобщей войне.

Дипломаты обеих сторон также хранили молчание, в основном потому, что не понимали политических последствий от бомб замедленного действия для их стран, и еще потому, что националистическая политика каждого государства не давала им возможности беспрепятственно бросить вызов партии войны в своих странах. И этот заговор молчания не дал возможности политическим руководителям всех крупных государств запрашивать военные планы, чтобы установить хоть какое-то соответствие между военными и политическими целями.

Учитывая, какая в итоге получилась катастрофа, мы не можем не поражаться, с каким сверхъестественным легкомыслием европейские лидеры встали на такой гибельный курс. Прозвучало на удивление мало предупреждений, и почетным исключением было заявление Петра Дурново, бывшего российского министра внутренних дел, ставшего членом Государственного совета. В феврале 1914 года – за полгода до начала войны – он направил царю пророческий меморандум:

«Главная тяжесть войны, несомненно, выпадет на нашу долю, так как Англия к принятию широкого участия в континентальной войне едва ли способна, а Франция, бедная людским материалом, при тех колоссальных потерях, которыми будет сопровождаться война при современных условиях военной техники, вероятно, будет придерживаться строго оборонительной тактики. Роль тарана, пробивающего самую толщу немецкой обороны, достанется нам...»²⁷⁹

По оценке Дурново, все эти жертвы окажутся напрасными, так как Россия будет не в состоянии обеспечить себе территориальные приобретения постоянного характера, воюя на стороне Великобритании, своего традиционного геополитического противника. Хотя Великобритания признает территориальные приобретения России в Центральной Европе, дополнительный кусок Польши лишь усилит уже существующие центробежные тенденции внутри Российской империи. Прибавление в численности украинского населения, по словам Дурново, может ускорить требования о независимости Украины. В силу этого победа может принести

²⁷⁹ Цитируется в: Frank A. Golder, ed. *Documents of Russian History, 1914–1917* (Голдер Франк А. *Документы российской истории, 1914–1917 годы*), перевод Эмануила Аронсберга. (New York: Columbia University Press, 1927), p. 9–10. (*Записка Петра Николаевича Дурново императору Николаю II в феврале 1914 года*. // «Красная новь». № 6. 1922.)

иронический по смыслу результат, приведя к этническому взрыву такой силы, который превратит царскую империю в Малороссию.

И даже если Россия воплотит в жизнь многовековую мечту о завоевании Дарданелл, то, как подчеркивает Дурново, такого рода успех окажется стратегически пустым:

«Выхода же в открытое море проливы нам не дают, так как за ними идет море, почти сплошь состоящее из территориальных вод, море, усеянное множеством островов, где, например, английскому флоту ничего не стоит фактически закрыть для нас все входы и выходы, независимо от проливов»²⁸⁰.

Почему столь простой геополитический факт ускользнул от внимания трех поколений русских, жаждущих завоевания Константинополя, и англичан, вознамерившихся это предотвратить, – остается тайной.

Далее Дурново утверждал, что война принесла бы даже меньше экономических выгод для России. По любым расчетам, она будет стоить гораздо больше и не сможет окупиться. Победа Германии погубит русскую экономику, а русская победа разорит немецкую экономику, не оставив ничего для репараций, независимо от того, какая из сторон возьмет верх:

«Ведь не подлежит сомнению, что война потребует расходов, превышающих ограниченные финансовые ресурсы России. Придется обратиться к кредиту союзных и нейтральных государств, а он будет оказан не даром. Не стоит даже говорить, что случится, если война окончится для нас неудачно. Финансово-экономические последствия поражения не поддаются ни учету, ни даже предвидению и, без сомнения, отразятся полным развалом всего нашего народного хозяйства. Но даже победа сулит нам крайне неблагоприятные финансовые перспективы: вкопец разоренная Германия не будет в состоянии возместить нам понесенные издержки. Продиктованный в интересах Англии мирный договор не даст ей возможности экономически оправиться настолько, чтобы даже впоследствии покрыть наши военные расходы»²⁸¹.

И все же самым главным аргументом Дурново против войны явилось предвидение того, что война неизбежно повлечет за собой социальную революцию – вначале в побежденной стране, а затем распространится оттуда и на страну-победителя:

«По глубокому убеждению, основанному на тщательном многолетнем изучении всех современных противогосударственных течений, в побежденной стране неминуемо разразится социальная революция, которая, силою вещей, перекинется и в страну-победительницу»²⁸².

Нет никаких доказательств того, что царь ознакомился с этой запиской, которая могла бы спасти его династию. Нет также свидетельств наличия сравнительного анализа в других европейских столицах. Ближе всего к точке зрения Дурново стоят афористичные замечания канцлера Бетман-Гольвега, приведшего Германию к войне. В 1913 году с огромным опозданием он совершенно точно объяснил, почему германская внешняя политика столь взбудоражила остальную Европу:

²⁸⁰ Там же. С. 13.

²⁸¹ Там же. С. 18.

²⁸² Там же. С. 19.

«Бросить вызов всем; встать у всех поперек дороги и фактически не ослабить никого таким способом. Причина: отсутствие цели, нужда в показных успехах, пусть даже небольших, и учет всех направлений общественного мнения»²⁸³.

В том же году Бетман-Гольвег сформулировал еще один постулат, который мог бы спасти его страну, будь он воплощен в жизнь за 20 лет до этого:

«Мы должны держать Францию под контролем посредством осторожной политики по отношению к России и Англии. Разумеется, это не понравится нашим шовинистам и будет не популярно. Но другой альтернативы для Германии в ближайшем будущем я не вижу»²⁸⁴.

К тому времени, как были написаны эти строки, Европа уже падала в пучину. Место, где кризис взвел курок Первой мировой войны, не имело никакого отношения к европейскому балансу сил, а сам «казус белли» был столь же случаен, сколь безрассудна была вся предшествующая дипломатическая деятельность.

28 июня 1914 года Франц-Фердинанд, наследник трона Габсбургов, заплатил за поспешность Австрии, проявленную в 1908 году при аннексировании Боснии и Герцеговины, собственной жизнью. Даже сами обстоятельства убийства представляют собой невероятную смесь трагедии и абсурда, которыми отмечен развал Австрии. Юному сербскому террористу не удалось с первой попытки убить Франца-Фердинанда, и он лишь ранил водителя автомобиля эрцгерцога. После прибытия в резиденцию губернатора и разноса представителям австрийской администрации за их халатность, Франц-Фердинанд в сопровождении супруги решил направиться в больницу навестить жертву покушения. Новый водитель эрцгерцогской четы повернул не туда и, делая разворот, встал перед удивленным убийцей, который топил свое разочарование в вине в открытом кафе. Видя своих жертв, так посланных ему самой судьбой, убийца во второй раз уже не промахнулся.

То, что началось как несчастный случай, превратилось, с неумолимостью рока греческой трагедии, во всеобщий пожар. Поскольку жена эрцгерцога не была королевской крови, никто из монархов Европы на похороны не приехал. Если бы коронованные главы государств собрались все вместе и получили бы возможность обменяться мнениями, они наверняка гораздо сдержаннее отнеслись бы к самой возможности войны через несколько недель после того, что было, в конце концов, всего лишь террористическим заговором.

По всей вероятности, даже саммит коронованных особ не смог бы предотвратить взрыв Австрией детонатора, который кайзер так поторопился ей вручить. Помня о своем прошлогоднем обещании поддержать Австрию в первом же кризисе, он пригласил 5 июля австрийского посла на завтрак и стал настаивать на принятии скорейших мер против Сербии. 6 июля обещание кайзера подтвердил Бетман-Гольвег: «Австрия должна рассудить, что следует сделать, чтобы выяснить отношения с Сербией; но независимо от решения Австрии, она со всей определенностью может рассчитывать на то, что Германия встанет в ее поддержку как союзник»²⁸⁵.

Наконец-то Австрия получала карт-бланш, которого она так долго добивалась, и реальный повод для недовольства, в отношении которого можно было его применить. Как всегда, не осознающий всей полноты последствий собственной бравады, Вильгельм II быстро исчез в круиз в норвежские фьорды (это во времена отсутствия радио). Что конкретно он имел в виду, так и остается загадкой, но он, безусловно, не предвидел начала европейской войны. Кайзер и

²⁸³ Бетман-Гольвег, цитируется в: Штерн. *Поражение либерализма*. С. 93.

²⁸⁴ Бетман-Гольвег Айзендехеру, 13 марта 1913 г. Цитируется в: Konrad Jarausch. *The Illusion of Limited War. Chancellor Bethmann-Hollwed's Calculated Risk, July 1914* (Ярауш Конрад. *Иллюзия ограниченной войны: учтенный канцлером Бетман-Гольвегом риск, июль 1914 года*), в: Central European History, March 1969, p. 48–77.

²⁸⁵ Цитируется в: Тэйлор. *Борьба за главенство*. С. 521–522.

его канцлер, по всей вероятности, рассчитывали, что Россия еще не готова к войне и не вмешается в момент унижения Сербии, как это произошло в 1908 году. Во всяком случае, они полагали, что находятся в более выгодном положении для того, чтобы бросить вызов России сейчас, чем несколькими годами спустя.

Сохраняя свой так и не побитый рекорд ошибочного понимания психологии потенциальных противников, немецкие руководители сейчас были так же убеждены в наличии широчайших возможностей для себя, как и тогда, когда пытались заставить Великобританию вступить в союз, строя мощный флот, или изолировать Францию, грозя ей войной из-за Марокко. Исходя из предположения о том, что успех Австрии прорвет все туже и туже смыкающееся вокруг них окружение, приведет к разочарованию России Антантой, они игнорировали Францию, которую считали непримиримым противником, и уклонялись от посредничества Великобритании, опасаясь, что это испортит их триумф. Они убедили себя в том, что, если вопреки всем ожиданиям война все-таки разразится, Великобритания или останется нейтральной, или вмешается слишком поздно. И все же Сергей Сазонов, министр иностранных дел России в момент начала войны, объяснил, почему на этот раз Россия не останется в стороне:

«Относительно чувств к нам Австрии, мы со времен Крымской войны не могли питать никаких заблуждений. Со дня ее вступления на путь балканских захватов, которыми она надеялась подпереть расшатанное строение своей несуразной государственности, отношение ее к нам принимало все менее дружелюбный характер. С этим неудобством мы, однако, могли мириться до тех пор, пока нам не стало ясно, что балканская политика Австро-Венгрии встречает сочувствие Германии и получает из Берлина явное поощрение»²⁸⁶.

Россия полагала, что ей следует выступить против того, что она истолковала как немецкий маневр, предназначенный для подрыва ее положения среди славян путем унижения Сербии, ее наиболее надежного союзника в этом регионе. «Было ясно, – писал Сазонов, – что мы имеем дело не с поспешным решением близорукого министра, предпринятым на свой страх и риск под свою ответственность, но с тщательно разработанным планом, составленным при помощи германского правительства, без согласия и обещания поддержки которого Австро-Венгрия никогда бы не рискнула приступить к его осуществлению»²⁸⁷.

Другой русский дипломат позднее с ностальгией писал о различии между Германией Бисмарка и Германией кайзера:

«Великая война явилась неизбежным следствием поощрения со стороны Германии политики Австро-Венгрии, направленной на проникновение на Балканы, которая увязывалась с грандиозной пангерманской идеей германизации Средней Европы. Во времена Бисмарка такого никогда бы не случилось. Происшедшее явилось результатом новых немецких амбиций взяться за выполнение задачи, еще более грандиозной, чем стояла перед Бисмарком, – уже без Бисмарка»²⁸⁸²⁸⁹.

²⁸⁶ Serge Sazonov. *The Fateful Years, 1909–1916: The Reminiscence of Serge Sazonov* (Сазонов Сергей. Роковые годы, 1909–1916: воспоминания Сергея Сазонова). (New York: Frederick A. Stokes, 1928), p. 31. (Сазонов Сергей Дмитриевич. *Воспоминания*. Минск: Харвест, 2002).

²⁸⁷ Там же. С. 153.

²⁸⁸ N. V. Tcharykov. *Glimpses of High Politics* (Чарыков Н. В. *Некоторые представления о Высокой политике*). (London, 1931), p. 271.

²⁸⁹ Русские мемуары следует воспринимать с долей скепсиса, потому что в них делается попытка возложить всю ответственность за войну на Германию. В частности, Сазонов должен нести свою долю ответственности, поскольку он явно принадлежал к партии войны, подталкивая к мобилизации, – несмотря даже на то, что его общий анализ заслуживает большого внимания.

Русские дипломаты были слишком высокого мнения о Германии, поскольку кайзер и его советники в 1914 году не обладали планами долгосрочного характера, как и во время любого другого из предыдущих кризисов. Кризис в связи с убийством эрцгерцога вышел из-под контроля, так как ни один из лидеров не был готов отступить, а каждая из стран более всего была озабочена выполнением формальных договорных обязательств, а отнюдь не разработкой всеохватывающей концепции долгосрочных общих интересов. Европе недоставало всеобъемлющей системы ценностей, связывающей все державы воедино, подобно той, что существовала при системе Меттерниха, или той, для которой была характерна хладнокровная дипломатическая гибкость бисмарковской реальной политики. Первая мировая война началась не из-за того, что отдельные страны нарушили заключенные ими договоры, а из-за того, что они исполняли их чересчур буквально.

Одним из самых странных из множества любопытных аспектов начала Первой мировой войны было то, что поначалу ничего не происходило. Австрия, верная своему обычному стилю деятельности, медлила, отчасти потому, что Вене требовалось время для преодоления внутреннего сопротивления со стороны венгерского премьер-министра Иштвана Тисы, чтобы не рисковать целостностью империи. Когда же тот, наконец, уступил, Вена 23 июля выступила с 48-часовым ультиматумом Сербии, преднамеренно выдвигая такие обременительные условия, чтобы они были непременно отвергнуты. И тем не менее эта задержка лишила Австрию преимуществ, которые давали повсеместные изначальные чувства негодования по всей Европе в связи с убийством эрцгерцога.

В Европе времен Меттерниха, когда все разделяли приверженность легитимизму, мало кто бы сомневался в том, что Россия одобрила бы австрийские меры против Сербии за убийство принца, являющегося прямым наследником австрийского трона. Но к 1914 году легитимность перестала быть всеобщим связующим принципом. Симпатии России к своему союзнику Сербии перевешивали негодование по поводу убийства Франца-Фердинанда.

В течение целого месяца после убийства австрийская дипломатия была медлительна. Затем началась безумная гонка нагнетания катаклизма, занявшая меньше недели. Австрийский ультиматум вывел события из-под контроля политических руководителей. Поскольку раз уж ультиматум был предъявлен, любая из крупных стран оказывалась в ситуации, позволяющей дать старт безвозвратной гонке к мобилизации. По иронии судьбы маховик мобилизации был запущен той самой страной, для которой мобилизационные графики не играли никакой роли. И все это из-за того, что Австрия, единственная из великих держав, имела до такой степени устаревшие военные планы, что они не зависели от скорости их реализации. Для австрийских военных планов не имело никакого значения, в какую неделю начнется война, до тех пор, пока ее армии были в состоянии вступить в схватку с Сербией рано или поздно. Австрия предъявила ультиматум Сербии для того, чтобы предупредить посредничество, а не ускорить военные приготовления. Кроме того, австрийская мобилизация не угрожала ни одной из великих держав, так как требовался месяц для ее завершения.

Таким образом, мобилизационные планы, сделавшие войну неизбежной, были приведены в движение как раз той самой страной, чья армия реально вступила в схватку лишь *после того*, как уже произошли крупнейшие битвы на Западе. С другой стороны, независимо от состояния готовности Австрии, если бы Россия хотела угрожать ей, она должна была бы от мобилизовать часть войск, то есть сделать то, что все равно повлекло бы за собой необратимую реакцию Германии (хотя, похоже, никто из политических руководителей не уловил сути подобной опасности). Парадокс июля 1914 года заключался в том, что страны, имевшие политические причины начать войну, не были привязаны к жестким мобилизационным планам, в то время как такие страны с жесткими мобилизационными планами, как Германия и Россия, не имели политических причин вступать в войну.

Великобритания, страна, имевшая все возможности для того, чтобы остановить цепь событий, колебалась. У нее практически не было интересов, связанных с балканским кризисом, хотя она и была всерьез заинтересована в сохранении Антанты. Опасаясь войны как таковой, Великобритания в еще большей степени опасалась германского триумфа. Если бы она ясно и недвусмысленно объявила о своих намерениях и дала бы понять Германии, что вступит во всеобщую войну, кайзер, возможно, и уклонился бы от конфронтации. Именно так позднее представлял себе это Сазонов:

«При этом я не могу не выразить убеждения, что если бы в 1914 году сэр Эдуард Грей, как я о том настойчиво просил его, сделал своевременно столь же недвусмысленное заявление в плане солидарности Великобритании с Россией и Францией, он этим спас бы человечество от того ужасающего катаклизма, последствия которого подвергли величайшему риску самое существование европейской цивилизации»²⁹⁰.

Британские руководители не горели желанием рисковать Тройственным согласием, демонстрируя какие-либо колебания в отношении поддержки союзников, и в то же время, как бы противоречиво это ни выглядело, не желали выступать с угрозами в адрес Германии, чтобы сохранить за собой право выбора посредничества в нужный момент. В результате Великобритания оказалась в затруднительном положении. У нее не было юридических обязательств вступить в войну на стороне Франции и России, как заверял Грей на заседании палаты общин 11 июня 1914 года, немногим более чем за две недели до убийства эрцгерцога: «...если между европейскими державами возникла война, то не было таких неопубликованных соглашений, которые ограничивали бы или сковывали свободу действий правительства или парламента в принятии решения относительно участия Великобритании в войне...»²⁹¹

С правовой точки зрения это было совершенно верно. Однако в то же время существовала некая неуловимая тонкость морального характера. Французский военно-морской флот находился в Средиземном море по военно-морскому соглашению между Францией и Великобританией; в результате побережье Северной Франции оказывалось бы полностью неприкрытым перед лицом германского военно-морского флота, если бы Великобритания не принимала участия в войне. По мере развития кризиса Бетман-Гольвег заверял, что германский военно-морской флот не будет использован против Франции, если Великобритания даст обещание оставаться нейтральной. Но Грей отказался от этой сделки по тем же самым причинам, по которым он отклонил германское предложение в 1909 году о замедлении строительства военно-морского флота в обмен на британский нейтралитет в европейской войне, – поскольку подозревал, что после поражения Франции Великобритания окажется во власти Германии:

«Вам следует уведомить германского канцлера, что его предложение, касающееся того, чтобы мы связали себя обязательством о нейтралитете на подобных условиях, не может в данный момент быть предметом рассмотрения.

...Для нас заключение подобной сделки с Германией за счет Франции было бы позором, от которого никогда бы не удалось очистить доброе имя нашей страны.

²⁹⁰ Сазонов. *Роковые годы*. С. 40. (Сазонов. *Воспоминания*.)

²⁹¹ Заявление сэра Эдуарда Грея в палате общин по поводу секретных военных переговоров с другими державами 11 июня 1914 года, в: Уинер. *Великобритания: внешняя политика*. Т. I. С. 607.

Канцлер также просит договориться об отказе от имеющихся у нас обязательств и интересов в связи с нейтралитетом Бельгии. Такую сделку мы также не можем принимать к рассмотрению»²⁹².

Дилемма Грея заключалась в том, что его страна попала в западню между давлением общественного мнения и традициями ее внешней политики. С одной стороны, отсутствие общественной поддержки участия в войне из-за Балкан подразумевало возможность посредничества. С другой стороны, если бы Франция потерпела поражение или потеряла доверие к союзу с Британией, Германия приобрела бы то самое господствующее положение, против которого всегда выступала Англия. В силу этого, становилось вполне вероятным, что, в конце концов, Великобритания вступила бы в войну, чтобы предотвратить военное поражение Франции, даже если бы Германия не вторглась в Бельгию, хотя потребовалось бы некоторое время, чтобы среди британского народа вызрела поддержка войны. В течение этого периода Великобритания еще могла оказывать посреднические услуги. Однако решение Германии бросить вызов одному из наиболее устоявшихся принципов английской внешней политики – о недопустимости установления контроля над Нидерландами со стороны любой из крупных держав – помогло Великобритании преодолеть сомнения и гарантировало тот факт, что война не могла закончиться компромиссом.

Грей полагал, что, не встав ни на чью сторону на ранних этапах кризиса, Великобритания сохранила бы свою претензию на беспристрастность, которая могла бы позволить ей выступать в качестве посредника при принятии решения. И прошлый опыт говорил в пользу этой стратегии. Исходом повышенной межгосударственной напряженности на протяжении последних 20 лет всегда была какая-то конференция. Однако ни в один из предыдущих кризисов не было никакой мобилизации. А поскольку все великие державы готовились провести мобилизацию, пропал весь запас времени, необходимого для использования традиционных дипломатических методов. Таким образом, в ходе решающих 96 часов, то есть четырех дней, в течение которых мобилизационные графики фактически разрушили возможность для политического маневрирования, британский кабинет, в сущности, взял на себя роль стороннего наблюдателя.

Ультиматум Австрии прижал Россию к стенке в тот самый момент, когда она считала, что ее фактически игнорируют. Болгария, чье освобождение от турецкого правления было осуществлено Россией посредством ряда войн, стала склоняться на сторону Германии. Австрия, аннексировав Боснию и Герцеговину, похоже, стремилась превратить Сербию, последнего значимого союзника России на Балканах, в своего рода протекторат. Наконец, с учетом того, что Германия закреплялась в Константинополе, Россия только могла гадать, не окончится ли эпоха панславизма тевтонским господством над всем, чего она добивалась в течение столетия.

Даже при таком стечении обстоятельств царь Николай II не был готов к открытому противостоянию с Германией. На совещании с министрами 24 июля он рассмотрел все возможные варианты для России. Министр финансов Петр Барк сообщил, что царь заявил так: «Война будет катастрофической для всего мира, и, если она разразится, ее очень трудно будет остановить». Кроме того, как отмечает Барк, «германский император часто заверял его в своем искреннем желании обеспечить мир в Европе». И он напомнил министрам «о лояльном отношении германского императора во время русско-японской войны и во время внутренних беспорядков, имевших место в России после этого»²⁹³.

Возражения последовали со стороны Александра Кривошеина, влиятельного министра сельского хозяйства. Демонстрируя органическое нежелание России забывать даже об униже-

²⁹² Телеграмма сэра Эдварда Грея британскому послу в Берлине сэру Э. Гошену от 30 июля 1914 года «Отвергая политику нейтралитета», в: *Там же*. С. 607.

²⁹³ Цитируется в: Ливен. *Россия и причины*. С. 66.

ниях, он утверждал, что, несмотря на любезные письма кайзера своему кузену, царю Николаю, немцы вели себя драчливо по отношению к России во время Боснийского кризиса 1908 года. В силу этого «общественное и парламентское мнение не сможет понять, почему в критический момент, затрагивающий жизненно важные интересы России, императорское правительство не решилось на смелый шаг. ...Наше чрезмерно осторожное отношение, к сожалению, не увенчалось успехом в деле умиротворения центрально-европейских держав»²⁹⁴.

Аргументы Кривошеина были подкреплены телеграммой от русского посла в Софии, в которой говорилось, что, если Россия отступит, «наш престиж в славянском мире и на Балканах упадет настолько, что его уже никогда нельзя будет восстановить»²⁹⁵. Общеизвестно, что главы правительств трепетно реагируют на аргументы, ставящие под сомнение их отвагу. В конце концов царь отбросил в сторону свое предчувствие надвигающейся катастрофы и сделал выбор в пользу поддержки Сербии даже с риском войны, но воздержался от объявления мобилизации.

Когда Сербия отреагировала на ультиматум 25 июля в неожиданно примирительном тоне – приняв все австрийские требования, за исключением одного, – кайзер, недавно вернувшийся из круиза, решил, что кризис миновал. Но он не рассчитывал, что Австрия будет настойчиво пытаться поиграть на так неосторожно предложенной им поддержке. И, более того, он забыл – если вообще об этом знал, – что, когда великие державы уже находятся на пороге войны, мобилизационные планы способны обгонять дипломатию.

28 июля Австрия объявила войну Сербии, несмотря на то, что к военным действиям она не была бы готова до 12 августа. В тот же самый день царь объявил частичную мобилизацию, направленную против Австрии, и к своему величайшему удивлению обнаружил, что единственный план, который подготовил генеральный штаб, предусматривал всеобщую мобилизацию одновременно против Германии и Австрии, вопреки тому факту, что в течение последних 50 лет Австрия стояла на пути балканских амбиций России и что локальная австро-русская война была основной темой изучения в военно-штабных школах в течение всего того срока. Министр иностранных дел России, не ведая, что живет в перевернутом доме, попытался заверить Берлин 28 июля: «Военные мероприятия, предпринятые нами в связи с объявлением Австрией войны... ни одно из них не направлено против Германии»²⁹⁶.

Российские военные руководители, все без исключения являвшиеся последователями теорий Обручева, были потрясены сдержанностью царя. Они хотели всеобщей мобилизации и, следовательно, войны с Германией, которая пока еще не предпринимала никаких шагов военного характера. Один из руководящих генералов сказал Сазонову, что «война стала неизбежной, и что мы подвергаемся риску проиграть ее до того, как успеем вынуть свой меч из ножен»²⁹⁷.

Если царь казался своим собственным генералам слишком нерешительным, то для Германии он был более чем решительным. Все немецкие планы строились на том, чтобы вывести Францию из войны в течение шести недель, а потом взяться за предположительно еще не полностью отмобилизованную Россию. Любая русская мобилизация – даже частичная – вписалась бы в этот график и снизила бы риски Германии в этой уже довольно рискованной игре. Исходя из этого, 29 июля Германия потребовала от России прекратить мобилизацию, в противном случае Германия последует ее примеру. А все знали, что германская мобилизация была равнозначна войне.

²⁹⁴ Цитируется в: Там же. С. 143.

²⁹⁵ Цитируется в: Там же. С. 147.

²⁹⁶ Сазонов. *Роковые годы*. С. 188.

²⁹⁷ Цитируется в: L. C. F. Turner. *The Russian Mobilization in 1914* (col1_1 *Русская мобилизация в 1914 году*). *Journal of Contemporary History*, vol. 3 (1968), p. 70.

Царь был слишком слаб, чтобы уступить. Остановить частичную мобилизацию означало бы раскрыть весь ход военного планирования России, а сопротивление генералов убедило его в том, что жребий брошен. 31 июля Германия вновь потребовала прекратить русскую мобилизацию. И когда этот запрос был проигнорирован, Германия объявила войну России. Это произошло в отсутствие какого бы то ни было политического обмена мнениями между Санкт-Петербургом и Берлином относительно сущности кризиса, причем между Германией и Россией вообще не существовало спорных вопросов в прямом смысле слова.

Теперь перед Германией встала проблема, состоящая в том, что ее военные планы требовали нанесения немедленного удара по Франции, которая на протяжении этого кризиса вела себя совершенно спокойно, лишь поддерживая Россию в ее нежелании идти на компромисс обещанием безоговорочной поддержки со стороны Франции. Поняв, наконец, куда завели его 20 лет воинственной истерии, кайзер попытался перенаправить мобилизацию против Франции на Россию. Его попытка командовать над военными оказалась настолько же тщетной, насколько и предыдущее аналогичное усилие царя, направленное на ограничение масштаба российской мобилизации. Германский генеральный штаб более не готов был, как и его русский аналог, сворачивать планирование, на которое было потрачено 20 лет; фактически точно так же, как и у российского генштаба, у него не было никакого альтернативного плана. И царь, и император хотели бы отойти подальше от непосредственной угрозы войны, но никто из них не знал, как это сделать, – царь, потому что ему не дали провести частичную мобилизацию, кайзер, потому что не мог провести мобилизацию только против России. Оба были раздавлены военной машиной, которую сами же помогали строить и которая, будучи запущена в ход, уже оказалась необратимой.

1 августа Германия запросила Францию, намерена ли она оставаться нейтральной. Если бы Франция ответила положительно, Германия потребовала бы крепости Верден и Туль как доказательство ее честности. Но вместо этого Франция ответила довольно загадочно, дескать, она будет действовать в соответствии со своим национальным интересом. У Германии, разумеется, не было конкретного повода, которым можно было бы оправдать войну с Францией, стоявшей сторонним наблюдателем в Балканском кризисе. И в этот раз побудительной причиной были мобилизационные планы. Поэтому Германия сослалась на некие нарушения на границе со стороны Франции и 3 августа объявила войну. В тот же день германские войска во исполнение «плана Шлиффена» вторглись в Бельгию. На следующий день, 4 августа, Великобритания объявила войну Германии, что не удивило никого, за исключением немецких руководителей.

Великие державы преуспели в превращении второразрядного Балканского кризиса в мировую войну. Спор по поводу Боснии и Сербии привел к вторжению в Бельгию, на другом конце Европы, что, в свою очередь, сделало неизбежным вступление в войну Великобритании. По иронии судьбы к тому времени, как на Западном фронте разгорались решающие сражения, австрийские войска все еще не переходили в наступление против Сербии.

Германия слишком поздно поняла, что в войне не бывает определенности и что ее безудержное желание добиться быстрой и решительной победы втянуло ее в изнурительную войну на истощение. При воплощении в жизнь «плана Шлиффена» Германия разрушила все свои надежды на британский нейтралитет, не сумев при этом разгромить французскую армию, что было изначальной целью того, чтобы идти на риск. По иронии судьбы Германия потерпела поражение в наступательных боях на Западе и выиграла оборонительные сражения на Востоке, как и предсказывал старик Мольтке. В конце концов Германия вынуждена была прибегнуть так же к оборонительной стратегии Мольтке на Западе после того, как ввязалась в политику, исключавшую политический мир компромисса, на котором строилась стратегия Мольтке.

«Европейский концерт» позорно провалился, так как политическое руководство вышло из игры. В результате не было даже предпринято попытки собрать нечто вроде европейского конгресса, которые на протяжении большей части XIX века обеспечивали охлаждение стра-

стей на какое-то время или приводили к выработке конкретных решений. Европейские лидеры предусмотрели все возможности, за исключением резерва времени, требующегося для дипломатического умиротворения. И они позабыли изречение Бисмарка: «Горе тому государственному деятелю, который не позаботится найти такое обоснование для войны, которое и после войны еще сохранит свое значение».

К тому времени, когда все события завершились, в конечном счете 20 миллионов лежали мертвыми; Австро-Венгерская империя исчезла с лица земли; три из четырех вступивших в войну династий – германская, австрийская и российская – были свергнуты. Устоял лишь британский королевский дом. Позднее трудно было вспомнить, что же именно вызвало войну. Все понимали лишь, что на пепелище гигантского безумия надо построить новую европейскую систему, хотя природу ее трудно было распознать среди страстей и опустошения, порожденных этой кровавой бойней.

Глава 9

Новое лицо дипломатии. Вильсон и Версальский договор

11 ноября 1918 года британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж объявил о заключении перемирия между Германией и союзными державами следующими словами: «Надеюсь, что мы можем сказать так в это судьбоносное утро, что пришел конец всем войнам»²⁹⁸. В действительности же лишь два десятилетия отделяли Европу от войны, даже еще более катастрофичной по своим масштабам.

Поскольку все, что касалось Первой мировой войны, пошло не так, как планировалось, неизбежно, что стремление к миру оказалось столь же напрасным, как и те надежды, с которыми страны втянули себя в катастрофу. Каждый из участников рассчитывал на короткую войну и оставлял выработку условия мира на усмотрение своего рода дипломатического конгресса, подобного тем, что завершали европейские конфликты в прошлом столетии. Но когда потери выросли до устрашающих размеров, они позабыли политические споры, явившиеся прелюдией к конфликту, – соперничество за влияние на Балканах, принадлежность Эльзаса и Лотарингии и наращивание военно-морских сил. Европейские страны стали винить в своих страданиях присущее их противникам зло и убеждать себя в том, что компромисс не сможет принести реального мира; враг должен быть полностью разгромлен или войну следует вести до его полнейшего истощения.

Если бы европейские государственные деятели продолжили практику предвоенного международного порядка, компромиссного мира можно было бы достичь весной 1915 года. Наступления каждой из сторон прошли кровавыми маршрутами, и на всех фронтах по большей части наступило затишье. Но точно так же, как мобилизационные планы опередили дипломатию за неделю до начала войны, так и теперь масштаб жертв помешал достижению разумного компромисса. Вместо этого европейское руководство продолжало поднимать планку своих требований, тем самым не только усугубляя собственную некомпетентность и безответственность, которые привели их к войне, но и разрушая мировой порядок, при котором их страны сосуществовали в течение почти целого столетия.

К зиме 1914/15 года военная стратегия и международная политика утратили последние точки соприкосновения друг с другом. Ни одна из воюющих держав не осмеливалась изучать возможности достижения компромиссного мира. Франция не согласилась бы на урегулирование, не получив назад Эльзас и Лотарингию. Германия не рассматривала бы условия мира, при котором ей пришлось бы отдать завоеванную территорию. Как только европейские государственные деятели погрузились в пучину войны, они до такой степени увлеклись братоубийственной бойней, так обезумели, постепенно уничтожая целое поколение своих молодых мужчин, что победа превращалась в единственную награду, независимо от руин, на которых должен бы быть построен подобный триумф. Наступления, приводящие к гибели множества людей, лишь подчеркивали тупик военного противостояния и влекли за собой потери, невыносимые до прихода современной технологии. Попытки завербовать новых союзников усугубляли политический тупик. Поскольку каждый новый союзник – Италия и Румыния на стороне Антанты, Болгария на стороне Центральных держав – требовал своей доли предполагаемых трофеев, тем самым лишая дипломатию последних остатков гибкости.

²⁹⁸ Цитируется в: col1_2 *British History. 1914—1945* (Тэйлор Э. Дж. П. *Британская история: 1914–1945 годы*). (Oxford: Clarendon Press, 1965), p. 114.

Условия мира постепенно принимали нигилистический характер. Аристократический, в какой-то мере заговорщический стиль дипломатии XIX века оказался неприемлемым в эпоху массовой мобилизации. Антанта специализировалась на выдвигании таких лозунгов морального характера, как «войны, чтобы покончить со всеми войнами» или «сделать этот мир безопасным для демократии», – особенно после того, как в войну вступила Америка. Первая из этих целей была понятна, и даже весьма заманчива для стран, тысячу лет воевавших друг с другом в различных комбинациях. Практической ее интерпретацией было разоружение Германии. Второе заявление – распространение демократии – требовало свержения германских и австрийских внутренних институтов. Оба лозунга Антанты, таким образом, требовали войны до конца.

Великобритания, которая во времена Наполеоновских войн предложила проект европейского равновесия в виде плана Питта, поддержала давление с целью достижения всеобъемлющей победы. В декабре 1914 года немецкий зондаж с предложением уйти из Бельгии в обмен на Бельгийское Конго был отклонен министром иностранных дел Великобритании Греем, который аргументировал отказ тем, что союзникам должна быть обеспечена «безопасность на случай любого будущего нападения со стороны Германии»²⁹⁹.

Замечание Грея знаменовало изменение британского подхода. Еще незадолго до начала войны Великобритания отождествляла свою безопасность с балансом сил, который она отстаивала, поддерживая более слабую сторону против более сильной. К 1914 году Великобритания чувствовала себя все более и более неуютно в этой роли. Осознавая, что Германия становится сильнее, чем все страны континента, вместе взятые, Великобритания почувствовала, что не может больше играть традиционную роль стороны, пытающейся оставаться над столкновениями в Европе. И поскольку она рассматривала Германию как гегемонистскую угрозу Европе, возвращение к ранее существовавшему статус-кво ничего не изменило бы в плане снятия этой главной проблемы. Таким образом, Великобритания тоже перестала допускать возможность компромисса и теперь настаивала на «гарантиях», суть которых сводилась к постоянному ослаблению Германии, особенно к резкому сокращению численности германского «океанского боевого флота», то есть к тому, что Германия никогда не приняла бы, если не была бы полностью разбита.

Немецкие условия были гораздо более конкретны по содержанию и носили геополитический характер. И все же с присущим для германских государственных деятелей отсутствием чувства меры они требовали то, что фактически сводилось к безоговорочной капитуляции. На Западе они требовали аннексии угольных месторождений Северной Франции и военного контроля над Бельгией, включая порт Антверпен, что гарантировало неукротимую враждебность со стороны Великобритании. На Востоке Германия выдвигала официальные требования лишь применительно к Польше, где в заявлении от 5 ноября 1916 года обещала создать «независимое государство с наследственной конституционной монархией»³⁰⁰, что перечеркивало какие бы то ни было перспективы компромиссного мира с Россией. (Германия надеялась на то, что обещание польской независимости поможет ей обеспечить достаточное число польских добровольцев для пяти дивизий; как оказалось, объявилось только 3000 новобранцев.)³⁰¹ Нанеся поражение России, Германия навязала ей Брест-Литовский договор от 3 марта 1918 года, по которому она аннексировала треть европейской части России и устанавливала протекторат над Украиной. Окончательно определившись, что именно она понимает под мировой политикой, *Weltpolitik*, Германия, как минимум, стала стремиться к господству над Европой.

²⁹⁹ Цитируется в: Тэйлор. *Борьба за главенство*. С. 535.

³⁰⁰ Там же. С. 553.

³⁰¹ Werner Maser. *Hindenburg: Erne politische Biographie* (Мазер Вернер. *Гинденбург. Политическая биография*). (Frankfurt/ M-Berlin: Verlag Ullstein GmbH, 1992), p. 138.

Первая мировая война началась, как типичная кабинетная война, с нотами, передаваемыми из посольства в посольство, и телеграммами, распространяемыми среди суверенных монархов на всех решающих этапах пути к реальным боевым действиям. Но как только война была объявлена, а улицы европейских столиц заполнили ликующие толпы, конфликт перестал быть межправительственным и превратился в борьбу масс. И через два года войны каждая сторона стала выдвигать условия, несовместимые с каким-либо понятием о балансе сил.

Вне пределов человеческого понимания оказался тот факт, что обе стороны одерживали победы и терпели поражения одновременно: что Германия нанесет поражение России и серьезно ослабит как Францию, так и Англию, но что, в конце концов, западные союзники с неоченимой помощью Америки выйдут победителями. Последствием Наполеоновских войн было столетие мира, покоившегося на равновесии и поддерживавшегося общностью ценностей. Последствием Первой мировой войны стали социальные перевороты, идеологические конфликты и еще одна мировая война.

Энтузиазм, который был характерен для начала войны, улетучился, как только народы Европы поняли, что способность их правительств организовать кровавую бойню не соответствует их сопоставимой способности достичь либо победы, либо мира. А возникший в результате этого вихрь смел все восточные дворы, единение которых во времена Священного союза обеспечивало мир в Европе. Австро-Венгерская империя исчезла навсегда. Российская империя подпала под власть большевиков и на два десятилетия скатилась по значению до уровня периферии Европы. Германия была истощена последовавшими одно за другим поражением, революцией, инфляцией, экономической депрессией и диктатурой. Франция и Великобритания от ослабления своих противников ничего не выгадали. Они пожертвовали лучшими из лучших из числа своих молодых мужчин ради мира, который сделал противника в геополитическом плане сильнее, чем он был до войны.

И прежде чем стал до конца очевиден масштаб опустошительного бедствия, к которому были причастны все его участники, на арене появился новый игрок, положивший раз и навсегда конец тому, что до сего времени называлось «Европейским концертом». Среди руин и крушения иллюзий в результате продолжавшейся три года кровавой бойни на международную арену вышла Америка с ее уверенностью, с ее мощью и идеализмом, немислимыми для ее ослабленных европейских союзников.

Вступление Америки в войну сделало всеобщую победу технически возможной, но делалось это ради целей, мало соответствовавших тому мировому порядку, который Европа знала в течение трех столетий и ради которого она, предположительно, вступила в войну. Америка пренебрегла концепцией баланса сил и посчитала практическое применение принципов немецкой «реальной политики» аморальным. Критериями Америки в отношении международного порядка являлись демократия, коллективная безопасность и самоопределение – ни один из этих принципов прежде не лежал в основе европейского урегулирования.

Для американцев диссонанс между их собственной философией и европейским мышлением подчеркивал преимущества их убеждений. Провозглашая радикальный отход от заповедей Старого Света и накопленного Европой опыта, Вильсон выдвинул идею мирового порядка, проистекающую от американской веры в принципе в миролюбивого от природы человека и в изначальную мировую гармонию. Отсюда следовало, что демократические нации по определению миролюбивы; народ, которому было предоставлено самоопределение, не будет более иметь причины прибегать к войне или угнетать других. И как только все народы мира вкусят благ мира и демократии, они, непременно, встанут все как один на защиту своих завоеваний.

Европейские государственные деятели не мыслили подобными категориями, чтобы воспринять такую точку зрения. Ни внутренние институты в их странах, ни международный порядок не базировались на политических теориях, допускающих природную доброту человека. Они, скорее, предназначались для направления проявляемого человеком эгоизма на службе

ние высшему благу. Европейская дипломатия основывалась не на миролюбивой природе государств, а на их склонности к войне, которую следовало либо сдерживать, либо балансировать. Союзы заключались ради достижения конкретных, поддающихся определению целей, а не ради абстрактной защиты мира.

Вильсоновские доктрины самоопределения и коллективной безопасности поставили европейских дипломатов в совершенно незнакомые условия. Любое европейское урегулирование исходило из той предпосылки, что можно изменять границы ради достижения баланса сил, требования которого имеют преимущественное право над предпочтениями затронутого конфликтом населения. Так именно Питт представлял себе «огромные массы», способные сдерживать Францию по окончании Наполеоновских войн.

На протяжении всего XIX века, например, Великобритания и Австрия сопротивлялись распаду Османской империи, поскольку были убеждены, что возникновение в результате этого более мелких государств подорвет мировой порядок. В их понимании, неопытность более мелких наций раздует местные этнические распри, а их относительная слабость побудит великие державы вторгнуться на эти территории. По мнению Великобритании и Австрии, мелким государствам следовало подчинить собственные национальные амбиции всеохватывающим интересам мира. Во имя сохранения равновесия Франции было отказано в присоединении франкоговорящего валлонского региона Бельгии, а Германии не дали объединиться с Австрией (хотя у Бисмарка были собственные причины, исключавшие объединение с Австрией).

Вильсон в корне отвергал подобный подход, и с тех пор Соединенные Штаты всегда этому следовали. С точки зрения Америки, не самоопределение влекло за собой войны, а его отсутствие; не отсутствие баланса сил порождает нестабильность, а стремление к его достижению. Вильсон предлагал сделать фундаментом мира принцип коллективной безопасности. С его точки зрения и с точки зрения всех его последователей, безопасность в мире требует не защиты национального интереса, а признания мира как юридического понятия. Определение того, был ли действительно нарушен мир, должно быть вменено в обязанность создаваемому в этих целях международному учреждению, которое Вильсон определил как Лигу Наций.

Как это ни странно, но идея создания такой организации впервые всплыла на поверхность в Лондоне, до той поры являвшемся бастионом дипломатии баланса сил. И поводом для этого послужила не попытка создания нового мирового порядка, а поиск Англией причин вовлечения Америки в войну старого международного порядка. В сентябре 1915 года, решительно порывая с прежней английской практикой, министр иностранных дел Грей направляет советнику президента Вильсона полковнику Хаусу предложение, которое, как ему представлялось, американский президент-идеалист не сможет отвергнуть.

Грей спрашивал, до какой степени президент может быть заинтересован в Лиге Наций, приверженной обеспечению дела разоружения и мирного урегулирования споров?

«Не предложит ли Президент, чтобы была Лига Наций, связывающая нации друг с другом против любой державы, которая нарушает договор... или отказывается в случае спора принять какой-то иной способ урегулирования, кроме войны?»³⁰²

Совсем это было не похоже на Великобританию, которая в течение 200 лет избегала присоединения к союзам и вдруг полюбила бессрочные обязательства глобального масштаба. И тем не менее решимость Великобритании взять верх перед лицом непосредственной угрозы

³⁰² Сэр Эдвард Грей полковнику Э. М. Хаусу, 22 сентября 1915 года, цитируется в: Arthur S. Link. *Woodrow Wilson, Revolution, War and Peace* (Линк Артур С. *Вудро Вильсон, революция, война и мир*). (Arlington Heights, Illinois: Harlan Davidson, 1979), p. 74.

со стороны Германии была так велика, что ее министр иностранных дел заставил себя выдвинуть доктрину коллективной безопасности, не имеющую никаких предварительно предусмотренных ограничений. Каждый член предложенной им всемирной организации должен был бы взять на себя обязательство противостоять агрессии где бы то ни было и откуда бы то ни было она ни исходила, и наказывать нации, отвергающие мирное урегулирование споров.

Грей знал, с кем он имеет дело. Со времен своей юности Вильсон верил в то, что американские федеральные институты должны послужить моделью будущего «парламента человечества»; еще в первые годы своего президентства он уже прорабатывал возможности заключения Панамериканского пакта для Западного полушария. Грей не мог не удивиться, хотя, конечно, был весьма обрадован, получив быстрый ответ, содержащий согласие с тем, что, если судить в ретроспективном плане, было его довольно прозрачным намеком.

Этот обмен посланиями был, возможно, самой первой демонстрацией «особых отношений» между Америкой и Великобританией, что позволило Великобритании сохранять уникальную возможность влиять на Вашингтон даже после упадка своей мощи после Второй мировой войны. Общность языка и культурного наследия в сочетании с величайшей тактичностью позволяли британским государственным деятелям вносить свои идеи в американский процесс принятия решений таким образом, что эти идеи незаметно становились частью собственно вашингтонских. Таким образом, когда в мае 1916 года Вильсон впервые выступил с планом создания всемирной организации, он был, без сомнения, убежден в том, что эта идея полностью принадлежит ему. И в какой-то мере это было так, поскольку Грей предложил ее в полной уверенности, что Вильсону свойственны именно такие убеждения.

Независимо от того, кто стал «отцом» Лиги Наций, она была квинтэссенцией американской концепции. То, чего намечал Вильсон, представляло собой «универсальную ассоциацию наций с целью поддержания ничем не нарушаемой безопасности морских путей для всеобщего и ничем не ограниченного их использования всеми нациями мира и предотвращения каких бы то ни было войн, начатых либо в нарушение договорных обязательств, либо без предупреждения, и с полным подчинением всех рассматриваемых вопросов мировому общественному мнению – действенной гарантией территориальной целостности и политической независимости»³⁰³.

Первоначально, однако, Вильсон воздерживался от предложения об американском участии в этой «универсальной ассоциации». В конечном счете в январе 1917 года он решился и стал отстаивать американское членство, используя для этого, как ни удивительно, доктрину Монро как своеобразную модель:

«Я предлагаю фактически, чтобы все нации единогласно приняли доктрину президента Монро в качестве мировой доктрины: что ни одна нация не должна стремиться к распространению собственной формы правления ни на одну другую нацию или народ... и что все нации должны с этого момента избегать вступления в союзы, которые вовлекали бы их в состязания по мощи...»³⁰⁴

Мексика, должно быть, с изумлением узнала, что президент страны, отторгнувшей треть ее территории в XIX веке и направлявшей свои войска в Мексику в предыдущем году, теперь представляет доктрину Монро как гарантию территориальной целостности братских наций и классический пример международного сотрудничества.

³⁰³ Вильсон Вудро. *Высказывания в Вашингтоне на собраниях Лиги по поддержанию мира 27 мая 1916 года*, в: *Документы Вудро Вильсона*. Т. 37. С. 113.

³⁰⁴ Вильсон Вудро. *Обращение к сенату 22 января 1917 года*, в: *Там же*. Т. 40. С. 539.

Вильсон при всем своем идеализме, однако, вовсе не считал, что его точка зрения победит в Европе сама собой, только вследствие присущих ей достоинств. Он показал себя вполне готовым подкрепить аргументы нажимом. Вскоре после вступления Америки в войну в апреле 1917 года он писал полковнику Хаусу: «Когда война окончится, мы сможем принудить их мыслить по-нашему, так как к этому времени они, помимо всего прочего, будут в финансовом отношении у нас в руках»³⁰⁵. Какое-то время некоторые из союзных держав не торопились высказываться по поводу идеи Вильсона. Хотя они не совсем были готовы одобрить взгляды, настолько расходившиеся с их традициями, но и им также нужна была Америка, причем довольно сильно, чтобы высказывать открыто свои сомнения.

В конце октября 1917 года Вильсон направил Хауса для того, чтобы поинтересоваться у европейцев относительно их мнения по поводу целей войны и сравнить их с провозглашенной им нацеленностью на мир без аннексий и контрибуций, на мир, охраняемый международным авторитетным органом. В течение нескольких месяцев Вильсон воздерживался от высказывания собственных взглядов, поскольку, как он объяснял Хаусу, Франция и Италия могли бы выступить с возражениями, если Америка выскажет сомнения в справедливости их территориальных притязаний³⁰⁶.

В итоге 8 января 1918 года Вильсон приступил к самостоятельным действиям. Исключительно красноречиво и с огромным подъемом он выступил с посланием на совместном заседании палат конгресса с изложением американских целей войны, представив их в виде «Четырнадцати пунктов», разделенных на две части. Восемь пунктов он назвал «обязательными» в том смысле, что они непременно «должны» быть выполнены. Сюда вошли открытая дипломатия, свобода мореплавания, всеобщее разоружение, устранение торговых барьеров, беспристрастное разрешение колониальных споров, воссоздание Бельгии, вывод войск с русской территории и в качестве венца творения учреждение Лиги Наций.

Остальные шесть пунктов, более конкретных, Вильсон представил, сопроводив заявлением, что их скорее «следует» достичь, чем они «должны» быть достигнуты. Речь идет в основном о том, что они, по его мнению, не являются абсолютно обязательными. Удивительно, но возврат Эльзаса и Лотарингии Франции попал в необязательную категорию, несмотря даже на то, что решимость возвратить этот регион питала французскую политику в течение полувека и повлекла за собой беспрецедентные жертвы в ходе войны. Среди прочих «желательных» целей были получение автономии для национальных меньшинств Австро-Венгерской и Османской империй, пересмотр границ Италии, вывод иностранных войск с Балкан, интернационализация Дарданелл и создание независимой Польши с выходом к морю. Неужели Вильсон имел в виду, что по этим шести пунктам мог бы быть достигнут компромисс? Выход Польши к морю, а также пересмотр границ Италии было бы, разумеется, трудно увязать с принципом самоопределения, и по этой причине они с самого начала выпадали из моральной симметрии замысла Вильсона.

³⁰⁵ Arthur S. Link. *Wilson the Diplomatist* (Линк Артур С. *Вильсон – дипломат*). (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1957), p. 100.

³⁰⁶ Там же. С. 100 и сл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.